

1998

6

Октябрь

# Октябрь

6 1998



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1998

ИЮНЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,  
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-  
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-  
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,  
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Петр АЛЕШКОВСКИЙ. <b>Седьмой чемоданчик.</b> Повествование .....	3
Андрей ГРИЦМАН. <b>Гонец в никуда.</b> Стихи .....	37
Борис ХАЗАНОВ. <b>Пока с безмолвной девой.</b> Рассказы .....	40
Анна Мария КАРПИ. <b>Все-вместе.</b> Вступление и перевод с итальянского Анатолия Наймана .....	68
Генрих САПГИР. <b>Рассказы</b> .....	76
<b><i>Нечаянные страницы</i></b>	
Рада ПОЛИЩУК. <b>Абсолютно гениальный рассказ</b> .....	82
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. <b>Пунктирная дружба</b> .....	86

### ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Валерий ПИСИГИН. <b>Эхо пушкинской строки</b> .....	90
--------------------------------------------------------	----

## ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«Приблизиться к русскому идеалу искусства...» Из литературной переписки М. А. Алданова. Вступление, публикация и примечания А. А. Чернышева ..... 142

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«*Это светлое имя — Пушкин*»  
По страницам Онегинской энциклопедии ..... 164

Кирилл КОБРИН.  
Поставщик ее величества русской литературы .... 175

*Записки литературного человека*  
Вячеслав КУРИЦЫН.  
Вучетич ..... 180

*Мелочи жизни*  
Павел БАСИНСКИЙ.  
Транс, мета, или Как бишь вас? ..... 185

*В стиле реплики*  
Виталий ПУХАНОВ.  
Время поэзии ..... 188

*В несколько строк*  
Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ ..... 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40, по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» — по факсу: (095) 238-46-34, по телефону: (095) 238-49-67, по телексу: 411160.

---

---

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

**И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

**И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

**А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ** (зав. отделом критики),

**И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

---

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 27.04.98. Подписано к печати 22.05.98. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9220 экз. Заказ № 1905. Цена 16 руб.

---

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail [oktybr@orc.ru](mailto:oktybr@orc.ru)

---

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.  
© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.  
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ

---

# Седьмой чемоданчик

ПОВЕСТВОВАНИЕ

## I

### *Посвящается Акутагаве*

Обычно я читаю в электричках. Привычка осталась со студенческих лет; тогда я читал в метро — много и запоем. В те годы я жил на Красноармейской, с мамой и братом. Выходил на улицу рано, шел наискосок через пустырь, навстречу солнцу. Чуть откидывал назад голову. Ярко и щедро бил по глазам желтый огонь, в носу начинала свербеть и вертеться волшебная мушка, и, наконец, накатывал чих — не раз, не два, даже не три. Это у меня от бабки, наследственное.

Приползая с работы скрюченной буквицей своего пыльного архива, она в полудреме ужинала, затем отпивалась черным, как деготь, чаем — неизменной шоколадкой, раскрывала Достоевского или Толстого. Других книг под старость она вообще не читала, зато эти распахивала наугад, пробегала глазами по буквам, как пианист по клавишам рояля. Убедившись, что настроено верно, вдруг замирала. Нечто животное появлялось сразу в позе, в начинающем ловить тепло настольной лампочки оживающем носе. Я с нескрываемым восторгом замирал рядом на табуретке. Бабка всегда смущалась чужого присутствия, но прогнать меня уже не хватало сил — токование с лампочкой, интимное, священное захватывало ее, уставшую и больную. Мир отступал, глаза наливались слезой и блестели, не видели перед собой ничего, кроме теплого, все разрастающегося ярко желтого света.

Наконец следовал залп, другой догонял стоящее в ушах эхо, и... иногда я, безмолвно шевеля губами, насчитывал до семнадцати. После нас отпускало. Не сразу, помаленьку. Мы встречались глазами. Я ловил ее улыбку, смущенную, женственную, мягкую, едва проступающую сквозь всегда напряженное, настроенное на подвох и провокацию мира лицо. И всегда, потупив взор и вдруг вспыхнув по-девичьи, с молодым негодованием и одинаковым ударением она фыркала:

— Дур-рак!

И выпускала громко воздух сквозь ноздри. По правде, выходило что-то арабское, сонорное, с «кнн» на конце. В тот миг она казалась счастливой, словно скидывала разом с плеч усталость дня и лет.

Наверное, звон еще стоял в голове — мгновение бабка прислушивалась к чему-то, затем зажигала сигарету, с силой прикусив бумажный фильтр зубами. Курила она болгарские сигареты с лопухой собакой на пачке — они исчезли еще тогда, и больше я никогда их не встречал. Потом, до смерти, курила «Опал», «Стюардессу», «Ту», но всегда сильно прикусывала фильтр, оставляла на нем следы зубов — привычка, пошедшая от прихвата папирос.

Жадно прикончив сигарету, она садилась в большое кресло и чаще всего задремывала в нем сразу, но иногда все же читала «своих». Заученные наизусть тексты романов доставляли ей удовольствие. Бабка, хотя и родилась в самом

начале нашего века, жила в девятнадцатом столетии. Это я понял после ее смерти.

Маленькая, наконец расслабившаяся в большом и широком кресле-кровати — нелепом произведении советских шестидесятых, она листала томик, теплый свет согревал лицо, руки и книгу. Все обязательно кончалось громким, бесстыдным храпом. Бабка была строга и мало думала о том, какое впечатление производит на окружающих. В ее резком голосе часто звучали командные, генеральские нотки. На работе перед ней трепетали — могла отбрить, язык у нее был стержневой и точный. Глядела всегда в глаза собеседнику, говорила о деле — мягкой и женственно-беззащитной видел ее, вероятно, я один.

Она, кстати, была красавица из редких. Смуглое, правильного овала лицо, большие серые, невероятной глубины глаза достались в наследство от матери, урожденной Рукиной, миниатюрная, но правильная фигура и изящная кисть пианистки — от обрусевших греков Зографов. В детстве бабка подавала большие надежды в музыкальном училище Зограф-Плаксиной. Но переиграла руки, и звезда не взошла. На концерты ходила исправно, но к инструменту не прикасалась ни разу, его и дома не было. Хотя однажды, на отдыхе, в каком-то клубе, я поймал ее взгляд — бабка печально смотрела на рояль, как умеют смотреть героини в индийских фильмах. Еще так умела смотреть Мишель Морган в «Набережной туманов».

Я не зря помянул свою бабку. Умение читать со вкусом и прятаться за книгу у меня наследственное.

Все это вспомнилось, когда я сел в Выхине на пригородную электричку «Москва — Сорок седьмой километр». Стоял поздний декабрь, близко к Новому году, к Рождеству. Я ехал сторожить дачу, к друзьям, в пустой темный дом с тяжелыми зелеными ставнями. Их всегда лень развинчивать, но приходится — света зимой и так мало, а сосны по Казанке известные: высокие, старые и густые, как и полагается корабельным деревьям.

Было еще не поздно, но уже накатывал сумрак. За окном белел свежий глубокий снег. Редкие пассажиры входили в вагон. Сквозь заиндевевшие двери врвался холод, и чистый запах снега пролетал по проходу. В женских волосах снег таял и блестел мелкими камешками. Я глядел, как он искрится и гибнет в жарком вагоне.

Настроение было поганое. Два несчастных пенсионера, привычно перемывающие за спиной косточки Чубайса и Черномырдина, слава Богу, испарились уже где-то в Панках. Народу ехало немного. По вагонам брели нищенки и книгоноши, вплетая несчастье в визгливый голосок колес. В сумке, рядом с сосисками и четырьмя здоровенными мандаринами (купил детям и, как всегда, забил выложить), лежал серенький томик Акутагавы. Я принялся за рассказ про мандарины — тот, где автор едет в поезде «Екосука — Токио» со случайной попутчицей. Я читал и пытался ощутить движение того поезда, запряженного паровозом, как он мчится в туннелях будто назад, но на Казанке туннелей нет. Лишь раз, когда по параллельному пути налетел догоняющий электричку скорый и мы закачались в унисон, возникло ощущение обратного хода. Поезд был старый, давно не мытый, как днище дачной сковородки. Я представил, как далеко, по немой, продуваемой степи, его тащит допотопный паровоз или копящийся небо дизель, и сажает оседает на стеклах, на растрескавшейся краске, и проводникам сперва лень оттирать поручни тряпкой на редких полустанках, а потом уже и все равно, потому как не оттереть. Но я не был в степи, той, куда умчался состав, только представил ее себе.

Акутагава прибавил к моему состоянию печальную ноту-две. Солнечные, оранжевые пятна на приглушенном, словно выгравированном пейзаже. Хотя в рассказе описана блеклая осенняя трава на склонах железнодорожного полотна. На переезде, где поезд замедляет ход, случайная попутчица автора выбросила в форточку мандарины — прощальный подарок братьям, пришедшим ее проводить. Но даже яркие мандарины — оранжевые, летящие из окна — не влили в меня живого электричества. Скорее редкие окошки в занесенных снегом дачных домиках, маленькие, желтые и теплые, когда свет проступает сквозь занавеску или протекает через тряпичный абажур, скорее они были мо-

ими мандаринами в сером и все сгущающемся с каждой минутой воздухе мира, что убегал, надвигался и вновь убегал под визг буферов и вагонных колес.

Да, настроение было не только поганое, но еще и банальное, как белые слоники на полке, как песенка с рифмой «кровь — любовь».

Я уже не читал, я закрывался книжкой от них, от полупустого вагона, вспоминал какое-то окошко в монастыре или доме, похожем на монастырский, холодные деревья сквозь падающий снег, и притягивающее окно с мандариновым светом, как марокканское солнце, и тихий зной среди насупленной Москвы, окно, где кто-то живет. Не знаю кто и знать не хочу.

Я заметил ее, вздрогнул и закрылся серым томиком Акутагавы, пробежал машинально по буквам глазами. Все в порядке — настрой, нота, одна, одинокая, печальная нота вибрирующей струны электронной гитары.

Я не хотел, чтобы меня заметили, но она, слава Богу, и не замечала — тоже читала, что-то толстое и большое, похожее на Толстого, сосредоточенно и, если честно, некрасиво. Лицо ее, анемичное и маленькое, — у всей семьи маленькие лица, — большие серые глаза, а нос крошечный — ну не красавица, несомненно. При случайных наших встречах на ее щеках вдруг расцветает румянец да чуть смеются теплые глаза. Плохо скрываемая лукавая улыбка, немного таинственная и чистая, совсем немного и женственная, дает понять, что не забыто.

Давно — ей было шесть? — я пришел на день рождения к ее брату. Девочка путалась под ногами, требовала внимания, настойчиво, назойливо, — видно было, что избалована и любима, что центр и маленький тиран. Не знаю почему (к столу не сажались, ждали последних приглашенных) я принял удар на себя. Пристроил на колени, начал рассказывать сказку, импровизируя по ходу. Как рассказывал мне дед, как много позже я рассказывал их своим детям. Что-то про Царевну, Дракона и храброго негра Балумбу. Спасенная царевна была ему совсем не нужна. Девуцу спешно выдали замуж за придворного фотографа, что умел угодить своим искусством не только королю и королеве, но и главному брэдобрю, который, понятно, и правил всей страной. Презренного негра отблагодарили походом и не соответственно его героизму. Но он не обиделся, ушел в эвкалиптовый лес и запел свою песенку.

Девочка сидела смиренно и слушала так, что мурашки бежали по моей спине. Друзья с теплой иронией смотрели на нашу идиллию, и, конечно, родители — умиленно и с благодарностью — поминутно заглядывали в комнату. Мы чувствовали себя в центре внимания. Это было приятно. Еще мы чувствовали друг друга — нам было интересно и необычно.

Затем был стол, водка, после — танцы. Братец ее появился неожиданно, оттеснил меня в угол, протянул сестрину руку, маленькую руку шестилетней девочки.

— Она хочет тебе что-то сказать.

— Я люблю тебя, — твердо заявила она и потупилась, но руки не отпустила.

Я распушил хвост. Я топтался в вальсе с малышкой, и опять все переглядывались, и родители млели от счастья. Невинно, чисто, чинно, старомодно, галантно. В ней тогда было столько счастья.

Потом мы не раз встречались. Сперва она всегда говорила: «Помнишь?» «Конечно», — отвечал я.

Сейчас, в электричке, спрятавшись за томик Акутагавы, вперившись в его простой рассказ, я вспомнил, вспоминал и уже не глядел, не подглядывал, просто растворился среди букв, словно сам вошел в книгу и стал героем на далеких островах, и почему-то только молил, чтоб она прошла, не заметила. Затем вернулся к окну, считал станции, ей было сходить за две до моей.

Конечно же, она подошла. Коснулась плеча:

— Привет!

Щеки ее горели, как два красных померанца из императорского сада. Вдруг она показалась мне похожей на гейшу из календаря — роскошную, отстраненную, но трогательную и немного беззащитную, ровно настолько, на-

сколько и надо усталому от битв самураю. Книга в руках — толстый том Борхеса, а вовсе никакой не Толстой. Борхес с его холодным умом, настаивающий точностью слов, скупым талантом поэта, отрицающего прямую, незащищенную эмоцию, а если и признающего ее, то только как банальность банальности мира, где потемки, и вся культура в прошлом, и лишь мелкие и редкие, подобно отблескам ночного костра, сияют ее отдельные алмазы, как снежинки в волосах женщин нашего вагона. Сияют слегка сквозь мутное стекло, и тают, и растекаются по полу жирными непрочтенными иероглифами неведомых мудрецов.

Две-три фразы ни о чем, о своей семье, о детях — яркая, открытая улыбка при их упоминании, легкая грусть или даже непонятный испуг при упоминании мужа и лукавость, так и не исчезающая, при взгляде глаза в глаза.

Ее встречал муж, рядом жался к ноге замерзший здоровенный мышинный дог — у них всегда были в доме собаки. Они приветливо помахали мне, я помахал в ответ. Потом запахнул Акутагаву между мандаринами и сосисками.

Затем шел по запорошенной свежим, глубоким снегом улице, глядел, как просыпаются сквозь желтые фонари белые блестящие кристаллы. Зачем-то вытащил и съел мандарин, а кожуру раскидал вокруг. Она упала в пух и затонула.

Я пошел дальше и уже предвкушал тепло, свет, обязательно желто-оранжевый абажур — у друзей на даче старый и с бахромой. И еще сосиски. Я порежу им кончики крестом, и они станут похожи на щупальцы. Они будут шкворчать на сковородке в очищенном подсолнечном масле, бочки их запекутся и подрумянятся. Рядом я пожарю картошку, нарежу ее мелко-мелко, у меня есть хороший нож. Форма его повторяет изгиб самурайского клинка, только почему-то изготовлен он в Пакистане, а куплен в Америке под Далласом, в старомодном городе Форт Уорс, в туристической лавке у маленькой, опухшей от сна филиппинки.

Я наброшусь на еду, как проголодавшийся ронин, я буду скрипеть зубами и чавкать — никто меня не увидит. Потом я буду думать об Акутагаве — маленьком японце с маленькой кисточкой в руке, что умел рисовать иероглифы на особой рисовой бумаге. О том, что он был невнимателен к своим детям, о душившем его одиночестве, об аде, что он сам создал, разглядел, разгадал, и о той пустоте, ради которой он в конце концов — отчаявшийся и напуганный — лишил себя жизни.

А затем я стану пялиться на лампочку, вспоминать бабушку и, набирая носом оранжевое тепло, подходить, подходить ближе и ближе и падать, падать в спасительный чих. И я знаю, что мне никогда не понять, как они жили, но я буду чихать долго, иступленно, и этого у меня никто не отнимет — это мое, по крови, по наследству, а остальное — чушь и выдумки.

Остальное — банальность или литература, и иногда грани нет, как ни старайся ее прочесть.

Я выйду на крыльцо. Снег уgomонится. Будет тихо. Будут сосны, как им и положено: высокие, в снегу. Где-то в кронах проявится луна. Я шепну ей свое, на очень древнем языке. Станет холодно, я пойду спать, а если захраплю, испугаются только мыши.

*Декабрь 1996*

## II

### **Как я захотел написать об отце**

*Марине Голубовской*

#### 1

Люди донесли — волхв на восходе свистел на воду, — его подглядели. Теперь пронизывающий ветер гнал Волхов против течения в озеро. Еще на Славенском конце свинья опоросилась одноглазым кабанчиком, да петух у неревляк кричал ночью человеческим голосом.

Князь Глеб отметал суеверия из презрения к простолюдинам, но и среди дружинников находились такие, что верили в волхование, — князь жестоко высмеивал их. Молебны отстаивал исправно, заставил воинов усвоить простую красоту службы. Князя, понятно, любили. Он рано понял истину: прячь сомнения — побеждает победитель. Чувства, что рождал голос дьякона в кафедральном соборе, следовало скорее назвать ликованием; читаемое на открытом лице князя, оно бодрило окружающих.

Крещеный берсерк Олаф-Гавриил Ирленкойзер, сын Торира Цепного Пса из Адельгоберды, шел на полплеча позади. Он всегда находился неподалеку. Прозвище отца точно отражало способности сына. Груда мышц, заросших сухим волосом, жестким и завитым, как проволока на прилавке ювелира, — скандинав не надевал кольчуги, — борода, покрывающая все лицо, выпученные глаза, взгляд неразумного бычка. Те же глаза наливались священным безумием, наполняли противника подколенным страхом, стоило низойти боевому духу. Беспощадно и резко гвоздил он врага боевой секирой, всегда наповал. На этой земле князь Глеб опасался одного Ирленкойзера. Что до небесного суда — запретил себе думать о непонятном.

Епископ как-то обмолвился, что вечность — мгновение, в котором чудесным образом объединяются разные времена. То, что живет с человеком, — память, то, что должно произойти, выделось туманно. Жизнь зависела от удачи и крепкой руки, страх лишь казался необоримым. Хорошо Олафу-Гавриилу — скандинав жил просто, без памяти и страха. Когда Тор вселялся в широкую грудь, воин терял еще и слух, воображение уносило его в схватку. Ангел смерти заберет тело, но дух викинга и в пышной Вальгалле продолжит войну и бражничество — Ирленкойзер умел только спать, быть пьяным и неистощимо свирепым. Князь иногда завидовал скупым потребностям берсерка, исподволь учился непоказной твердости своего воинственного юродивого.

Епископ, строгий слепой старик, пугающий гневом Господним, отпуская ему прегрешения, смирился — сила исповедующегося подавляла пастыря. Он долго и сосредоточенно молил небеса над коленопреклоненной фигурой — рука, лежащая на епитрахиль, не дрожала. Тепло передавалось голове — это было приятно.

Сейчас они шли, сохраняя боевой порядок, от площади к берегу реки, к многоголосой толпе, ноздри охотника ловили запах холодной влаги. Ветер бил в лицо, но не мог остановить воинов. Размеренно и твердо ступали кожаные сапоги по земле, по талому снегу, лязгало железо. Язычники боготворят воду и огонь, ветер и звезды, князь привык к их богам, как привыкают или смиряются с неприятной чертой в характере близкого друга. Олаф-Гавриил и другие «немцы» колдовали над своим оружием — запретить их обряды князь не мог. Как воин, он даже понимал эту «веру». Иногда подолгу глядел на темно-синюю сталь дамасского клинка, как в магическое зеркало, о чем-то думал.

Глеб Святославич остановился, чуть не дойдя до первых рядов, — они пахли мокрой землей, кислой, плохо проквашенной кожей. Большая кровь была сейчас опасна. Руки не поднял, только крепче сжал рукоять топорика. Воины замерли за спиной предводителя, громадный Ирленкойзер держал тяжелую секиру, что пук соломы. Глаза викинга начинали мутнеть, наливаясь кровью. Сегодня подвиг мог обернуться бедой.

— Тор приходит, я становлюсь не я, а он, — прямодушно рассказывал воин, — вижу неистовых валькирий, гром боевого рога звучит в моих ушах.

Ему верили, видели в деле. В Киснеме, на Белоозере, где ловились отменные судаки, чудин ранил Олафа-Гавриила в плечо. Берсерк перекусил зубами древко стрелы, и... когда подбежали, все было сделано: шестерых данников с размозженными головами отправил он в свой Хелль, прямоком в смрадную глотку Дракона — кровь стыла в жилах от их нечеловеческого визга. Остальные позорно бежали. Честь и слава — эти основные для дружинников слова отсутствовали в чудском языке. Лесные язычники — люди засады и предательства. Бесстрашие лишало их воли. Смерть для них многоглаза и зубаста, как зверь полуночный, как глупый идол, алчущий крови, они боялись ее. Вечером у костра князь самолично вырезал наконечник из плеча — скандинав не издал

ни звука, длинным языком зажал рану, а потом все лизал и лизал кровь, пока она не унялась.

Утром принесли дань. Ирленкойзер стоял у саней, смеялся от счастья, как ребенок. Он не испытывал боли, не чтил серебра. Соболи, равно как и женщины, его не интересовали.

— Покажи, как селезень подзывает уточку, — приказал вдруг князь. По лицу Олафа-Гавриила пробежала тень — слава Богу, гигант еще слышал, — мускулы лица расслабились, в недоумении уставился он на своего повелителя. — Давай, давай, все свои, — подбодрил Глеб Святославич.

Берсерк покорно растянул губы, издал непристойный звук, никак не похожий на птичий зов. Дружина грохнула от смеха. Ирленкойзер слыл плохим охотником.

— Учиться тебе еще надо, Гаврила, — примирительно сказал князь.

Шутка вывела дружину из озноба. Викинг будет теперь конфузиться, размышлять — умелое слово действует на него, как удар обухом.

В толпе, напротив, смех не поняли, грозно насупились. Князь смело шагнул вперед, навстречу недовольству. Мятежная сволочь отводила глаза.

Там, на площади перед собором, облаченный в святительские ризы, стоял ревностный епископ. Слепой старец, высоко держа в руках крест, проповедовал немногим верным — большинство стекло сюда, к своему волхву, к своей поганой реке, что нарочно потекла вспять в плоское озеро. Но не в вере было дело — в жите, в подползающем голоде, в прошлогоднем недороде на Низу, в плохой нынешней зиме. Собственно, в землях голод уже выл и гулял, как последняя вьюга, кольцо сжималось, подступало к Великому Новгороду. Люди у реки знали его силу.

Волхв наплел небылиц, они поверили: по привычке и от испуга. Теперь чародей стоял против князя — крепкий, еще не старый, с чуть косыми лисьими глазами, как у всех у них, неревлян. Он один не боялся встречи.

— Значит, знаешь правду? — громко прокричал князь.

Волхв был похож на дерево у перекрестка дорог, что тайно наряжают к приходу весны, — весь в ленточках и разных амулетах. Он вдруг закатил глаза, завертел страшными белками — похоже, не расслышал княжеских слов. Рассказывали, что они пьют отвар из грибов, шляпки которых покрыты струпьями, как лица прокаженных. Тогда на них тоже накатывает — воображение уносит колдуна в иные миры, как берсерка в битве. Волхв вызывал в князе брезгливое отвращение, но повторять вопроса не стал из гордости. Наконец отрешенные глаза вынырнули из змеиногo подземелья, пересеклись с княжескими — твердыми и трезвыми. Во взгляде кудесника блуждали недобрые искры иного света.

— Знаю, князь, я много знаю, — произнес он на выдохе, борясь с уводящими из этой жизни силами.

Злость вскипела, слепая и яростная, на миг затмила разум. Не думая о последствиях, князь закричал, перекрывая свистящий ветер:

— Предвидишь ли, что будет с тобой в сей день?

Огонь встал меж ними, его все ощутили, притихли, и только Олаф-Гавриил — пес на привязи — заскрежетал зубами. Его безумная сила влилась в князя Глеба.

— Великие сегодня чудеса сотворю, все увидите! — прокричал волхв, повернувшись вполоборота к толпе.

— Нет, не бывает! — припечатал князь Глеб, шагнул, вскинул топорик, рубанул по голове поганого грибоеда, по ничего не защищающей меховой шапочке.

Волхв упал. Черная и алая — две змеи бежали от ног князя, мешались с талым снегом и холодной землей, спешили к подземной Реке, прямоком в драконово логово. Толпа выдохнула, но князь опередил, не дал времени помыслить:

— Все слышали — вот вам чудо!

Выдержал мгновение, закричал снова:

— Жита хватит на целый город, завтра открываю амбары! Бегите на площадь, кайтесь перед лицом Святой Софии, епископ милосерд. А ну!

Последний возглас разбудил их — завопили, заобнимались и покатались в ворота на соборную площадь, недоумевая и стыдясь сотворенной подлости.

Глеб Святославич провожал их взглядом — непоколебимый и сильный. Унять дрожь в коленях все же не удавалось. Слава Богу, никто ее не замечал — людей приковывало лицо. За спиной услышал, как по-детски радостно рассмеялся, изучая труп волхва, Олаф-Гавриил.

Слепой епископ как-то сказал:

— У нас есть дневные часы и ночные часы, у нас есть память, есть сиюминутные ощущения, и, наконец, у нас есть будущее, будущее, которого мы еще не знаем, но предчувствуем или боимся.

От темечка до пят князя сковало морозом, в глазах застыла синяя дамаская сталь. Взгляд против воли притянула река — ветер рвал с бурунов пену, ее ключья неслись над холодной водой. Волхов упрямо тек вспять — сила его была неистребима.

## 2

История эта случилась в одиннадцатом веке в Новгороде. Летопись скупа на слова, победа Глеба Святославича занимает на пергаменте несколько пространных абзацев. В сознании древнего автора она — назидательный пример превосходства христианства над язычеством. Отец, пересказывая ее мне, делал упор на судьбе. Простота решения поражала его.

— Но новгородцы же могли победить, их было больше! — горячился я. Школьная программа вселила убежденность в извечной правоте народных масс.

Отец лукаво смотрел на меня:

— Судьба, понимаешь... волхв знал многое, но не сумел предсказать будущего — своей смерти.

Я был решительно не согласен — будущее никак меня не волновало, опыт прошлого заключался в простых житейских навыках. Мне было жаль волхва, новгородцев, воображение рисовало широкое восстание, знакомое по любимой сказке Габбе «Город мастеров». Хорошо помню, что князя я пожалел, — сказало посещение отдела оружия Исторического музея, куда водила меня мать. По узенькой винтовой лестнице мы, немногие избранные, дети сотрудников, спускались в подземелье. Витрины, забытые оружием, открывались простыми ключами на длинной связке. Мы надевали кольчуги, шлемы, стреляли из кремневых пистолетов, размахивали саблями времен гражданской, били в шаманский бубен, прикасались к тяжелым рыцарским мечам. Гвалт стоял невообразимый — экскурсовода слушали вполуха.

Нет, князя я тогда пожалел — в моей версии он переходил на сторону восставших. Перед Святой Софией на пустыре расставляли длинные столы, и все заканчивалось веселым пиром.

Отец занимался археологией, раскапывал дружинные курганы. В одиннадцатом веке умерших хоронили еще по языческому обряду — в богатую могилу клали много вещей. Он написал диплом о топорах: классифицировал их, проследил изменение формы в веках. Затем вышла статья, она хранится в отцовском архиве.

Отчетливо помню, как отец стоит на берегу Волхова и рассказывает нам с братом кровавую историю голодного бунта: в затертой японской куртке, глаза полны теплоты и внимания. Митяй, совсем еще маленький толстощекий дошкольник, смотрит на реку — он хочет кидать плоскую гальку. Мне уже интересна история.

Недавно я спросил его, помнит ли он рассказ отца.

— Помню день — мы шли по мосту. Отец вдруг подошел к перилам, набрал полный рот слюны и плюнул. Вода была гладкая — круг начал расходиться, но вскоре течение стерло его. Потом мы с отцом принялись бросать камешки и асфальтную крошку из-под ног — не могли оторваться. Было интересно.

— Я тоже кидал?

— Нет, ты просто смотрел. Потом начался дождь — вся река покрылась кружками. Отец сказал, что мы так наколдовали.

Я этого не помню. Жаль. Теперь я нечасто думаю об отце. Но случается. Сначала приходит ритм — он любил отбивать ногтями по дереву нервную дробь. Потом выплывает мелодия, мягкая, немного тоскливая, чуть наивная, — он без конца напевал.

На какой-то археологической пьянке — отец работал тогда в реставрации — штатный фотограф поставил на треногу «лейку» и принялся щелкать. В результате мы стали обладателями целой серии портретов. Темный фон, черная куртка-пиджачок «спортивного покроя» — погрудное изображение. В коллекции: отец с сигаретой, отец в задумчивости, просто печальный, растроганный, отец-философ. Я выбрал из неживого — живое, поставил в кабинете на самый верх стеллажа. Когда поднимаю глаза, он смотрит чуть вниз и наискосок, прямо на рабочий стол. Веселый, весь в курчавой бороде. Блестят глаза, сильно выпирает нижняя челюсть — предмет его особой гордости. Лоб расслаблен — никаких параллельных морщин. Память хранит его характерную улыбку — улыбку умного человека.

Вчера ночью на даче, когда все разбрелись по комнатам, одна из хозяек, Марина, прочитала мне вслух свой любимый рассказ Белля. Он называется: «Почему я пишу короткие рассказы, как Якоб Мария Гермес и Генрих Кнехт». Впервые он увидел свет в первом номере журнала «Нойе Рундшау» одна тысяча девятьсот шестьдесят шестого года. Чудесная загадка, якобы мучающая автора, поиск несуществующих писателей, чьи имена вынесены в заглавие. Запахи родного города, воспоминания детства, немного личной тоски занесены на бумагу ради постулата: нельзя запереть в картонку рассказ живых людей — если таковые понадобятся для написания истории, «жизнь сама должна там возникнуть и сама оттуда выскочить».

Утром, когда все уехали и я наконец остался один, я вновь перечел его. Он снова мне понравился и, вероятно, задел — открытая тактика Марины увенчалась успехом.

Я огляделся в поисках неживого — того, что при изрядном старании смог бы записать в воображаемую коробку, дабы там заквасилась жизнь.

Предновогодние холода спали. После сложных манипуляций и ремонтов допотопный газовый агрегат 1966 года выпуска заработал наконец в полную силу. Батареи раскалились — случайное прикосновение к трубе грозило ожогом.

Я повертел цифру «1966» и так, и эдак, пытаюсь найти третье соответствие, но ничего не нашел. Почему-то вспомнил лишь историю с волхвом и судорожно занес ее на бумагу.

День сошел на нет. Я поужинал оставленными в холодильнике дарами выходных, завалился в кровать — Ортега-и-Гассет, третий том Борхеса и здоровенный кирпич исландских саг оказались под рукой. Рассеянно полистав страницы, я вскоре выключил свет. Тут-то мне и припомнилась (или приснилась?) фотография отца, я услышал нервную дробь пальцев и какую-то едва различимую мелодию, вконец меня усыпившую. Коробочка, или «седьмой чемоданчик» по Беллю, не отворив коего, не написать хорошего рассказа, вероятно, начала заполняться. Я спал, ничего о том не подозревая.

Утром, после скудного завтрака, я сел за стол полный решимости и отчаяния. Новгородский сюжет был исчерпан. Я никак не мог понять, зачем вообще он возник в моем воображении.

За окном, приваленный снегом, стоял сухой жасмин, отдельные ветки торчали, как бамбуковые удилища. Окно создавало раму — переплетенные ветки деревьев были усеяны пушистым снегом. Мне даже померещилось, что в комнате сильно запахло свежей хвоей. Глаз выделил две, три, нет, четыре сосны, маленькую и большую елки, клен, какие-то фруктовые деревья. За ними глу-

хой стеной дачный лес. На плите в кухне-прихожей шумел газ, отсекая холодный воздух от входной двери. В трубах булькал кипяток.

Вообще-то я собрался записать свои путешествия, но что-то мешало, уходило в сторону. Возникали знакомые лица, заселяли комнату. Я волен был выбрать любого. Наконец решился, протянул руку — вместе мы растворились в накуренном воздухе, отправились блуждать по бумаге.

Но не блуждалось, никак не блуждалось. Тогда я скомкал черновик и отправился звонить в Москву. В санатории имени В. И. Ленина бесплатный телефон — меня да и других пускают к аппарату из сострадания. Ссылные по путевке, больные пенсионеры из области населяют большой дом с портретами вождей. Люди ходят по пустынному холлу, шаркая ногами в дешевой обуви, отражаются в больших зеркалах, вставленных в массивные резные рамы, — их заказали народному умельцу в прошлые времена, когда у санатория имелись деньги.

Вдруг я услышал слово — коробящее, выбивающееся из всей речи, словно перед тем, как вывернуть наизнанку, его сладострастно и долго лупили деревянным вальком. Пожилой, за шестьдесят, бодрящийся пока пенс с инженерской бородкой, в тяжелых, с начесом, тренировочных штанах, разношенных ботинках «прощай, молодость» и сереньком дешевом пиджачке «спортивного типа». Он так и сказал жене по телефону:

— Да, отдыхаю, посещаю разные процедуры, массаж. Отжираюсь, главное, что регулярное кормление, шаломыжничая по аллеям, их разметаю, тут еще порядок держится. Нет... один тут... в шестьдесят шестом, в Хабаровском крае... не помню его...

Конец разговора я не слушал, сраженный дурацким словом. Отзвонив, он вышел на улицу. Я проводил его изучающим взглядом. Шел этот человек, немного наклонясь вперед, сосредоточенно и свирепо глядел из-под очков. Такие лица бывают у людей вовсе не злых, но чем-то глубоко уязвленных. «Отставной», — решил я. Он громко, без повода матерился и казался очень одиноким среди пестро наряженных бывших продавцов и работников районного звена. Гулял без компании — «шаломыжничал»? Москва не отвечала, я не знал, как убить время.

Дежурная, добрейшая тетя Маруся, на мой кивок принялась с ходу сетовать на мизерную пенсию и вдруг с придыханием спросила, сколько стоит сотовый телефон.

— Полторы тысячи долларов с установкой.

На ее лице замер священный испуг.

Весь в снегу, фиксировал Ленин, крашенный серебрянкой. Пестрые плакаты-агитки спускались с потолка, даруемые Конституцией гражданам СССР. А ведь не отказался б я от сотового — знай, звонил бы прямо с дачи. А главное, не пришлось бы в пятницу гнать в Москву, ждать звонка Олафа Ирленкойзера — немецкого издателя из «Зуркампа».

Но нет, впереди старик в драповом пальто — такое носил зимой отец. Мокрой рукой он вождельно оглаживает снежную статую. Краля восседает на перевернутой мусорной урне — нога закинута на ногу, локти жеманно отведены. Бедра, мощные ягодицы, грудь — маленькая, налитая, соски торчком. Даже вылепил простоватое лицо. Скульптор отступил на шаг, прищурился, закинул голову. Поправив сбившуюся на глаза ондатровую шапку, оценил творение. Затем опять приступил к поглаживаниям. Зализывал, бесстрашно опускал белую ладонь в ведро с водой, вел по линиям тела. Творца согревало воображение. Мимо, ни на кого не обращая внимания, но все подмечая, «прошаломыжничал» кособрюхий инженер.

Со второго этажа неслась лихая музыка — танцы. Ноги плясавших раскачивали большое здание — топот был слышен на улице. Здешнее большинство, непривередливое и сердечное, спасалось от одиночества, сбившись в стаю.

— Пошли, что ль, согрею, — бросил снежной девке.

Она вульгарно улыбнулась, встала со своей урны.

— Тебя как зовут хоть?

— Виолетта.

— Вот и отлично.

Отставной Пигмалион бежал за нами, лепетал что-то несуразно-романтическое. Деваха вдруг резко повернулась и выдала матерную трель — с ближайших елок печально осыпался снег. Творец сел в сугроб и закрыл лицо руками.

## 4

— Бизнесмен? — спросила Виолетта кокетливо.

Я кивнул головой.

— Я тоже с людьми работаю. Пойдем на станцию, в ресторан, до вечера еще долго.

Полумрак. Освещена была только стойка. Я вспомнил, что Андрей Дмитриев настоятельно советовал мне испить здесь сто граммов армянского коньяку. Барменша, она же официантка, с эффектной фигурой теннисистки и страшным лицом, спросила какими-то остатками голоса:

— Что будете пить?

— Шампанского бутылочку для начала, да, Петь? — Виолетта бросила зазывный взгляд.

— Валяй!

— И котлету, жрать хочу! — Естество с завидным прямодушием лезло из нее, к некоему моему, я бы сказал, восхищению.

— Снегурочка, душа моя, вали сюда!

Нас окликала компания за дальним столиком: три прибранных и излишне намазанная подруга.

— Ребята хорошие, хочешь, подойдем? — шепнула мне на ухо Виолетта ледяными губами.

Парни меж тем беззлобно ржали — кличка моей спутницы, видимо, напомнила им что-то свое.

Подсели к столику. Я заказал еще бутылку водки — на всех.

— Котлетки кончились, есть отличные отбивные, — доверительно склонившись, поведала мне официантка.

Принесли отбивные. И немедленно все потонуло в гомоне. Какой-то плосконосый без конца повторял:

— Петруха, Петруха, писатель, да? Вот возьми и опиши меня, слабо?

Я отбивался, как мог. Подсаживались еще и еще, сдвинули столы. Всем стало нестерпимо весело. Девчонки визжали от восторга. Час-другой нас развлекал настоящий браток — заглянул с ревизией да и остался «выпить с писателем». Он тискал и тискал нескончаемый «роман» — бесконечное вранье, замешанное на дешевых видеофильмах и хорошем знании жизни.

Но исчез и браток, его сменили две подружки: Лелька и Олька — эти пели, всем полагалось подтягивать. Время остановилось окончательно. Когда я повернулся к стулу моей спутницы, он был пуст. По полу растекалась большая ледяная лужа, какая-то тряпка в ней напоминала бюстгальтер.

— Где моя подруга?! — испуганно закричал я.

— А растаяла, — пояснил кто-то из-за спины.

Я успокоился и печально кивнул.

— Что грустит, дурачок, славно гуляем, это и есть настоящая жизнь, без прикрас, — Лелька или Олька смотрела на меня с материнской теплотой.

Потом упала ночь, как занавес в Большом театре. Я брел по авансцене — улице Горького — в обнимку с лучшим другом, которого даже не знал, как зовут. Расстаться с ним на перекрестке стоило большого труда, но я справился с задачей — жестко послал его досыпать домой. Он покорно испарился.

## 5

Человек немислим без воображения, без умения придумывать себе форму жизни, представлять себя персонажем, которым станет, — замечает Ортега-и-Гассет. Это я вычитал на даче, в плетеном кресле поутру. Верно, но подлинным воображением наделены немногие. Хотя даже в глазах сытого пса порой столь-

ко глубинной силы, что отказать ему в праве на сладкую грезу кажется кощунством.

Отец был бы сейчас в возрасте кособрюхого инженера. Даже интересно, кого б он теперь заинтересовал своими летописями? Может, стал бы писать популярные книжки по истории архитектуры, а может, американцы, подметив его талант, не дали бы погибнуть, пригласили читать лекции?

— Кишка у нас тонка, — говорил отец с тех самых пор, как начался исход. Эмигрировать он не мог, не хотел, немецкий, что учил в школе и университете, почти не знал, не был способен к языкам.

Он любил музыку. В детстве чуть ли не ежедневно проникал в Большой — на галерке у них образовалось своеобразное братство. Когда умер Сталин, вся Москва хоронила вождя. Центр был оцеплен. Отец с лучшим другом — Лерой Таракановым — пробрались, как мне помнится, в консерваторию, пришли проститься с Прокофьевым. Большой зал был пуст — только солдаты и редкие почитатели. Почему-то я горжусь этим фактом, хотя отец всегда подчеркивал:

— Ни черта мы не понимали, просто уважали Сергея Сергеевича.

Отец был талантлив — для истории летописания один, наверное, сделал столько же, сколько его гениальный предшественник Шахматов, работавший в начале века. Отец чтит его не меньше, чем Прокофьева.

Еще отец писал стихи и прозу. Он был честолюбив и загнан в угол — все ему мнилось признание. Рукописи путешествовали по редакциям под собственным именем, под псевдонимами, но каждый раз возвращались с нелепыми отзывами рецензентов. То, что я читал, было замешано на экзистенциальном одиночестве и тоске — плохо пропеченное подражание западной литературе.

Он любил книги, особенно Платонова и Томаса Манна, больше всего — «Иосифа и его братьев». Помню, как он читал: весь в тексте, собран, напряжен. Отец всегда был для меня красив — большие, чуть навывкате еврейские глаза, густая курчавая борода, как волосы негра, и челюсть, выпирающая вперед, — основа лица, основа упрямой личности. Значительный, энергичный.

С первых курсов университета он мечтал заниматься славянской археологией. Тогда, в пятидесятые, начало истории было под игом идеологии, впрочем, начало — всегда прибережище спекулянтов и ура-патриотов. Академик Рыбаков — директор ведущего института — допустить в свою вотчину ученого еврея никак не мог. Евреев Борис Александрович Рыбаков не любит и по сей день — отца ненавидел лично.

После первого курса они поехали в экспедицию, ею руководил Борис Рыбаков. По завершении сезона непонятная конструкция, раскопанная археологами, показалась помешанному на глобальном мифотворцу остатками мощной крепостной стены. Отец, по рассказам очевидцев, неопровержимо доказал: обнаруженное — фундамент древней церкви. Уязвленное честолюбие, я уверен, положило начало травле — мечтать о работе в университете и в Академии отец, понятно, не мог.

Он ушел в историю вынужденно. Оппозиционный ленинградский Эрмитаж — интеллигентский вызов верноподданной Москве — приютил опального еврея. В конце концов он защитил диссертацию по Начальной летописи. Позже вышла книжка в популярной серии.

Отец тогда справедливо возмутился:

— Редактор мне постоянно твердит: упрощайте, читатель не поймет.

— Сделать так, чтобы и в сортире читали?

— Наконец-то поняли!

В Ленинграде жил один, впроголодь, снимал угол. Воображение рисовало счастливые картины — сохранилось несколько стихотворений тех лет. Там он и сорвался. Первый раз попал в больницу перед рождением брата — его забирала из роддома без отца. Инсулиновый шок вылечил его на время, но во взгляде появилась боль. Еще привязалась песенка: «Ничего, ничего, ничего — вот погибнешь от коня своего!» — вроде про вещего Олега.

С годами боль в глазах росла, а с нею мнительность и болезненная подозрительность. Он полюбил высчитывать гениальных евреев — сколько их было в

мировой истории. До сих пор его подсчеты кажутся мне невероятным занудством.

Денег всегда не хватало. Отец ходил в уродливых войлочных ботинках «прощай, молодость» и невообразимом балахоне — подобии пиджака «спортивного стиля». Чего стоило матери накопить ему на приличный костюм, знает только она. Костюм купили черный, голландский. Надевал его отец редко. В семье бытовало мнение, что «папе все равно, в чем ходить».

В шестьдесят девятом дед привез из Японии куртку — брезентовую, цвета хаки, действительно спортивную. Ни у кого вокруг такой не было. Отец затаскал ее до дыр. Помню взгляд денди, походя брошенный в зеркало, — в пиджаке-балахоне он к зеркалу близко не подходил.

Отношения с тещей — моей бабкой — разладились окончательно. Слишком властная, она не спускала отцу его мелких плебейских привычек. Он терпел, замыкался, прятался в нашей единственной комнате и, как только появилась возможность, занялся обменом. Два года вставал рано утром, шел к ларьку, покупал «Бюлетень по обмену жилой площади» и буквально выходил квартиру на Красноармейской. Полгода был несказанно весел, но вскоре совсем замкнулся.

Отец постоянно сочинял стихи. Они оставались с ним до конца, наподобие дневника. Он работал в реставрации, много ездил по стране — крепости, кремли, церкви запечатлены в его рифмах. Красоту он чувствовал, не мог только найти простых слов — мечта делала его велеречивым.

Рядом всегда и все больше витал ужас. Однажды признался:

— Страшно, когда мгновенно умираешь, а потом вдруг медленно и мучительно выныриваешь наружу.

Не мог забыть инсулин, на доли секунды погружающий в кому. Он мнительно прислушивался к себе, нагнетая и накручивая, — под конец воображение рисовало следящих, охотящихся специально за ним агентов КГБ.

Случившийся микроинсульт сделал инсулинотерапию невозможной. Отца посадили на таблетки. Он погружался во тьму, тяжелел, но не переставал работать — статьи следовали одна за другой, в научном мире его ценили по достоинству.

Надеюсь, сегодня он не «шаломыжничал» бы по аллеям, хотя, кто знает? Есть неподалеку, в Доме творчества, старик — выживший из ума, загруженный антидепрессантами, он именно что «шаломыжничает». Отец все сознавал и страшился будущего.

В самый пик болезни отделение закрыли на ремонт и его выпустили из больницы. Мы жили на даче — я готовился к поступлению в институт. Отец отправился проведать друга в соседний поселок и не вернулся уже никогда. Электрички гудели протяжно и страшно — кажется, на дороге образовался затор и расписание сбилось на целый день, хотя, возможно, мне это приснилось.

Хоронили отца в черном голландском костюме — я отказался его донашивать. Народу пришло много, на лицах двух ближайших друзей застыл ледяной ужас.

Однажды отец болел гриппом, лежал на кровати, укутанный клетчатым пледом, весь в клубах дыма от дешевого табака. Но не читал. Я заглянул в комнату, он посмотрел отрешенно и загадочно.

— Великая книга, — указал на манновского «Иосифа». — Душная ночь, костер, небо в звездах...

Воображение, видимо, и сгубило его. Интересно узнать, какую жизнь он придумывал, каким персонажем представлял себя, читая «Иосифа и его братьев»? Хотя всего верней Ортега имел в виду другое. «Человек — автор романа о самом себе», — заметил он как-то. Когда я думаю о его романе и о том, что пишу всю жизнь и никогда не напишу, странно, но мне совсем не грустно.

За дачным окном тьма. Она наступила, я и не заметил — как. Ночь. Неясный свет луны. Мертвые деревья под снегом полны затаенной энергии. В ванной капает кран. Я замочил в тазу белье. Капля за каплей падает на поверхность мыльной воды, круги разбегаются — смотрю и ничего не чувствую. Тогда я закрываю кран и иду на чердак. Там в кладовке — чемоданчики. Их мно-

го, но я открываю седьмой, предварительно разрезав толстые льняные веревки. Мыши прогрызли в дне дыру, натаскали всякого хлама и рухляди. «Брось в картонку или ящик несколько черствых хлебных корок и немного старого тряпья, крепко-накрепко перевяжи веревкой, а потом, не позже чем через полтора месяца, открой — и оттуда повыскакивают живые мыши», — такой рецепт, со слов своей прабабки, выдает Белль.

Седьмой чемоданчик стоит здесь много лет — мыши вывелись летом и давно разбежались по дому. Ночью они иногда так назойливо скребутся за обшивкой, что не дают мне спать.

Горит лампочка над кроватью. Я читаю эссе Борхеса «Время»:

«У нас есть дневные часы и ночные часы, у нас есть память, есть сиюминутные ощущения. И, наконец, у нас есть будущее, будущее, которого мы еще не знаем, но предчувствуем или боимся».

Психоаналитики давно заметили: каждый носит в себе образ Родителя.

Ослепший на старости лет аргентинский мудрец всю жизнь посвятил разгадке неуловимого. Воображение, подстегнутое чтением книг, рисовало картины, язык фиксировал их — точно и скупо. Из седьмого чемоданчика доставались цитаты, голоса, ноты, специальные запахи, вспыхивали и гасли огни прерии или прожектора построенной им рамы, выделяя героев и их лица. Затем он умер и был похоронен в Монтре, неподалеку от Набокова.

В третьем томе сочинений, выпущенных издательской фирмой «Полярис» в 1994 году, запечатлен молодой Хорхе Луис. Мальчик стоит на носу бутфорской лодки в фотоателье — правая нога, согнутая в колене, выступает вперед, руки держат большое длинное весло. Он в матросской форме, вероятно, аргентинской — жилетик, панталоны, белый крахмальный воротничок в полгруды, лихая шапочка с помпоном. Умное лицо напряженно смотрит в объектив, в нем читается надменность. Рисованные деревья и шумный поток на заднем плане подчеркивают условность, постановку кадра.

Удивительно, на гениальной фотографии Наппельбаума петербургский Набоков чем-то схож с юным аргентинцем. Модные шорты и галстук, жесткое плетеное кресло, барски закинутая на ногу нога, белые гетры и блестящие ботинки, раскрытый альбом с бабочками и чуть приотворенное окно. Взгляд барчука, холодный и всезнающий, та же надменность, за которой вечная боязнь показать себя, выдать миру подлинные эмоции.

Конструкции их прозы, абсолютно лишенной юмора, порой чарующей, порой нудноватой, сколоченной из одного и того же взгляда на жизнь, во многом схожи. Магия языка, энциклопедизм, невероятно богатый словарь притягивают, живая страсть всегда подменена ее препарированием.

Они лежат неподалеку: камень Набокова прост, на аргентинском надгробии проступают таинственные письмена — цитата из «Беовульфа». Я всегда поражаюсь, что, несмотря на все уловки и ухищрения разума, жизнь, простая жизнь, нет-нет да и выскочит из их текстов, как мыши, обязанные зародиться в позабытом на дачном чердаке седьмом чемоданчике.

*Январь 1997*

### III

#### *Избавление*

#### 1

Солнце теперь садится гораздо позднее, среди полной тишины верхушки сосен окрашены веселым светом. Два дня на даче пахло весенней водой, но опять наступили холода. В прямоугольном циферблате наручных часов, как на обрамленной картине, проступает день: коричневое, темно-зеленое и голубое — так со времен Возрождения писались планы в европейском пейзаже. Но есть еще и ветка — сухая, корявая, капризной линией она рассекает видимое на две неравные части.

Серое пятно соседского сарая. На его крыше белый матрас слежавшегося снега. Но я веду головой вправо и вверх. Выше, выше и быстрее, чтобы оттуда сорваться вниз, пронестись по линии забора и опять воспарить.

К вечеру краски приглушаются. Мир становится похож на древнюю китайскую гравюру: монохромный, скупой, полный разлитой повсюду энергии.

На даче все та же красная клетчатая скатерть на овальном столе, оранжевый свет абажура. Телевизор, который мне совсем неохота включать. Жасмин похож на бамбук с китайского свитка. Тонкие веточки фруктового дерева чуть тронуты инеем, подчеркнутые им линии рождают ощущение многомерности и глубины.

## 2

Четыре года назад я купил путевку в актерский Дом творчества «Щелыково», но жить там не смог. Сбежал в крохотную Рыжевку — деревушку в лесу, у речки с каким-то протяжным финским именем, в пустой дом, предназначенный для летних пикников. Одолжил у местных ружье, ходил по окрестностям. Стоял поздний сентябрь.

Сосед-охотник позвал меня как-то на мыс, где в речку втекал лесной ручей. Ждали мы долго, утка не летела. Темные сосны и ели на другом берегу реки на красно-желтом заднике лиственных деревьев были словно прописаны тушью. Остро пахла сырая трава. Пугаясь собственного голоса, на опушке заикал маленький сычик и тут же и смолк. Вдруг над водой, перед самым нашим носом, со свистом пронеслась стая реактивных чирков и скрылась за поворотом реки. Спутник мой плюнул с досады под ноги, захлюпал по кромке ручья к стрелке. В лунном свете камешки на перекате блестели, словно кто-то щедро бросил на дно пригоршню серебряных монет.

Я отправился домой через перелесок, краем овсяного поля. Ступал осторожно, держа наготове дробовик, но не увидел даже старого звериного следа на мокрой и жирной дорожной глине.

Вдруг набрел на пустырь. Заросшие крапивой прямоугольники домов, косяе жерди изгороди, столб с уцелевшим изолятором и оборванными плетями алюминиевых проводов. Дорога огибала остатки деревни. Старая колея, что шла когда-то по единственной улице, почти исчезла в отяжелевшей от росы некошенной траве.

Я достал из кармана карту, точнее кальку с километровки, ее копировал еще мой дед. Он жить не мог без планов, схем и карт, запасался ими в любую поездку. Ящик его старого письменного стола и сейчас забит ими до отказа. Ориентиром служила река, мыс при впадении ручья. Ошибиться было невозможно — передо мной лежали остатки Бобров, деревни, где дед с бабкой отдыхали летом у бабкиного племянника. Маленькая луна застыла над верхушками дальних деревьев. Ветра не было. Лес плыл в густом холодном тумане. Картина перед глазами имела четко обозначенные планы. Одинокий корявый столб с разбегающимися проводами врезался в ночной воздух застывшей свечой.

Все вместе, задавая ритм, сшивала воображаемая линия. Она начиналась в правом углу у излома старой изгороди, медленно перекидывала мостик к подножию столба, чтобы затем стремительно взвиться по его сухому стволу. По-метавшись из стороны в сторону в обрывках проводов и как бы обломившись в них, она низвергалась вниз, скользя по причудливой длинной параболе, и утыкалась прямо в лунную бляшку. Луна, как магнит, притягивала серый алюминий. Едва коснувшись ее, он истаявал в белом кипящем серебре. Холодный свет растекался по округе, проникал в каждую краску ночного пейзажа, рождая ощущение надмирного, вечного покоя.

Я сложил старую кальку, спрятал во внутренний карман ватника. Глубоко и медленно втянул носом влажный воздух, подержал его в груди, словно выполнял упражнение по восточной медитации, и так же аккуратно выдохнул. Повесил ружье на плечо и пошел по дороге в Рыжевку.

Фонарь на столбе едва освещал поляну около дома сторожей и низкий коровник. Хозяйка и дачница в длинных резиновых сапогах молча стояли у чуть приотворенной двери в хлев. У хозяйки ноги застыло блестящее ведро с вечерним надоем. Густая пена поднималась над краем. Дачница держала в руках бидончик. Две склонившиеся друг к другу женские фигуры, казалось, вели безмолвный разговор — в их позах были печаль и тайна, я не решился к ним подойти.

Обойдя женщин стороной, я спустился к реке. Хрупкая и легкая хозяйская дочка стояла на коленях на мостике — пускала кораблики из кленовых листьев. Сгибала их пополам, сшивала стебельком, и получались тупоносые парусники. Узловатый ствол дерева, в котором цепляли лодку, в точности повторял линию ее наклона. Рядом с ней он казался массивным и грубым.

— Настька! — позвал я.

Она вскочила с колен и отряхнула платице от невидимой пыли.

— Сколько лет уже нет Бобров?

— Мама говорила, последний дом сгорел за год до моего рождения.

Мы поднялись на высокий берег к их дому. Едва увидев меня, хозяйка запричитала:

— Петька! В Москве у вас опять война, танки стреляют! Серезеньку моего на войну заберут!

Даже отключившееся телевидение почему-то не испугало меня. Поймали обрывочные сведения по радио. Услышав, что толпой командует бездарный генерал Макашов, я легко погасил ее истерику. Она сразу поверила, что отслуживших не станут призывать повторно, но напоследок тяжело вздохнула:

— Чего им все власть не поделить?

Я смолчал, сраженный ее неподдельной наивностью. Спросил, не помнит ли она моего деда.

— Доктора? Припоминаю, он мне еще гнойник на ноге отказался вырезать, направил в больницу.

Объяснять ей, что дед — доктор искусствоведения, было бесполезно. Я взял банку молока и отправился в свой дом.

Настька недавно стукнула одиннадцать. Выходило, дед с бабкой отдыхали в этих местах лет пятнадцать назад. Когда я разворачивал кальку, мне показалось, что это было совсем недавно.

### 3

Теперь на даче я открываю сборник избранных работ деда, нахожу фотографию: «Н. Ю. Зограф и Г. А. Недошвин в Щелькове. 1965 г.» Две фигуры. Кажется, что буйная белая трава по краю фотокарточки рвется из-под их ног к самому небу. На втором плане — репы и крапива, почти заслонившие венцы полуразрушенного сарая. На крыше кое-где сохранилась дранка. На самом верху — оставшийся объектив кусочек светлого неба и пышное дерево, наверное, черемуха. Солнце бьет сквозь листву.

Бабка спряталась за деда, отчего выглядит выше, чем на самом деле. Правая рука вытянута вдоль тела и сжата в кулак, левая уперта в пояс, но глаза опущены и прикрыты. На ней простая черная юбка и серая вязаная кофта, разделенная темной полосой посередине, там, где крепятся пуговицы. Воротник тоже темный, как и манжеты.

Дед, повернувшись в три четверти, смотрит в объектив. Копна выбеленных солнцем, взъерошенных, как трава под ногами, волос разрушает статичность позы. Чуть тронутое улыбкой доверчивое лицо. Черный прогулочный пиджак. Какие-то простежки широкие брюки, резиновые сапоги. За спиной в скрепленных руках сумка-пакет, наверхника с грибами.

Они стоят, чуть сместившись к правому краю, темная глыба сарая уравнивает композицию, рождая ощущение простоты и покоя. Не сомневаюсь, дед проанализировал и описал бы картинку с присущим ему блеском и юмором, привел бы смешные аналогии. Снимок не лжет, но грубый реализм кажется

мне лживым, я долго не понимаю, почему меня совсем не тянет поскорей хлопнуть книжку. Наконец осеняет: лиризм и дедова доброта схвачены здесь верно, внутреннюю драму, известную мне, я привношу сам, и она никак не ложится на деревенскую идиллию.

Выходит, они побывали в Бобрах дважды — я точно знаю, что брат провел там с ними лето. Может быть, карта калькировалась раньше, ради этой неизвестной мне поездки шестьдесят пятого года?

Дед умер в 83-м. Через год не стало и бабки. Брат родился в 65-м. Я охотился на уток в 93-м. Сейчас 97-й.

## 4

Писать о деде следовало бы просто и скупое. Я даже принялся набрасывать план, написал несколько пунктов и остановился. На голую схему наслаивались обрывочные сведения. Мне представился «добрый дядя Саша» — его отец. Я никогда его не видел. Слово «добрый» что-то проясняло. Затем всплыл купчик — дедов дед. До отмены крепостного права он сумел выкупиться у барина и до смерти гонял по Волге собственные баржи. Был он, по рассказам, не богат, помогал родне, в гуманитарное образование не верил. Знал жизнь, ставил на естественные науки, завещал потомкам учиться реальным знаниям и на образование детей денег не жалел. Смутно припомнилась какая-то немка без имени, подарившая деду, как шутили, его каллиграфический почерк, а мне, выходит, ничтожную часть своей остзейской крови.

Родился дед в подмосковной Коломне, но самые яркие детские годы провел в Казахстане. «У нас в Петропавловске», — как он говорил, противопоставляя неизвестный мне городишко дальневосточному тезке. Там, купаясь в реке, нырнул под баржу и, спутав направление, чуть не захлебнулся. С той поры, сколько помню, не плавал, только плескался на мелководье — летом мы всегда отдыхали в деревнях, около воды.

Ненужные заготовки глушили главное — ноту, что возникла при разглядывании фотографии. Связать скудные сведения воедино я не мог, не знал как, а от того злился и заполнял план бессмысленными словами типа: «лиризм», «реальное в нереальном», «История» (конечно, с большой буквы!), «античность и современность». Невесть как на бумагу затесалось любимое дедом изречение Лескова: «Не так страшен черт, как его малютки».

Тьма за окном сгустилась. Я оставил листки на столе, вышел на улицу. Шел мелкий снег. Я бездумно брел по спящим улочкам дачного поселка, все глубже погружаясь в отупение, свойственное людям, страдающим безволием.

Мне не хватало источников, документов. Дед слишком давно родился и много прожил. Миф существовал, бороться с ним было, что рубить головы Змею Горынычу, — вместо одной снесенной тут же отрастали две новых.

Глаз постепенно начал подмечать качающиеся на ветру ветки, шум ветра успокаивал, волнение понемногу стихало. Скоро дед, внимательный, всегда находивший время для общения, добрый беспредельно, возник перед глазами. Неспешный и сосредоточенный за столом, где по краям царили его любимые бирюльки: сухая среднеазиатская тыквочка, дешевая фигурка Будды, рассеявшегося на старых часах. Открытка с головой боттичеллиевой Венеры закрывала следующее число в перекидном календаре. Открытки менялись по настроению. Бирюльки он вертел в руках, когда думал, — они заменяли сигареты. В последние годы у него началась сильная астма, он бросил курить и слегка пополнил.

Дед никогда не был толстым, костюм скрывал брюшко, и, пока он не вставил зубы, лицо казалось худым, даже изможденным. Зубы он боялся лечить панически, доводил до последнего, чтобы безжалостно выдрать. Он боялся боли. Последние десять лет провел с ингалятором, увеличивая и увеличивая дозу.

Бабка и мать преданно следили за ним — никогда я не видел деда с авоськой картошки, зато, если он покупал спички или соль, зубную пасту или стиральный порошок, то приносил товарное количество. На тумбочке в прихожей

все детство пылился стеклянный агрегат — кофеварка со свистом, ею не пользовались, но и выкинуть не решались — дед ценил необычные вещи больше необходимых.

Долго я не знал (бабка тщательно скрывала), что порой он запивал. Просто, по-русски, в шалмане или у бочки, где разливали дешевое грузинское вино, мешаясь с толпой работяг. Принимал нужную дозу, брел домой, пряча глаза, пробирался в кабинет и засыпал, зачастую не снимая одежды. Помню сладкий запах алкоголя и печальные отрешенные глаза. Дед занимался эстетикой соцреализма. Десять лет ВАК не утверждал его докторскую диссертацию.

Позднее я узнал, что он пытался уйти из дома. Исчез на две недели и... вернулся. Уже навсегда.

Всю жизнь его несло и крутило. Колебаться вместе с линией партии оказалось непросто. Он верил в безысходную правоту истории, упрямо теряя по дороге друзей и любимых учеников. Потом, после смерти, мне пришлось выслушать много обвинений в его адрес — коллаборационист, трус, пытавшийся вскочить в последний вагон... Я мрачнел, молча уходил в сторону — я знал его лучше, глубже, но ничем не мог защитить. Успокаивало одно — люди, говорившие так, всегда были мельче, в их словах сквозила обида.

Дед молчал. За воскресным столом приходящие на обед тетушки несли советскую власть почем зря, приносили и обсуждали запрещенную литературу. Дед слушал, редко вставлял слово. Отобедав, уходил в кабинет, и часто я заставлял его там читающим любимого Лескова. Российская безысходность или исторический стоицизм писателя были ему по душе.

Когда дед и бабушка умерли, я обнаружил, роясь в письменном столе, несколько перевязанных ленточкой записок. Гневно, с открытой болью, бабушка писала ему: «Презираю тебя, ты не работаешь... суета...» — и что-то в таком духе, раскаленные, больно ранящие слова. На полях убористым дедовым почерком была наложена резолюция, почему-то всегда на латыни — едкое изречение любимых им античных мудрецов.

Дед часто и с удовольствием ездил по стране от общества «Знание», читал лекции по истории искусства. Половину жизни он проработал в университете, где, кажется, перечитал все общие начальные курсы.

«Если бы культура шла вглубь, а не вширь...» — любил он повторять.

При этом сознательно строил теорию соцреализма. В результате не написал и десятой части того, что мог бы. Бабушка, всю жизнь просидевшая в Третьяковке, занималась XIX веком, художниками круга Толстого, не вылезала из архивов, сотни раз сверяла документы с рукописью, прежде чем их опубликовать. Кто из них был шире?

Незаметно я вышел к пруду. Замерзший, с подтаявшим, просевшим льдом темный овал. Тусклое пятно цементной трубы на дамбе. Ветер стих. Над открытым пространством зависла мертвая тишина. Сквозь редкие деревья пробивался свет последних фонарей поселка. Я стоял тихо, словно опасаясь вспугнуть кого-то. С провисших еловых лап неожиданно срывались комья снега, просыпались сквозь темное дерево на землю. Где-то далеко-далеко застучал движок, его комариное гудение не казалось инородным, притихшая природа обрела живой пульс. Я, как пес, принялся жадно втягивать ноздрями студеный ночной воздух. Голова слегка закружилась и прочистилась, отсутствие серьезных мыслей больше не угнетало.

Недаром, наверное, дед всегда отдыхал в деревне. Мы много ходили пешком, собирали грибы, причем он был не лучшим добытчиком. Он любил разглядывать, он умел разглядывать, всматриваться, чувствовать. Помню, он сидит у костра (в Любохове? Удине? Тулитове?), дым стелется низко по земле, солнце спряталось за тучу. Собирается дождь. Пора идти, но я почему-то не решаюсь его позвать. Только что он рассказывал об английских романтиках и вдруг замолчал. Он сосредоточенно смотрит на обычный зеленый лес за рекой. Смотрит долго и молчит. Лишь с первой каплей дождя, нарочито кряхтя, поднимается с земли, кивает мне головой:

— Пойдем!

Я вскакиваю, подаю ему корзинку с грибами.

— Погоди,— произносит он одними губами,— смотри, как красиво!

Я помню тучи — тяжелые, брюхатые, низкие, надвигающиеся прямо на нас, и вдруг проклюнувшееся солнце, и коую пелену дальнего дождя. И свинцовую речку. И журчание воды на камнях. И едкий дым, повернувший в нашу сторону. И его беспричинный смех, смех счастливого человека. Мы тогда забыли плащи и здорово промокли.

Обтершись махровым полотенцем, переодевшись в сухое, мы сели за стол. Дед смачно подцепил вилкой малосольный гриб, опрокинул рюмочку водки. Поймав мой восхищенный взгляд, почему-то пообещал:

— Когда тебе стукнет шестнадцать, я отведу тебя в ресторан, и ты попробуешь настоящего, хорошего вина.

В шестнадцать я уже сам попробовал вина — всякого: и хорошего, и плохого. Дед про свое обещание просто забыл.

...Я постоял еще минутку у замершего пруда. Медленно обвел взором линию берега, темные сосны, завершил круг. Повернулся, пошел на слабый свет фонаря. Домой.

По дороге я думал о странной истории. Некий исследователь-архивист из сибирского отделения «Мемориала» позвонил жене с неделю назад. Он разыскал лагерное дело ее деда. «ЗК Яков Эйдельман направляется в барак усиленного режима (БУР) за то, что отказывался исполнять возложенные на него обязанности пожарного и за игру на скрипке после отбоя». То, что Яков Наумович не раз сидел в БУРе, нам известно по его рассказам. То, что он не умел играть ни на каком музыкальном инструменте,— неопровержимый факт.

Сидевший в Норильске политкаторжанин так прокомментировал сообщение из Воркуты:

— Черт его знает. Если он сидел с «придурками», например, с лагерным оркестром, то мог взять вину на себя, выгородить товарища. Пожарный — не худшая должность. К чему от нее отказываться? Могли ведь просто все выдумать — бумага стерпит. Насколько я знал, Яков Эйдельман «в придурках» не числился. Между прочим,— добавил он,— у нас в Норильске было сложно привикнуть к заполярной ночи — светло, спать не хочется. Мы подолгу сидели с ребятами на ступеньках барака, курили, трепались, охрана смотрела на это сквозь пальцы.

Я хорошо помню Якова Наумовича — он был сама энергия, приложить которую ему было некуда. До войны честно служил власти и искусству — работал театральным критиком.

— Лагерь сделал одно доброе дело — исключил из партии, в которую меня приняли на войне.

И еще, сверкая глазами, признавался:

— Перечитал тут написанное до посадки — сколько же я чуши намолол.

Я зашел в дом, полистал перед сном том дедова «Избранного» и выключил свет.

Во сне я долго бродил по какому-то театрализованному лабиринту. Дорожки были аккуратно размечены и посыпаны свежим песком. Деревья были знакомые, но не те: сосны, и ели, среди которых почему-то затесались лишние здесь яблони и вишни, и настоящий бамбук. Из зарослей вдруг выглядывали гипсовые советские статуи. Если б не знакомые с детства пионеры и горнисты, колхозницы с осетрами и сталевары в пыльных шлемах, я с полным основанием мог бы решить, что попал в другую страну. Иногда мелькали ограда забора и какие-то кирпичные строения, похожие на гараж и котельную, но лезть в высоких ботинках в дикий снег не хотелось. Странно, но мне не было страшно.

На одном из пересечений лабиринта, около фигуры Аполлона с лирой, я остановился прикурить. Широконосый, с грубыми слипшимися кудрями и невероятной маленькой жеманной лирой, с отбитым пенисом, солнечный музыкант походил на уродливую карикатуру. Собирающие сейчас советскую парковую скульптуру галерейщики дорого б дали, наверное, чтобы спереть его отсюда. Впрочем, в его наивности что-то было, по крайней мере я в первый раз улыбнулся.

Невероятный рев или стон пропорол вдруг тишину, от неожиданности я вздрогнул. Он возник в глубине леса и длился, длился — и вдруг разом пропал, как отрезали. Я ждал повторения, и оно последовало, скоро и чуть ближе, такое же протяжное, рыдающее, полное безысходной тоски и неприкрытого звериного желания. Большой звук стих, но теперь в лесу затрещали кусты, выстрелила сухая ветка — зверь ломился сквозь бурелом, похоже, прямо на меня. Признаться, столкнуться сейчас нос к носу с племенным быком мне явно не хотелось. Я замер, прикидывая, смогу ли в крайнем случае забраться на спину к Аполлону.

Треск в лесу прекратился. Я решил уносить ноги. Тихо, на цыпочках, развернулся, высоко поднимая колени, пошел назад. Но знал уже, что попался. Увидел впереди темный силуэт, отрезавший мое отступление, с испугу потер глаза и, поняв, вдруг рассмеялся.

Невысокий, но мускулистый, голый по пояс, обросший рыжим мхом, в адидасовских тренировочных штанах, в дешевых цветастых кроссовках, в карнавальных, оклеенных серебряной фольгой острых и высоких лирообразных ассирийских рогах, как на музейных навершиях бронзового века. Два больших печальных бычьих глаза следили за моим приближением, мокрый блестящий нос нетерпеливо втягивал запахи — Минотавр спешил со мной познакомиться.

Он оказался застенчив и воспитан — печально и со значением поклонился, словно просил прощения за свое уродство, немедленно родив во мне чувство острой жалости и симпатии.

Вскоре мы уже шли бок о бок по лабиринту, как давние знакомые, и говорили о чем-то важном для нас обоих. Не помню сути, в памяти остался настрой — что-то родственное и созвучное, так соответствовавшее луне и звездному небу над нами.

Он привел меня в какую-то пустую деревянную дачу, на маленькую кухню, где сварил на плитке крепкий кофе. Дачи этой до того я никогда не видел, равно как и круглого, по циркулю вырытого пруда. На насыпном островке вмерзла в лед классическая беседка с колоннами. Посередине на простой скамье сучала задумчивая нимфа.

Минотавр принял сетовать на злой рок. Глядя сквозь грязное стекло на мраморную девушку, горячо заверял меня, что распространяемое о нем предание — ложь и грязные сплетни Тезея и его родственников. Выходило, что он всю жизнь любил одну Ариадну и только ее и желал. Случайно подглядел девушку, купающуюся в море, и потерял покой навсегда. Засылал послов с подарками и, наконец, сломив девичий стыд и пробудив любопытство, пригласил на первое свидание. Он находил слова, что под силу только влюбленному, и сыпал ими, нисколько не стесняясь моего присутствия. Он не боялся показаться наивным, он и не выглядел таким — глаза его сияли, чистые и одухотворенные.

— Тезей обманул ее, предупредил перед входом, наплел небылиц, а ей, бесстрашной бедняжке, уже нельзя было отказаться от приглашения. Если б я успел с ней заговорить — она б поверила, Аполлон наделил меня словами.

Он умел убеждать, это правда.

— Смотри.— Он указал на два ужасных рубца под правым соском.— Я, безоружный, сам бросился на его меч. Я хотел умереть, опозоренный, я видел, КАК она на меня посмотрела.

Он застонал, словно снова раненный в грудь. Боль и отчаяние стояли в его глазах: прекрасный в своем уродстве, древний, могучий, униженный, но не смившийся с утратой любимой.

— Кто же ты? — спросил я вдруг.

Он сперва не понял вопроса. Весь еще во власти воспоминаний, вздрогнул, как ребенок, уставился на меня волоокими глазами.

— Кто ты? — повторил я шепотом.

Он как-то сразу помрачнел. Блеск в глазах потух, черные зрачки сузились, в них промелькнули звериная злость и жестокость.

Мне стало не по себе, я отвернулся к окну и принялся изучать скучающую нимфу. Минотавр меж тем достал откуда-то тростниковую флейту и заиграл тоскливую, но теплую мелодию. Не выпуская инструмент из рук, встал, вышел на крыльцо. Он играл, и свист, и шелест, и плач флейты по-особому насытили воздух, деревья, застывшую воду, звезды и луну — я понимал, о чем поет дудочка.

Искусный игрок, он выдувал страсть своими мясистыми, вывороченными губами. Я увидел прекрасную напуганную девушку в воздушной тунике, ступающую в легких сандалиях по песчаной дорожке. Губы ее были чуть приоткрыты, блестящие глаза — сплошной черный зрачок — устремлены в темноту. Она была заморожена, боялась, но отважно шла вперед. И вдруг: резкие вибрирующие ноты, мечущийся по кустам свет факела. Ее лицо исказил ужас, и все погрузилось во мрак.

Я вскочил, вышел за ним, но Минотавр исчез, только флейта звучала в отдалении, теперь уже трагическая, оплакивающая потерю и поражение. Хитрец, он скрывался, как может скрываться только зверь. Мелодия снова изменилась. Теперь она стала архаичной, сотканной из странных, воздушных звуков. Дудочка пела, и я легко вдыхал ее голос — так легко вдыхать запахи природы после дождя. Подобно древним рецептам бальзамов и притираний, что равно годились для умащения тела невесты и покойника, она вмещала в себя все краски, оттенки и полутона. Я понял — Минотавр отыгрывался, он попросту дразнил меня своим искусством.

Мелодия смолкла. Я проснулся. Книга лежала рядом, раскрытая на последней дедовой статье «Лиризм Пикассо». Там он упоминает офорты, посвященные слепому Минотавру. Девочка-поводырь, люди, куда-то отплывающие на лодке, некто, безразлично созерцающий несчастного быкоголового уroda. Странная, поэтическая картинка. Полузверь? Получеловек?..

## 6

Утром я засел за «Избранное» основательно. Первая статья называлась «Рембрандт Харменс ван Рейн». Впервые она вышла в шестом номере журнала «Искусство» за 1936 год. Шестьдесят один год назад.

Портрет живописца на фоне его времени. Короткие предложения, точные слова. Дед всегда размышлял, не стесняясь, даже выпячивая чувство. Эпоха и художник были ему близки. Нидерланды, борющиеся за независимость от испанской короны, дух вольнолюбия и свободы, бессмертный Тиль Уленшпигель де Костера — символ победившего народа.

«Рембрандт был прост и не любил аристократического общества. Его плебейские привычки и вкусы немало, наверное, огорчали его друга Яна Сикса». В тридцатом или тридцать первом дед с бабкой были званы в гости, «на вторник» к высокородным бабкиным двоюродным тетушкам. Дамы-старухи обращались друг к другу исключительно по-французски, подчеркивали титул: «дорогая графиня», «милая княжна», говорили в нос, грассировали. Беседовали ни о чем. Молодые люди пижонили: шегольская одежда, презрение на лице, и что сразу — стеклянная фляжка виски, к которой полагалось прикладываться чуть ли не как к мощам.

Дед изнеженности и вычурности не признавал до конца своих дней. Бабка была по-девичьи восторженна и чиста. Больше на «вторниках» они не появлялись. Фанфары трубящей страны оглушали — радостный, возвышенный зов

совпадал с чистосердечием молодости. Подобно Рембрандту в помянутой статье они искали не красоты обличья, но красоты образа.

Одна очень красивая московская дама, бывшая дедова ученица, рассказала мне случайно подсмотренную сценку. Вскоре после окончания войны в маленькую комнату, где они тогда жили, ворвался давний друг, только что демобилизовавшийся из действующей армии. Он спешил к ним прямо с поезда, в грязных кирзовых сапогах, нестиранной гимнастерке и свалывшейся тяжелой шинели. Завопил с порога, пытаясь обнять всех сразу, скакнул козлом на середину комнаты. Не ожидавший вторжения взволнованный, счастливый дед бросился навстречу, свалил подвернувшийся по дороге стул. Наблюдавшая за сумятицей бабка строго заметила:

— Илья, сними сапоги!

Мужчины на долю секунды лишились дара речи. После, распивая водку из офицерского пайка, принялись подшучивать над сконфуженной, но настоявшей на своем Зографиней.

Веселый и бесшабашный Рембрандт времен автопортрета с Саскией, человек с картины, приветствующий всякого, кто готов разделить его счастье и надежды, напоминает мне довоенные фотографии деда. «Рембрандт избрал путь мечты, романтики, возвышающей над жизнью, но не отрывающей от нее» — так писал дед, и не только верил в написанное, сам выбрал тогда путь, кажущийся, вероятно, спасительным.

Поздний Рембрандт, достигший настоящего мастерства, человек совершенно иной. Смерть любимой жены, а затем и сына Титуса, смерть второй жены, одиночество и нищета, потеря признания родили трагические полотна.

Защитить такую пессимистическую диссертацию в 36—37-х годах было невысказано. Надеждам и вере был нанесен первый серьезный удар. Кандидатская о Федоте Шубине — крестьянском сыне из Холмогор, друге Ломоносова и великом парадном скульпторе блестящего XVIII столетия не стала тем не менее отпиской. Мраморные портреты скульптора правдивы, лишены лести и раболепия, раскрывают характер, подмечая в человеке человеческое. То, что дед ценил в искусстве превыше всего. Мне только не было понятно: видел ли он в человеке звериное? Об этом он никогда не говорил.

Он преподавал тогда в ИФЛИ. Студенты любили его. Он становился знаменитостью.

Вскоре случилась война. Дед пошел на призывной пункт добровольцем, но получил броню из-за плохого зрения. Университет отправили в эвакуацию в Ашхабад, где, по рассказам моей мамы, было голодно и росли невероятной вкусноты дыни. Дед уходил с раннего утра в пустыню, ловил черепах. Бабка варила маме черепаховый суп. Сами они не могли есть этот бульон — черепаха долго живет с отрубленной головой. Свои палаческие ощущения бабка не могла забыть до смерти.

После войны дед вступил в партию.

Когда мы готовили для редакции том его «Избранного», мудрая ученица, написавшая вступительную статью, сказала мне твердо:

— Давай уберем весь раздел, касающийся советской живописи. Пусть он останется историкам — сейчас никто не поймет полемики тех лет.

Советского раздела в книге нет, словно и не было, статьи упомянуты только в библиографии. В конце жизни дед снова вернулся к западному искусству — к тому, чем мечтал заниматься всегда. «Судьба античного наследия в искусстве XX века», «Лиризм Пикассо» написаны незадолго до смерти. Страх отступил, но своих трагических полотен он так и не создал.

Статья о Пикассо заканчивается цитатой из его эссе: «Не так важно, что художник делает, а важно, что он собой представляет. Сезанн никогда не заинтересовал бы меня, если бы он жил и думал, как Жан Эмиль Бланш, даже если бы яблоко, написанное Сезанном, было в десять раз прекраснее. Для нас имеют значение беспокойство Сезанна, уроки Сезанна, мучения Ван-Гога, то есть драма человека. Все остальное — ложь».

Всякий хочет понимать искусство. Почему не пробуют понять пение птиц? Почему любят ночь, цветы, все, что окружает человека, не доискавшись до их смысла?»

## 7

И опять зашло солнце. Посыпал мелкий снег. Где-то далеко за деревьями зажглись желтые фонари. Я читал статью «Старая китайская живопись». Дед приводит там стихотворение средневековой поэтессы Ли Дуань:

Я штору свернула,  
И тотчас на новый я месяц взглянула.  
Ему поклонилась я, в то же мгновенье  
Сбежав со ступеней.  
Никто не заметил  
Мой тихий до шепота голос.  
И дует мне в полы и в пояс  
Лишь северный ветер.

Мне захотелось на улицу. Я вышел на крыльцо без шапки и шарфа. Снег сыпал сквозь уличный фонарь, похожий на широкополую испанскую шляпу. Запутанный узор веток, тени, скрывающиеся в глубине большого участка. Никого вокруг.

Несколько дней назад, когда мы вышли подышать свежим воздухом из прокуренной дачи, тоже пошел снег. Вдруг. Он падал с небес невероятными снежными стружками. Качаясь, они планировали на землю в расходящемся конусом теплом свете фонаря. Казалось, мы очутились внутри мультфильма.

Я стоял под тем же фонарем. Мир вокруг был разделен движением и светом сверху вниз на смысловые ярусы: небо, деревья, дорога-земля — как на древней китайской гравюре, о которой так поэтично в свое время написал дед. Это из нее я подглядел и ветку, и девочку у воды, подслушал ритм и странную, теплую мелодию простых слов. Из нее ли только? Теперь я уже и не знал, впрочем, теперь это было и не важно.

Сыпал снег, колючие кристаллы косо падали на землю. Белая завеса объединяла все, глушила скрытую энергию природы. Не было только волшебства, инакости — все шло по раз и навсегда заведенному правилу. Большая ветка на сосне была реальна, то есть скучна и прозаична, правда, я теперь глядел на нее под другим углом. Не выдержав, я прошептал, обращаясь невесть к кому:

— Нет, и черт страшен, и его малютки.

Обжигающая щеки белая крупа засыпала меня, от нее некуда было деться. А мне и не хотелось. Почему я любил эту ночь и все, что меня окружало? Врачи-психиатры, доискивающиеся смысла поступков и побуждений, назвали бы, вероятно, мое состояние излечением. Я не силен в их терминологии — мне казалось, что в сердце моем просто жила любовь.

*Февраль — апрель 1997*

#### IV Глубокое

## 1

В самом конце моей дачной жизни, в мае, последняя глава рукописи, вроде бы сложившаяся, стала вдруг казаться мне плохо продуманной и сильно смахивала на кичливый мемуар. Как всегда в таких случаях, я много и беспорядочно читал.

Почти десять веков назад в Киото — тогда он назывался Хэйан и был столицей Японии, жила женщина, звали ее Сей-Сенагон. Однажды ей подарили кипу хорошей бумаги, и она начала вести записки. Неспешно погружался в этот мир, поражаясь смелости молодой женщины, так свободно повествующей обо всем, что ее волновало.

«Мои записки не предназначены для чужих глаз, и потому я буду писать обо всем, что в голову придет, даже о странном и неприятном», — замечает она, защищая свое право писать, о чем считает нужным.

Если б я мог, как она, последовательно и неспешно описывать то, о чем думал и переживал, но сосредоточиться на одном сюжете не удавалось. Исписанные листы летели в корзину. Вечерами, глумясь над своим бессилием, я сжигал их вместе с неотправленными любовными письмами, тщательно следя, чтобы огонь пожрал все до буквочки, ворошил палкой прогоревшие остатки, на которых назло мне, словно написанные симпатическими чернилами, проступали ненавистные слова. Я крошил пепел на мелкие чешуйки, перетирал палкой в золу, а затем садился на большое бревно около кострища, курил последнюю перед сном сигарету и смотрел в низкое немое небо.

В один из дней мне попала на глаза книга Проппа «Русская сказка». Изучив ее, я вдруг написал две легенды о том, как черт посетил Москву, как он безнадежно влюбился и что из этого вышло. Разрядка оказалась кстати.

Теперь я палил костер из собранных на участке веток, долго глядел в огонь, пытался выстроить последнюю главу о прабабке в соответствии с известными законами риторики, но скоро уставал от бесплодной игры. В одиноком вечернем сидении мне являлись такие сны наяву, что не хотелось уходить в дом. Ночные сны были жестче, холодней и более походили на реальность.

Как-то утром я проснулся рано — только-только появилось солнце. На дальних улицах у леса кричали петухи. Я поднялся на второй этаж к рабочему столу и принялся писать сказку, она, как мне казалось, могла соединить прошлое с настоящим, не вернуть, но понять его, уплотнить до обозримых форм.

В окне сквозь несметенный зимний мусор холодными плешинами проступал бетон дорожки — его пятна походили на следы, на них падали косые тени деревьев. Солнечные блики красили местами дорожку в желтый и желто-оранжевый, коричневые иголки по краям пятен розовели, а в красках тени преобладал фиолет.

Впрочем, стоило солнцу уйти, как все скучнело, только воздух был еще чист, и по всему участку неслась песня мелких птиц. Я четко помнил, что вечером запер калитку на крючок, но теперь она была распахнута настезь.

Большой каштан шевелил семилистьями, они походили на крылья доисторических птиц. Клен, шиповник, жасмин, бузина — тень и пробивающееся сквозь хлорофилл солнце рождали бесконечные оттенки зеленого, провисшая хвоя старых елей на их фоне казалась черной и сухой. В дальнем углу сада, вся усыпанная белым цветом, светилась яблоня. Внизу, у забора, на месте бывших грядок выросли голубые незабудки.

Несколько нужных мне книг лежали на привычных местах, в том числе «Русская сказка» Проппа. И еще старая тетрадь в сафьяновом переплете — мама дала почитать записки о нашем далеком предке Георгии Христофоровиче Зографе — основателе фамилии. Я открыл ее: почерк прошлого, может быть, начала нашего века — отмененные революцией «яти», фиолетовые чернила, аккуратные, убористые буквы, четко выдержанные поля — за всем угадывалась женская рука. Я принялся читать историю предка.

*«На границе Вологодской и Ярославской губерний среди глухих лесов стояла на пригорке большая старинная усадьба со множеством служб, кладовых, флигелей для многочисленной дворни, и скотных, и птичьих, и тому подобных построек, центром которых был большой барский дом, окруженный с одной стороны палисадником, с другой — большим садом с оранжевыми и грунтовыми сараями. Окна дома все были со ставнями, которые запирались на ночь, особенно во время сильных морозов. С обеих сторон дома, по обычаю того времени, были балконы, выходявшие один в сад, другой на большой двор. Два крыльца, одно под названием парадное, другое — девичье, вели в сени, из которых одни сени вели в парадную часть дома, другие — в жилую.*

Хозяин имения Георгий Христофорович Зограф родом был грек, и очень странным казалось, что на дальнем севере основался уроженец юга. Собой он был красавец, высокий брюнет, стройный, со жгучими глазами в форме миндала, продолговатыми и лучистыми. Веселый и добрый, но вспыльчивый и очень прямой, не любивший окольных путей, всегда во всем действующий напрямик и не стеснявшийся иногда высказывать, хотя бы и не очень приятно, правду в глаза, он был любим всеми, как соседями помещиками, так и своими крепостными.

Отец Георгия Христофоровича, Христофор Иванович, был богат и занимался вместе с братом своим, Николаем Ивановичем, торговлей с Персией. Вся семья Зографов жила на юге России, и детство Георгия Христофоровича протекало в очень богатой обстановке. Отец и дядя готовили ему блестящую будущность коммерсанта, одевали его роскошно, феска его была вся вышита золотыми червонцами. Костюм он носил национальный, греческий, который к нему очень шел, так что на него любовались жители городка, в котором у них был дом и большой сад.

Кроме Георгия Христофоровича, у родителей его были еще два сына, Дмитрий и Петр, и четыре дочери: Софья, Фатима, Надежда и Мария. Старшим был Жоржица, как его называли в семье. Весело и беззаботно прожил он свои детские годы, но когда ему минуло девять лет, неожиданная катастрофа изменила весь быт семьи: корабли Зографов, нагруженные ценными товарами и направляемые в Персию, потонули во время бури на море, и Христофор Иванович, более пострадавший, чем брат его, оказался разоренным в пух и прах. Георгий Христофорович рассказывал, как плакала его мать, когда пришлось отпороть золотые, которыми была расшита его феска, чтобы купить на эти деньги еду для семьи.

Во время краха дядя Жоржицы, Николай Иванович, был в Петербурге и Москве по торговым делам и не мог помочь разорившемуся брату ввиду дальности расстояния. Николай Иванович Зограф был для своего времени очень просвещенный человек, интересовавшийся науками, особенно астрономией, которой занимался с увлечением. Им была пожертвована земля для постройки здания московской обсерватории, находящейся и до сего времени под зданием обсерватории Московского университета.

Вернувшись в свой родной город, он, как энергичный и отзывчивый человек, прежде всего полаг растерявшемуся брату нежного прияти в себя.

Затем, устроив его семью, взялся за воспитание старшего племянника, мальчика в высшей степени живого, способного, красивого, но избалованного матерью до крайности. Нанят был учитель, который должен был выучить Жоржицу «тому, что сам знал». Ученье шло не особенно успешно, так как мальчик увлекался больше всего музыкой, к которой чувствовал склонность с самого малого возраста.

Вместо зубрежки вокабул он купил себе маленькую скрипку и самоучкой выучился играть. Дядя и отец не раз заставляли его за этим занятием, и ребенка больно били и секли за то, что он «занимался ерундой». Но это не помогало. Скрипка тянула к себе мальчика неотразимо. Однажды отец поймал его в саду за игрой, вырвал из рук его инструмент и разбил в щепки о голову мальчика, несмотря на отчаянный крик: «Бей меня сколько хочешь, отец, но пощади скрипку».

Спустя некоторое время мальчик, очень грустивший о своей скрипке, печально бродил около дома. Вдруг послышались ему издали звуки музыки. В одно мгновение он полетел на них и, добежав до главной площади городка, увидел собравшуюся кучку людей. В середине стояли бродячие музыканты и играли что-то очень веселое. Здесь были скрипка, бас и какие-то деревянные дудки, в которые музыканты дули, очень забавно оттопыривая щеки. Когда пьеса окончилась, то один из дувших в дудку сбоку, взял ее, развинтил, вынул из отверстия слюну и, сложив вдвое, спрятал за голенище сапога.

Жоржица смотрел на все эти манипуляции с благоговением и замиранием сердца и, выждав, когда столпившийся народ отхлынул от музыкантов, подойдя к ним, вежливо снял свою феску, на которой красовались два золотых, и, низко поклонившись, проговорил: «Как хорошо вы играли, ах, спасибо вам, милые музыканты, и счастливые же вы, никто вас не бьет за то, что вы играете, а вот меня больно секли за то, что я на скрипке играл...» — Тут мальчик не выдержал и разрыдался.

— Ну, малец, не плачь, знать, умные люди тебя били, не сладко, брат, наше житье музыкантское. Учили-то нас баре. Далеко отсюда родина наша. Слышь,— понижая голос и наклоняясь почти к уху мальчика, сказал один из них,— беглые мы. Все четверо беглые. Из-под Владимира города, там, брат, наш помещик выучил нас, у него оркестр был. Сам-то он все бы ничего, ну а уж выискал немца капельмейстера и не дай Бог какого злодея, он с нас чуть кожу не драл. Вот мы терпели, терпели, да уж и невмочь стало. Перемигнулись раз — да и айда в леса. Там и скрывались недели три и инструменты барские с собой стяпали. Потом христовым именем и побрели. И холод, и голод видели, царица небесная, говорить-то уж нечего. А в бегах мы уже шесть лет сравнялось. Иной раз сердце-то рвется, повидал бы места свои родные, а тут — ду-ду-ду — играй хочей. А ты еще говоришь: счастливые мы.

Жоржица с вниманием выслушав рассказ музыканта, вздохнул и сказал:

— Нет, все-таки вы счастливей меня, ну-ка дайте мне хоть посмотреть на ваши дудочки.

— Это не дудочки, малец, а видишь — у него кларнет, а у меня — флейта.

Жоржица начал бесконечные разговоры с музыкантом, просил его показать, как играют на флейте, очень скоро запомнил все приемы и стал усиленно просить продать ему флейту, предлагая в обмен за нее два золотых, красовавшихся на его феске и составлявших его собственное достояние.

Наконец торг был закончен, и флейта перешла в собственность мальчика, который с восторгом спрятал ее за пазуху. С этого момента он начал учиться на флейте опять самоучкой, убегая для упражнений в соседний с городом лес.

Впоследствии Георгий Христофорович очень недурно играл на флейте и любил рассказывать, как ему доставалось за любовь к музыке».

### 3

Тут чтение пришлось прервать. Снизу несся страшный грохот, словно кто-то пытался высадить окно открытой ладонью. На даче происходили непонятные вещи, я весь превратился в слух и даже обрадовался, когда грохот на первом этаже повторился снова.

— Кто там? — грозно спросил я и, не получив ответа, пошел вниз, прихватив остроу стамеску.

Хищно отставив руку с инструментом, как ходят гангстеры в боевике, я осмотрел пустую кухню, коридор, осторожно ступая, вошел в большую комнату. В окно билась большая серая ворона, залетевшая сюда через открытую на веранду дверь. Я подбежал к подоконнику, рванул шпингалеты и выпустил пленницу на волю. Птица улетела недалеко, опустилась на траву, вытянула шею, смотрела на меня выжидающе и нахально. В ней было столько комичного, что я не выдержал и рассмеялся:

— Лети, дура, с тебя должок!

Ворона утвердительно моргнула, смешно запрыгала прочь, взлетела и исчезла в сплетении зеленых веток.

Птица в доме — плохой знак, быть может, я сам его накликал, описав в сказке явление моей умершей прабабки Евгеньевны. Она пришла ко мне сюда, на дачу, села в плетеное кресло, посмотрела сквозь меня уставшими, бесцветными глазами.

— Ты хотел поехать в Глубокое, поезжай, только вряд ли что поймешь, — сказала Евгеньевна в моей рукописи.

Я отправился пить кофе и, пока кипятил воду, думал о подобных мемуарах, романтизовавших прошлое.

Крылоподобные листья каштана за окном теперь больше походили на рояльные молоточки — они поднимались и падали, словно кто-то, заключенный в ствол дерева, самозабвенно перебирал костяшки клавиатуры.

## 4

Сколько себя помню, Евгеньевна всегда была старой, то, что у нее есть имя Ольга, я узнал уже в школе. Она жила на улице Бориса Галушкина в трехкомнатной коммуналке на первом этаже. Раз в году, на ее день рождения, родственники собирались за старинным круглым столом. Евгеньевна пекла кулебяку, варила студень и картошку — остальное приносили гости: кто что мог. Я не понимал степени ее бедности, как не понимал ее возраста. Цифры я осмыслил позднее: пенсия — двадцать восемь рублей в месяц, колхозники получали тогда больше. Год рождения — одна тысяча восемьсот восемьдесят второй. Когда случилась революция, ей было тридцать пять. Через два года от сердечного приступа умер муж. В девятнадцатом. В последние два года своей жизни он стал морфинистом.

Сама она умерла в семьдесят восьмом, прожив последние пятьдесят девять лет в полном одиночестве. До тридцати пяти жизнь в имении отца, затем мужа, с тридцати семи — работа в лаборатории биологического института: мытье пробирок и нищета. Двум своим детям она дала высшее образование. Была, правда, в тридцатых слабая попытка изменить жизнь — она привела домой мужчину, но моя бабка, ее дочь, встала на дыбы, и тихая Евгеньевна покорно прогнала возможное счастье прочь. Вскоре дочь, не выдержав тесноты жизни, порвала с матерью все отношения.

В той ее последней комнатухе все было собрано из остатков — темное, прокопченное красное дерево, столовое серебро, которое она чистила зубным порошком, швейная машинка «Зингер» с перламутровыми вставками — цветочки, ангелочки на черном корпусе, похожем на печального ослика. Одна из картин висела еще в отцовском имении — портрет древнего философа: крупный, высокий лоб с глубокими зальсынами, печальные, возведенные горе глаза, всклокоченная борода и жилистая рука старика, покоящаяся на пустоглазом черепе.

В Евгеньевне было что-то мужское, и в первую очередь, наверное, большой фамильный нос, красный и шмыгающий, и еще руки — сухие и шершавые ладони и нервные пальцы, которые она вечно старалась куда-то спрятать или пристроить при разговоре. Когда на дне рождения возникал общий разговор, Евгеньевна отстранялась, непонятно было, слушает ли она говорящих.

Книги она, кажется, читала и даже ходила на выставки в Пушкинский музей. На стенах ее комнаты не было ничего лишнего, тем удивительней было мне однажды обнаружить новую картинку, открытку, приколотую булавками в углу напротив кровати. Это был карандашный рисунок Ван-Гога, из ранних, когда он много рисовал шахтеров, стариков из богадельни, крестьян. Назывался он: «На пороге вечности».

Старик сидел на простом стуле на фоне кирпичной стены. Тяжелая, лысая голова уронена в большие сжатые ладони. Согбенная мощная спина очерчена жирной волнистой линией. Рисунок был сделан в год ее рождения — в одна тысяча восемьсот восемьдесят втором. Не думаю, впрочем, чтобы Евгеньевна придавала значение этому случайному совпадению.

Я больше любил смотреть на ваноговского крестьянина, чем на романтического философа с черепом, почему-то он напомнил мне портрет Достоевского. Я так и сказал однажды за столом: «Плачущий Достоевский», — и помню — все рассмеялись. Не знаю, куда делась эта открытка.

Когда я спросил Евгеньевну, почему она выбрала именно этот рисунок, она скромно сказала:

— На выставке давали.

Евгеньевна вставала рано — стирала, гладила, шила, подшивала. С младенческого возраста все мои рубашки прошли через ее руки. Она старалась по-мочь чем могла. Подарила маме на свадьбу белую льняную скатерть — кружева в тысячи стежков Евгеньевна сплела сама.

Сухонькая и всегда чистая — кроме каш и хлеба, она мало что могла себе позволить. Два-три раза в месяц, созвонившись с моей мамой, садилась утром на трамвай, ехала через всю Москву и долго еще шла пешком — сэкономила десять копеек на метро. Она появлялась в нашем дворе: сумка в руках, в ней мои отглаженные, заштопанные рубашки, штаны, носки и обязательный подарок — оловянный солдатик или копеечная машинка. Игрушек у меня было много — я не ценил ее подарков.

Она приходила, мама сдавала меня ей и убегала на работу. Я, воспитанный мальчик, подбегал к прабабке, тыкался лбом в ее плоский живот, ждал, пока она, запустив дрожащую руку в мои волосы, словно слепая, ощупает мою голову, и мчался скорее прочь. Иногда я пробегал мимо скамейки, где она читала книгу или смотрела вдаль черепашным застывшим взглядом, что-то кричал ей на бегу — она никогда не задерживала меня. Мне было с ней не интересно.

Когда наступало время обеда, она подзывала меня и доводила до подъезда — ритуал, который я не любил, — в остальные дни я гулял сам и сам возвращался домой. Она сажала меня в лифт и снова гладила на прощание жадно и поспешно, что-то блеяла вдогон, голос ее был по-старчески некрепок. Опустив глаза, уходила. В квартиру не поднималась никогда — боялась встречи с дочерью.

Позднее, на днях ее рождения, я всегда приставал к Евгеньевне с расспросами о дореволюционной жизни.

— Все было правильно, земля нам не принадлежала, мы знали, что она крестьянская, — отвечала прабабка заготовленным советским клише.

Ее род был разорившийся, но знатный. Рукины вели родословную то ли с пятнадцатого, то ли с шестнадцатого века. Умерший в девятнадцатом году муж — Юрий Николаевич Зограф, сын известного профессора биологии, был из среды московской интеллигенции, брак считался мезальянсом. С какой только теперь стороны смотреть?

Она не умела жаловаться, правда, не умела и рассказывать, всегда стеснялась собеседника, боясь показаться навязчивой. В довоенные годы Евгеньевна много путешествовала по России на своих двоих. В ее комнатке стояла этажерка со старыми путеводителями. Прабабка пролистывала их, почти не комментируя: соборы, церкви, крепостные стены с башнями, картины из провинциальных музеев, — иногда она роняла:

— Собор в Юрьеве-Польском, — словно читала вслух подпись под фотографией.

Мне чудились старые поезда с узкими деревянными скамейками, подножки, спускающиеся от двери почти до земли, усадые кондукторы в темно-синей форме с нашивками, галифе и надраенных до блеска сапогах. Полустанки. Бедные провинциальные городишки с водокачкой и пожарной каланчой, пыльные улицы и скучающие в тени кустов собаки, тяжело дышащие, высунувшие из пасти свои фиолетовые языки. Евгеньевна с котомкой за плечами — путница с довоенной фотографии, одна идет по какому-то полю. Были ли у нее деньги на ночлег?

Когда она умерла, в посудном шкафу нашли двести пятьдесят рублей на похороны. И еще, находясь в здравом уме, она подарила каждому близкому родственнику по золотому николаевскому червонцу. Прожила она девяносто шесть или девяносто восемь лет — так никто точно и не знает, — накануне своего сорокалетия она с испугу убавила в анкете год или два.

За год до смерти у нее отказали ноги. Бабка, узнав о болезни матери, вызвала такси и сама перевезла Евгеньевну в свой дом. Мелкими, с невероятным трудом дающимися шажками, раскачиваясь из стороны в сторону, скользя не-

весомой рукой по обоям, тащилась она в туалет и обратно: опустив глаза в пол, всегда замирая, если встречала кого-то в коридоре. Днем она сидела в кровати на смятых простынях и, когда случалось зайти к ней в комнату, спешила спрятать в кулак хлебную корку, которую жевала в одиночестве. Она почти ничего не ела — говорила, что не голодна.

Две последних недели в больнице она провела на капельницах. Истаявшая, в старческой бороде, с большим фамильным выступающим носом, она лежала неподвижно, то впадала в забытие, то возвращалась на этот свет, чуть поводя мутными глазами из стороны в сторону. Она уже не говорила. Только раз на утреннем обходе вырвала из вены иглу и, когда врачи вернули капельницу на место, прошептала:

— Хватит, больше не могу жить!

От нее осталась мебель красного дерева, две картинки и фарфоровая омарница. Еще остались мемуары — около сотни страниц на машинке, начинающиеся словами: «В одна тысяча девятьсот семнадцатом году...» Ничего интересного, кроме генеалогических сведений чисто семейного характера, я там не почерпнул. За столь долгую жизнь все можно было и забыть.

Я вспоминал Евгеньевну: белая, чистая блуза, простые, всегда аккуратные длинные платья, ее стыдливость. Я пытался вспомнить запах в ее комнатухе, но не смог, вспомнил только зеленые тополя за окном, застывшие свет. Значило ли это, что день рождения ее был весной?

## 5

Нахальная ворона сидела на нижней ступеньке крыльца. При виде меня она соскочила на бетонную дорожку и зашагала не оглядываясь: тянула когтистую лапку, аккуратно опускала ее на бетон — правая, левая, правая, левая — ворона маршировала к калитке, явно приглашая следовать за ней.

— Жизнь следует менять решительно, — так говаривал один мой знакомый, сменивший четырех жен.

Я сел в «жигуленок» и отправился в Глубокое. Солнце уже начало припекать. Поднимающаяся над дорогой влага дрожала, тени стали прозрачны и невесомы. Несколько раз в боковом стекле я замечал стремительно летящую над полем ворону, словно та дачная птица сопровождала меня в моем путешествии.

Машину пришлось оставить в лесу на полпути — дальше для нее дороги не было. Я пошел по густому лугу, поросшему целой зарослью папоротника, осинника и редкими елками. В забитых липкой грязью глубоких колеях отпечатались след тележного колеса.

Лес здесь рос самосевом, на редких полянках болотная трава была уже высока и еще блестела от утренней росы. Какое-то время я шагал прямо, но постепенно дорога стала сворачивать влево, плавно огибая большое кочкастое болото. Птицы уже не пели. Лес начал меняться — замелькали несовершенные лужки, и наконец потянулся сосновый бор с гладким, усыпанным хвоей мхом. Сквозь деревья блеснула гладь лесного озера. Я лег в теплый сухой мох, опершись подбородком на руку смотрел, как усыпляюще бликовала вода. Травинка перед глазом слегка дрожала, дальний лес на другом берегу расплывался малиново-зеленым пятном, деревья поближе двоились в поднимающихся от воды испарениях. Я попал на Глубокое. На биостанцию, основанную в 1891 году моим прапрадедом, профессором биологии московского университета Юрием Николаевичем Зографом.

Я смотрел на косую изгородь, дровяной сарай, простую курную избу на берегу. Весельные лодки качались у мостков. Деревянный стол на козлах был вынесен на траву перед домом, пестрое общество за ним вкушало поздний завтрак. Во главе стола блестел большой ведерный самовар.

Люди говорили громко, перебивали друг друга, смеялись. Бородатый старик с тяжелым брюхом, утонувший в глубоком плетеном кресле, без сомнения, был моим прапрадедом. Он сидел у самовара на почетном месте и наслаждался

покоем и окружающим его весельем. Из дома вышла молодая женщина в длинной юбке, черты лица издалека было трудно разобрать. Ее встретили шумными возгласами, я даже расслышал имя «Ольга». Евгеньевна скромно присела у края стола, потянулась за чашкой.

Поздний завтрак подошел к концу. Люди разбились на группы — одна, возглавляемая профессором, отравилась в лес, другая, погрузившись в лодки, поплыла по спокойной воде озера.

Евгеньевна собрала посуду, помыла ее с мостков. Сложила в большой таз, но не унесла в дом. Она стояла ко мне вполоборота, молча смотрела куда-то вдаль, поверх воды, руки ее при этом безостановочно теребили поясok на платье.

Совсем близко на поваленный ствол села пестрая трясогузка. Черные бусинки глаз тревожно стрельнули в мою сторону, и птичка засеменяла прочь, как балерина, вспорхнула с конца ствола и отлетела к озеру.

Вдруг имя, несколько раз повторенное, пролетело над водой, эхо раздробило и разметало его по лесу. Женщина легко соскочила с мостков, пробежала по берегу и исчезла в высоких прибрежных камышах.

Дом стоял пустой, с приотворенной дверцей, солнце уже давно перевалило за полуденную отметку. Тишина кругом зависла, как ночью, — звенящая, когда каждая капля, сорвавшаяся с крыши, кажется словно отлитой из свинца. Стена леса амфитеатром отражалась в глади озерной воды, низкие тучи напозлали на солнце, предвещая ливень.

## 6

Щетки «жигуленка» с трудом справлялись с потоками воды. Моя попутчица застыла на переднем сиденье, в руках у нее почему-то был зажат деревянный гребень. Мне вдруг помнилось, что я увожу из Глубокого Евгеньевну, краду ее из той жизни в другую, где еще что-то можно изменить, но я отбросил наваждение и крепче вцепился в руль — машину сильно кидало на мокрых ухабах.

Вдруг ухо уловило страшный гул надвигающейся погони — что-то грубое, механическое и тяжелое, урча от ненасытной злобы, рвалось вслед за нами. Горящие глаза, как две мощные фары, рыскали по деревьям, били сквозь пелену дождя. В их свете я разглядел ворону, она летела посередине лесной дороги, указывая нам путь.

— Бросай! — закричал я и ткнул пальцем в гребень. Женщина испуганно кинула его через плечо в приоткрытое окошко.

Непроходимая чаща тут же сомкнулась за нами, беспросветная и черная. Как ночь. Но тот, кто догонял, ломился сквозь деревья, грыз их железным зубом, и вот уже сквозь темень блеснул и забил опасный, настаивающий родник света, слепящий и лишающий воли, как змеиный глаз.

— Спасай же, ну! — крикнул я что было сил, призывая хитрую птицу, завлекающую меня сюда.

Женская рука легла мне на плечо:

— Давай к обочине. Бесплезно.

Я обернулся к сидящей в моем «жигуленке» женщине — это была Зоя, жена Сильвестра, сторожа с биостанции МГУ на Глубоком озере.

Несколько раз я приезжал к ним. Пил с Сильвестром водку. Он пытался завести хуторское хозяйство — Сильвестр был из белорусских крестьян, — но ничего у него не получалось: налоги, изначальная нищета, отсутствие хорошей дороги. Зоя обычно сидела в стороне, молча глядела в окно, редко роняла горькую фразу-другую. Она работала геологом в научном институте, но работу свою не любила. Вдруг, в свои тридцать пять, она влюбилась в залетного мужика, так не похожего на всех, кого видела раньше вокруг себя, поверила в его сказки. Прожила с ним пять долгих зим, как на острове, но так и не научилась свернуть голову куренку. Домашняя живность по-прежнему вызывала у нее умильный восторг. Теперь, устав от пьяного мужа, все больше замыкавшегося

в себе, от тяжелой работы, от холода, снега, от грязной пятикилометровой дороги по лесу до хлебного ларька, истосковалась по Москве, по горячей ванне и удрала со мной не раздумывая — напросилась в попутчицы до столицы.

— Так что, тормозить, ты точно решила?

— Судьба... он же любит.

Я принял вправо к обочине. Гигантский «ЗИЛ-110» обошел нас, дернулся и застыл впереди. Кругом стояла ночь. Сильные фары грузовика били по полю до дальнего леса. Крепкая мужская фигура отделилась от кабины, мы вышли навстречу. Сильвестр бросил на меня жесткий взгляд, уверенно подошел к ней, отвел в сторону. Я отвернулся. Спустя недолгое время они объяснились и подошли ко мне.

— Я не в обиде, — начал Сильвестр, — только ни черта ты в сельской жизни не понимаешь и зря Зойку накручиваешь. Мы еще повоюем, понял?

— При чем тут Зоя и твоё хозяйство, я и в прошлый приезд объяснял, зачем приезжаю.

— Ну?! — выдохнул он с нажимом, но большего сказать не нашелся.

— Приезжай, Петя, приезжай в гости, — пропела из-за его плеча на прощание Зоя.

Я еще постоял в темноте на грунтовой сельской дороге, потом забрался в машину и отправился в Москву.

На шоссе, где-то возле Старой Рузы, на переднем стекле, как на экране телевизора, вдруг явилась картинка.

Я стою перед дверью на площадке лестницы у большой аудитории зоомузеея Московского университета. И вот дверь открывается и из нее высыпает оживленная толпа студентов, а за ними — удивительное зрелище — скамейки амфитеатром до самого неба, и из этого поразительного помещения выходит прапрадед в сюртуке. Бодрый и оживленный. Видно, что всем весело.

Я нажал на рычаг, включил дворники, вдобавок попрыскал на стекло мыльной водой. Видение исчезло, но взамен расцвело еще одно. Не менее яркое и радостное.

Небольшой парк с липовыми аллеями, выходящий к реке Озерне. Большой овальный цветник перед домом с пионами, оранжевыми лилиями и голубым шпорником. Огромный куст сирени у флигеля. А по дорожкам сада идет прапрадед в легком чесучовом костюме и английского покроя летней шляпе из луфы с неизменной толстой палкой с набалдашником в виде бильярдного шара.

Я смысл и его — все это, связанное с предками и Глубоким, я где-то вычитал или запомнил, разглядывая полувывцветшие снимки.

## 7

Мама вышла открывать дверь в старом, еще бабкином халате. Я объяснил, что еду из Глубокого, но она спросонья, кажется, никак не среагировала на мое сообщение.

— Есть хочешь?

— Нет.

— Тогда ложись и спи. Хватит колобродить! — грозно сказала она и ушла досыпать.

Проснулся я поздно, мама давно ушла на работу в музей. Окна зашторены тяжелыми занавесками, в комнате полумрак. Книжные полки, письменный стол, когда-то за ним работал отец. На кухне содержательная записка-меню. И постскриптум: «Прочел ли ты зографскую тетрадь? Она интересная. Хорошо бы ЭТО опубликовать. Только не воруй!»

Тетрадь была со мной, попивая кофе с бутербродами, я продолжил чтение.

*«Когда учитель выучил Жоржищу тому, «что сам знал», молодому человеку было уже около семнадцати лет. Ввиду его нерадения и неспособности к научным знаниям решено было везти его в полк.»*

Военная служба ему понравилась. Полк стоял в Варшаве, и он всегда с удовольствием рассказывал о красавицах панночках и молодцеватых панах. Вообще о пребывании в Варшаве он часто вспоминал, говоря, что лучшее время своей молодости провел именно там. Затем полк был переведен на север России в Ярославль. Здесь, на балу у губернатора, он встретился со своей первой женой Надеждой Васильевной Скульской, дочь одного из богатейших помещиков Любимского уезда. Красавец поручик очень понравился молодой хорошенькой девушке, сам увлекся ею и, несмотря на нежелание ее отца, с помощью крестной матери Нади на ней женился.

Первый год своей женитьбы, по выходе в отставку, он жил у крестной матери своей жены, так как отец не хотел принимать в дом непокорную дочь и зятя, но когда у них родилась дочь Вера, то сердце старика смягчилось и молодые переехали к нему, где для них было приготовлено отдельное помещение. Обедать, ужинать и пить чай они должны были со стариком, довольно взбалмошным и вдобавок находившимся под влиянием домоправительницы Марии Григорьевны, тощей, злой девы, от которой всегда пахло деревянным маслом и какой-то кислятиной. Приглашенные ее волосы блестели, как начищенные сапоги, маленькие злые глазки то и дело бегали, никогда нельзя было заметить их выражения. Говорила она таким сладким, медовым голосом, что Георгий Христофорович всегда тошнило от ее разговоров, причем употребляла всегда слова: «Ангел мой, серафим мой, сахарный мой».

Много, много приходилось терпеть молодой парочке от этой особы, которая совсем была не рада появлению молодой хозяйки, борясь за свое могущественное влияние на старика, который по привычке всех бар не любил себя очень беспокоить. Он предоставлял суд и расправу над подчиненными старостам и экономкам вроде Марии Григорьевны, умевшим успокаивать и усыплять барскую совесть, если бы она вздумала кое-когда заговорить. Георгий Христофорович вспоминал, как старик наказал его и жену по следующему доносу Марии Григорьевны. Георгию Христофоровичу, жившему на юге и западе России, очень были не по вкусу тяжелые блюда, подаваемые за обедом иужином тестя. Так называемое сладкое тесто, рубцы и толокно — привычные кушанья северян — он совершенно не мог переваривать. Стол помещичий в те времена отличался изобилием мясных, тяжелых блюд. И вот раз, выйдя из-за обеда, Георгий Христофорович, отправляясь с женой на свою половину, сказал: «Удивительно, как это папаша не умеет совсем заказывать стол, подумай только, какково справиться с такой программой: щи кислые с гречневой кашей, солонина, пирог с ливером, котлеты с горошком, потом еще соус из печенок, телятина и блины! Ведь это прямо ужасно! При этом он всегда обижается, когда не ешь всего, а я решительно не могу справиться даже с половиной обеда». Эти слова были услышаны Марией Григорьевной и переданы с прибавлениями. В результате во время чая Василий Николаевич вдруг гаркнул во всю мочь: «Ну, говори теперь при дочке и зяте, что они про меня говорили? Что я из ума выжил и не умею не только что своим имением управлять, а даже и стола заказывать? Ну, говори, стерва!» Трепещущая Мария Григорьевна пробовала отнекиваться, но старик на этот раз не размяк, а, грозно стукнув по столу кулаком, опять закричал: «Ну, говори, не ври, оканьяная, нечего лисьим хвостом следы заматать!» Надежда Васильевна сидела бледная, трепещущая. Бросая умоляющие взгляды то на отца, то на Георгия Христофоровича, который сначала молчал, но затем, вскочив со стула, подошел к тестю и громко закричал: «Папаша, советую вам прекратить эту унижительную для всех нас сцену, посмотрите на Надю, надо ее побереечь, ведь она в интересном положении. Извините, что напоминаю вам об этом, но при ее хрупком здоровье надо воздержаться при ней от всяких криков и сцен».

— Ах ты, щенок, мерзавец!

— Возьмите свои слова назад, папаша, или я сумею постоять за себя и не позволю никому оскорблять себя!

— Батюшки, убьет, архангелы, уморит! — завизжала Мария Григорьевна.

— Вон отсюда, негодяйка, сплетница! — неожиданно вскочивши с места, вскричала Надежда Васильевна. — Прочь отсюда!

Мария Григорьевна предпочла выйти и, приложив ухо к двери, стала подслушивать интересующую ее сцену.

— Папаша, если вы желаете, я расскажу вам все, что было сказано Георгием, — сказала Надежда Васильевна. И повторила от слова до слова все, что было сказано мужем. Василий Николаевич как-то ничего не нашелся сказать, он, покачивая головой, бормотал:

— Ай да детушки, приехали изжить меня, спасибо.

— Никому нет нужды изживать вас, папаша, — сказал Георгий Христофорович, — а вот вам мой искренний совет — прогоните вы вон эту поганку, Марию Григорьевну, она зажилась у вас и только знает вас расстраивает, а еще лучше, позвольте нам с женой снять квартиру в Любиме и поселиться там. Если вам угодно будет нас видеть, то присылайте за нами экипаж, чептыре версты лигом проедем, но согласитесь сами, что повторение подобных сцен крайне нежелательно да и вредно для нас.

— Ого! Ишь чего выдумал — опозорить меня на всю губернию! Станут говорить, что зять с дочерью Василия Николаевича Скульского по квартирам шатаются, знать, хорош Василий Николаевич. Нет, брат, шалишь! И тебя с дочерью не отпущу, и Марию не прогоню. Будет так, как я хочу. С сегодняшнего дня шесть недель будет вам повар готовить щи, солонину, телятину и блины. Вот вам мой сказ, так и будет, и никуда не отпущу вас, и из головы выкиньте.

И действительно, старик выдержал свое обещание и проморил детей на этой однообразной пище.

Спустя полгода после этого родился у Георгия Христофоровича сын Василий, спустя год — дочь Клавдия, умершая через две недели после рождения. Здоровье Надежды Васильевны, надорванное суровым образом жизни еще и в девичьем возрасте, с выходом замуж постепенно ухудшалось. Сцены между отцом и мужем ее удручали, и она таяла, как свечка. Рождение третьего ребенка не прошло ей даром, она скончалась через три недели после родов, оставив молодого вдовца с двумя детьми — Верой пяти лет и Васей четырех.

Но недолго пришлось вдовец Георгию Христофоровичу. Старик Скульский, оплакивающий свою единственную дочь, после ее смерти резко переменял обращение с зятем, стал очень мягок с ним и начал заговаривать, что надо ему жениться, чтоб найти мать детям, а себе надежного друга. Сначала Георгий Христофорович и слышать не хотел о женитьбе, но затем предоставил свекру сватать ему, кого он хочет, ибо любить другую женщину так, как любил свою первую жену, не может и не будет.

В восемнадцати верстах от Скульских было имение А. П. Филисова, брата генерала Сергея Порфирьевича Филисова, героя 1812 года. Александр Порфирьевич Филисов во время смерти императора Павла Петровича был на карауле, во дворце и после катастрофы немедленно подал в отставку и переехал на житье в имение Дарское, где жил с женой своей Евдокией Петровной, урожденной княжной Шелешпанской. Детей у них не было, и они взяли на воспитание дочерей двоюродного брата Александра Порфирьевича — Ивана Семеновича. Старшая из девочек Душа была крестницей Евдокии Петровны.

Для того времени воспитывали девочек очень хорошо, они обе четыре года учились в Москве, в частном пансионе, брали уроки у лучшего учителя Иоганнуса. Старшая особенно отличалась музыкальностью и, не отличаясь красотой, была очень кроткая, делиная и скромная девочка, которая всех очаровывала ласковым обращением и необыкновенной приветливостью. По выходе из пансиона девочек привезли в деревню, а для того чтобы они не забывали то, что прошли в пансионе, выписали им гувернантку Антуанетту Христиановну Шпеер, которая с ними гуляла, читала, работала и выезжала.

Несмотря на разницу характеров А. П. Филисов и Г. М. Скульский были в более или менее хороших отношениях и ездили друг к другу. Василий Николаевич увидал Евдокию Ивановну, которая часто заменяла за столом хозяйку, страдавшую сильными мигренями. Ему понравилась кроткая и скромная девушка, и он замолвил слово Александру Порфирьевичу о возможности по-сватать ее за своего зятя. Приемные родители согласились, не спрашивая согласия Души. Назначен был приезд жениха. С утра начались особенные приготовления на кухне, то и дело сновали горничные и лакеи по двору. Барышням велено было надеть праздничные платья. Суетились все. Даже старые тетушки, жившие в мезонине, то и дело посылали свою девку узнать: что, приехали ли Скульский с зятем? Наконец, показалась из-за любимского леса коляска, запряженная тройкой лошадей, с форейтором и двумя гайдуками на пяточках, и подъехала вскоре к крыльцу. Встреча гостей была очень приветливая. Пошли в гостиную, куда принесли на огромных подносах разные водки, настойки и закуски. Затем позвали барышень. Душа долго дичилась и не хотела выходить к гостям, несмотря на уговоры Антуанетты Христиановны, и вошла в гостиную робко, опустив глаза и не смея смотреть на приехавших. Зато резвая красавица Саша, веселая и страшная хохотушка, сделав церемонный реверанс, так и впилась в молодого вдовца.

— Сестринька,— шептала она сестре,— ты только взгляни, какой он красивый, авось не съест тебя.

Таким образом началось знакомство Георгия Христофоровича с Евдокией Ивановной, и не прошло и полугода, как они стали мужем и женой».

Я отложил тетрадь в сторону. Удачная жизнь Георгия Христофоровича походила на волшебную сказку. Материнская просьба не давала покоя, но кому нужна сейчас история Жоржицы Зографа? Мама всю жизнь проработала в Историческом музее среди вещей, картин, документов, привыкла к ним и, как музейный сотрудник, была лишена азарта коллекционера. Она и просила меня, как историк историка, но я давно ушел из академической науки, она, как я убедился, только плодила мифы. Не воруй. Я привык воровать. Не вижу в этом ничего зазорного.

## 8

На даче ничего не изменилось. У забора росли незабудки. В углу участка стояла яблоня, вся в белом цвету. С час я слонялся без дела, попытался разжечь костер. Но днем, на свету он не имел смысла.

Я поднялся на второй этаж, проглядел недописанную сказку и выбросил листы в мусорную корзину. Меж ветвей пролетела серая ворона, я окликнул ее, но она даже не поглядела в мою сторону.

Недавно я сказал любимой:

— Давай я украду тебя.

Она отрицательно покачала головой.

Листья каштана теребил ветерок, их мельтешенье напоминало теперь бесплодные салочки-догонялки.

Затем я открыл книгу Сей-Сенагон на последней странице:

«Спустился вечерний сумрак, и я уже ничего не различаю. К тому же кисть моя вконец износилась.

Добавлю только несколько строк.

Эту книгу замет обо всем, что прошло перед моими глазами и волновало сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит...

Тюдзе Левоу Гвардии Цунэфуса, в бытность свою правителем провинции Исэ, навестил меня в моем доме. Циновку, поставленную на краю веранды, придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги.

Я спохватилась и поспешила забрать циновку, но было уже поздно, он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам».

Сей-Сенагон лукавит. Ее лукавство мне по душе.

Я подошел к столу, дочитал тетрадь до конца. Рукопись была короткой и обрывалась неожиданно, сказки так не кончаются. Пустые листы, не тронутые пером, — мне не у кого было спросить продолжения. За окном стало темно, я с трудом различал написанное. Я устал, а потому вышел на улицу. Разжег настоящий костер, глядел в огонь, в пляшущие языки пламени. Смолистая сосновая коряга стреляла трескучими угольками.

Где-то в отдалении заиграл крепостной оркестр, оркестр Георгия Христофоровича Зографа, который он, удачно женившись во второй раз и разбогатев, создал и пестовал в своем имении Дарское в Ярославской губернии много-много лет тому назад. Все это я вычитал в сафьяновой тетради.

Двадцать человек в серых фраках, красных жилетах и белоснежных машишках вышли из-за дома, расположились полукругом на лужайке. Сквозь мажорную, праздничную тему пробивался приглушенный лейтмотив недолговечности счастья, неотвратимой беды, людской несправедливости, хрупкости земной красоты.

На мощной сосновой ветке сидела знакомая ворона. Птица то ли спала, то ли слушала ночную музыку. Период дачного затворничества заканчивался. Через несколько дней, закрыв тяжелые зеленые ставни и заперев дом на два замка, мне предстояло перебраться в Москву.

Костер почти догорел. В высоком небе светили безучастные и манящие звезды. В темноте у самого крыльца я чуть не наступил на ежа. Он фыркнул и свернулся в клубок — во все стороны торчали иголки.

— Спокойной ночи! — пожелал я то ли ему, то ли себе самому.

Уже в постели я взял со столика том Ахматовой, прочитал из «Северных элегий»:

И никакого розового детства...  
 Веснушечек, и мишек, и игрушек,  
 И добрых тетя, и страшных дядя, и даже  
 Приятелей среди камешков речных.  
 Себе самой я с самого начала  
 То чьим-то сном казалась или бредом,  
 Иль отраженьем в зеркале чужом,  
 Без имени, без плоти, без причины.  
 Уже я знала список преступлений,  
 Которые должна я совершить.  
 И вот я, лунатически ступая,  
 Вступила в жизнь и испугала жизнь:  
 Она передо мною стлалась лугом...

Я слишком долго шел по самому лезвию. Избавление если и приходило, то лишь в момент прикосновения к бумаге, где жизнь — не жизнь, где нет границ, свобода не мерена, а чувства, плещущего через край, нет смысла стыдиться.

Заснул я не примиренный, но, может быть, даже чуть-чуть счастливый.

Май 1997 — март 1998



Андрей ГРИЦМАН

---

## Гонец в никуда

\* \* \*

Я — пейзаж после битвы  
в стране, оставленной утром,  
где проходят войска  
в пыли пяти континентов.

Стекленеет листва.  
На ветвях — воздушные змеи и ленты.  
Воздушные замки — в снегу  
до второго пришествия лета.

Я — судьба пересохших ручьев, подъямков,  
бездонных оврагов,  
поселений, где ходят к могилам врагов.  
Черный ветер полуночи  
шелестит улетевшей бумагой  
неотправленных писем.  
Светлый ветер забвенья играет травую  
на стыках железных дорог  
в глуши городов.

Пахнет гарью, сиренью, железом и солидолом.  
Безногий посыльный за пазухой греет письмо.  
Я смотрю на карту метро, как антрополог  
близоруко и долго  
глядит на скелет в берлоге лаборатории,  
не слыша посыльного, что стучит третий век  
в слюдяное окно.

Здесь темнеет к утру,  
и я наконец засыпаю.  
Снится женской души сквозная  
летающая ткань.  
Я — пейзаж после битвы в стране,  
где снег выпадает лишь к маю  
и где на воскресенье  
выпадает последний наш день.

### *Похвала пахлаве*

Похвала пахлаве, этой жирной горячке эгейской,  
от зеленых просторов Нью-Джерси до дымного Квинса,

ее лепят часами полных гречанок проворные руки  
согласно законам столетней матриархальной науки.

Здесь, в Нью-Йорке, в любом заведении  
возьмешь этот клин многослойный,  
так и тянет куснуть, соблазнительно, но и больно,

так и тянет вонзить что-нибудь в пахлавы сердцевину,  
жирно-влажную, крупнозернистую, когда наполовину

режет нож беспощадный волоокой кассирши-гречанки,  
гаремной и томной, из-под длинных ресниц взглянувшей нечаянно

на случайно зашедшего съесть «быстрый ланч» незнакомца,  
на гонца в никуда, с нежным, бьющимся сердцем, посланца,

увозящего пакет пахлавы на восток вдаль от солнца,  
бормоча: пахлава, Балаклава, Босфор, Средиземное море,  
и гречанке милы похвала пахлаве и акцент незнакомца.

### *Сверстники*

Что нас связывало?  
Трудно сейчас сказать.  
Наверное, некуда было деться.  
Под ногами плыл и дымился июльский асфальт.  
Уезжая, я так и не сумел проститься.

Кто он был: школьный друг, собутыльник, соперник?  
Помню какой-то горчичный районный клуб,  
пыльный ветер, сдувавший пивную пену  
с потрескавшихся лихорадящих губ.

Где он теперь, постоялец дурного сна?  
Когда рассветает — остывает моя тревога.  
Еще была неизбежная, незабываемая — она  
на дне моего високосного года.

Говорили: нас трое! Распутицы жизни  
сплели и разъяли прозрачные узы.  
Весть обо мне потеряна на середине,  
да и они растаяли  
в переименованных городах  
несуществующего Союза.

И вот я гляжу сквозь веки и прошу: усни.  
Только там до утра и возможны встречи.  
Когда ключья полицейской сирены висят во сне  
на ветке сирени у истока ночи.

\* \* \*

Сухая хватка,  
хруст строк,  
хищный язык  
в поиске звука.  
Воздушный крест  
прошлых разлук  
повис в пустоте.

Осталось только  
посмотреть вокруг:  
ночь шевелится  
подобьем пепла,

падает снег,  
кончается век,  
статуи стынет оскал.

Пусто, и только  
стоит где-то  
человек, весь белый,

один под часами,  
под застывшей стрелкой  
в ожиданьи лета.  
Уснул, что ли?

*Двойник*

Я жизнь свою провел в борьбе с тобой  
с тех пор, когда стоял на мостовой  
в морозном паре у родных парадных.  
Теперь опять с повинной головой  
я слушаю, что шепчет соглядатай.  
Но, Боже мой, на то ответа нет.  
И только сон, когда плывет рассвет,  
мне уши затыкает мертвой ватой.

Прости меня, я не желаю зла.  
Но тычется дурная голова  
в пустые руки, что не держат книгу.  
И, падая во тьму, воздушные слова,  
как блики, в никуда бегут по свету.

И мой ровесник, собеседник мой,  
сидит передо мной, задумчиво седой,  
молчит и курит, старый неврастеник.  
Хранит посулы телефон немой.

Там был и третий, безупречный, но  
и мной, и им остался не замечен  
и ускользнул полупрозрачной тенью.

*Долина Дуная*

По этим городам проходит полоса  
не отчуждения, но отреченья.  
Разреженная гарь в осеннем небе  
за медленной рекой плывет на север.

Темнеет рано, и октябрь бесшумно  
сжигает виноградники в долине,  
где торжествует осень Нибелунгов.  
Под легкой пеной плещущей сонаты  
смертельно тлеет слой пивного сула.

Осела гарь, невидима и вечна.  
Гнилые зубы одиноких башен  
оскалом возвещают о победе,  
и тени смотрят из сырых провалов.

А мы, как соглядатаи, следим  
из маленькой таверны, что напротив,  
за толпами туристов из центральных  
холодных, аккуратных, чистых штатов,  
что в клетчатых штанах бредут по замкам,  
торчащим, как значки на крупной карте  
по радиальной зоне разворота  
гвардейских дымных танковых дивизий,  
рассеянной по городам и весям,  
давно бездомной  
Южной группы войск.



# Пока с безмолвной девой

## ДОРОГА

Я писал Историю железных дорог.

*Чехов*

### 1. Интродукция

Среди ночи, в кромешной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось спрыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел и меня не досчитают. К счастью, это произошло мгновенно, — мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу, так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевернутыми тачками.

Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжело дышал и вращал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кричать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как лошадь не может свернуть с дороги, так мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деваться, парализовало меня.

Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом пронесшихся вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС спустит зверя, проводник служебно-разыскной собаки. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая

понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, брезгливо подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, и я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса. Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светодиффроров.

## 2. Путевые картины

Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, весенние разливы, на бабу-стрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей клочковатой, тряской, гремучей жизни, — с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно несло на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней — это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемышками провода рисовались на серебряном небе.

В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных — с названиями далеких станций, желтых — с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробоиной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собирание билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление — от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена; четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расползающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.

Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были маловероятными, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.

Дорога перемальвает часы в километры, сутки — в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял — спинным мозгом, который не ошибается, — что за мной следят.

Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу,

слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всеоюзный розыск, — остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне была лагерная одежда, можно было не сомневаться — на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто посадили меня, на станции ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать: я в уборную, сейчас вернусь, что-нибудь в этом роде; на мое счастье, в вагон набился народ, протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.

Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее груди, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены, и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая крутобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой девушкой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут заскучать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и глазком, что придавало ей сходство с тюремной камерой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; вместе мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна — съездившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.

### 3. Попутчики

Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.

Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускал меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, осторожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.

«Не знаете ли вы...» — спросил я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. «Не скажете ли вы, — повторил я, прочистив горло, — где мы едем?» Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем незнакомым; вероятно, и он скорее догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, оче-

видно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услыхав наш разговор, повернула ко мне личико, напомнившее мне кого-то.

Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: «Вы, наверное, из Прибалтики?»

Он покачал головой. «Вы иностранец, — сказал я с восхищением, — из какой же вы страны?» Он пожал плечами. «Америка? Англия?» «Тепло», — промолвил он с хитрым видом. «Голландия?» — «Еще теплей». «Германия! — воскликнул я. — Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято». Я говорил и не мог остановиться.

«Да еще вдобавок, если он в таком виде», — добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.

Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.

Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.

Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.

Он поднял брови.

«Забыл язык!» — сказал я сокрушенно.

«О, нет, вы прекрасно говорите», — возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.

Старик сказал:

«Конечно, язык очень быстро забывается; я знаю это по себе. К тому же вам мешает мое произношение. Сами немцы, знаете ли, не всегда понимают друг друга. Ведь у нас что ни область, то новый диалект».

«Но вы же...» — проговорил я, глядя на бархатную лиловую шапочку на его лысой голове в венце желто-серых кудрей.

«Что я?.. Ах вот оно что! Видите ли, — он усмехнулся, — все немецкие евреи считают себя немцами — или по крайней мере считали. Немецкие евреи — большие патриоты. Или были ими... Несмотря на то, что они евреи. То есть именно потому, что они евреи, они были такими патриотами. Also? (Так что же?)»

«Я спросил, где мы едем, потому что это должен быть поезд дальнего следования, — сказал я, старательно подбирая слова. — Поезд, который пересекает несколько областей. А у нас области очень большие, каждая величиной с целую Германию».

«О, да». — Он улыбался, кивал с сочувствующим видом.

«Так вот, я хочу сказать, этот поезд выглядит как пригородный. Нет ни полка, ни купе. Странно, не правда ли?»

«Но в Европе все поезда такого типа».

«Это в Европе. А мы должны ехать в поезде дальнего следования. Поэтому я и спросил».

«В дороге, — сказал пассажир, — бывают всякие неожиданности».

«Верно, замечательно верная и важная мысль. Понимаете, жизнь так сложилась, что у меня было мало практики. Общение с иностранцами у нас не по-

ощряется. Да и вообще столько времени утекло, знаете ли... Но вы мне сразу понравились. Внушили доверие. У нас ведь, знаете, как: если к тебе хорошо относятся, значит, жди подвоха. Или к тебе подлизываются, думают, что ты начальство, или хотят облапошить тебя, пользуясь тем, что ты растаял. А чтобы просто так к тебе хорошо относились,— сказал я, качая головой,— не-ет, так не бывает».

«Вы слишком строго судите».

«Я?» — И я усмехнулся.

Мне хотелось говорить, я не мог остановиться.

Я чувствовал, что выражаю бессвязно и нарушаю не только правила грамматики, но и приличия, необходимые в разговоре между незнакомыми людьми. Не умея найти нужный тон, я должен был показаться моему собеседнику тем, кем я, в сущности, и был: полуинтеллигентом, полубосяком. Уютный вагон, спасение от преследователей, чудесным образом исчезнувших,— сейчас я уже не мог отличить реальность от наваждения — развязали мне язык, и при этом я испытывал восхитительную беззаботность, как бывает, когда приходится изъясняться на иностранном языке. Это может показаться странным, но чужой язык обрекает вас на косноязычие и в то же время расковывает. Чувствуешь себя в самом деле свободнее, исчезает страх, падают запреты. Стыдные слова, запрещенные слова, опасные слова — все, что так боязно произнести на своем родном языке, словно наткнуться на колючую проволоку под током или наступить на мину,— теряют свою взрывную силу; на чужом наречии легче объясниться в любви и ничего не стоит произнести вслух самую страшную крамолу.

«Вы, наверное, не знаете,— сказал я, смеясь, как говорят со смехом о собственной смертельной болезни,— вы даже не знаете, что у нас бывает за связь с иностранцем».

Он спросил: «Что вы подразумеваете под связью?»

«Разговор. Вот как мы сейчас с вами разговариваем».

Да еще, хотел я добавить, когда турист заводит знакомство с такими, как я. С несуществующими людьми.

«Я вообще удивляюсь. Вы так свободно разъезжаете, и никто за вами не следит?»

«Кто знает, может быть, и следят».

«А все-таки мне ужасно приятно, что мы едем вместе».

«Мне тоже. Впрочем, это не должно вызывать удивления»,— заметил он.

«И куда же вы едете?»

«Гм, куда я еду? Как вам сказать, по правде говоря, я сам еще точно не знаю. Еще не решил!» — сказал пожилой пассажир и развел руками. Поезд шел, не сбавляя скорости.

#### 4. Воспоминания

Тут, наверное, надо было спросить: как это вы не знаете, ведь билет-то у вас до определенного места? С другой стороны, я не имел представления о порядке передвижения иностранных граждан по нашей стране.

«Это ваша внучка?»

Пассажир усмехнулся, снял панамку с ребенка и слегка взъерошил его золотистые волосы. Малыш потянулся к его бархатной шапочке, старик наклонил голову, малыш схватил шапочку и надел ее на себя. Старик напялил панаму. Эта игра продолжалась некоторое время.

«Слышал, что сказал дядя? — спросил пассажир, насаживая шапочку на свои седины.— Он сказал, что ты моя внучка. Хочешь быть девочкой?»

Малыш насупился и энергично помотал головой.

«Вот он, наверное, мог бы поговорить с вами по-русски, если бы не дичился. А? Скажи что-нибудь».

От тепла и ритмичного покачивания меня начало морить. Долгий разговор утомил меня, я уже не понимал, с какой стати я вдруг так разболтался. Голова моя стала толчками опускаться на грудь, и уже почти сквозь сон я услышал голос попугайчика:

«Позвольте...»

Не позволю, подумал я. Дайте поспать, я целые сутки не смыкал глаз.

«...задать вам один вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь...»

«Нет, не приходилось,— сказал я поспешно.— Послушайте: мы так долго едем... Сколько сейчас времени?»

«Бойтесь проехать вашу станцию?» — насмешливо спросил он.

«Мне пора выходить».

«Сидите, до станции еще далеко. Also! (Ну так вот.) Вам приходилось когда-нибудь видеть свои детские снимки?»

«Что?» — спросил я.

«Фотографии вашего детства».

«Знаете что,— сказал я ему.— Очень вас прошу. Не задавайте мне никаких вопросов».

«Но вы даже не знаете, почему я спросил».

«Все равно; ни о чем меня не допрашивайте».

«Помилуйте, какой же это допрос! Так... все-таки?»

«Не помню».

«А вы вспомните».

«В ящике письменного стола,— сказал я,— лежала большая фотография, где я на руках у моей матери. Мне, наверно, было меньше года».

Пассажир сказал:

«Она и сейчас там лежит».

«То есть где это там?»

«Там, где вы сказали. В письменном столе».

«О чем вы? — вскричал я.— Никакого письменного стола давным-давно не существует».

«Верно,— сказал он мягко,— но в каком-то смысле все-таки существует. Так же на фотографиях человек продолжает жить, хотя, может быть, его давно уже нет... А более поздние?»

Я ответил, что была еще карточка, на которой я был снят во весь рост, в бархатном костюмчике и с бантом на шее. «Знаете,— и я рассмеялся неожиданно для себя самого,— бант — это была просто мука. Меня тоже в детстве принимали за девочку. Худшего оскорбления нельзя было придумать».

«Вот видите, надо было и мне повязать ему бант. Сходство было бы еще заметней.— Он помолчал.— Ты все еще не узнаешь себя?»

Разговор в самом деле затянулся, а я так и не решил, что делать, сойти на ближайшей станции или ехать дальше; я устал говорить на чужом языке и уже не был уверен, что правильно понимаю моего собеседника. А между тем было ясно, что мы только подбираемся к главному, и остановиться было невозможно, как невозможно было затормозить движение поезда.

## 5. Туннель

Пассажир вытянул за цепочку из кармашка брюк серебряные часы, отколушнул крышку.

«Вы хотите сказать...» — пробормотал я.

«Надо будет свериться на ближайшей остановке, похоже, что мои часы отстали. Вероятно, мы в другом часовом поясе... Впрочем, какая разница. М-да. Вот именно,— сказал он, щелкнул крышкой и спрятал часы.— Именно это я и хочу сказать. Вас это удивляет, но, в сущности говоря, как бы вам объяснить. В дороге все бывает. Мне кажется, вы того же мнения».

Я не знал, что сказать, чем ему возразить, и моя физиономия, как можно предположить, приняла глупое выражение. Он продолжал:

«Дорога — это великая вещь. Можно встретить кого угодно. Можно разговориться с человеком, которого вы не удостоили бы в обычной жизни и двумя словами. Можно встретиться с теми, кого вы не только никогда больше не увидите, но и не могли бы увидеть в обычной жизни».

«Что значит — в обычной жизни? Знаете ли вы, кто я?»

«Ungefähr. (Приблизительно.) Сиди спокойно,— сказал он мальчику.— Хочешь ко мне на коленки? Или к дяде. Не бойся, ведь это ты сам».

Вспыхнули лампы, поезд вошел в туннель. Сквозь тьму мы мчались под грохот и визг колес, и рядом с нами в черно-туманном стекле пошатывался ярко освещенный вагон, и за окном мы трое, я и напротив меня старик в антикварном одеянии, с ребенком на коленях. Старик что-то говорил. Мальчик уставился на свое отражение. Впереди забрезжил утренний свет, померкло электричество, вагон вылетел на волю. В наступившей блаженной тишине вновь слышалось ровное, мерное постукивание. За окном тянулись пустые ровные поля, и казалось, что поезд еле движется. Изредка мелькали безлюдные полустанки. Леса отступили к горизонту. Покойно качались в углах вагона безмолвные дремлющие пассажиры.

«Мы прекрасно помним себя детьми, это остается на всю жизнь. Вот и вы, например, сразу вспомнили, как вы негодовали, когда мама повязывала вам на шею бант... Мы способны возвращаться в детство, в сущности говоря, это и есть наша единственная родина, наш дом... И когда мы входим туда, все стоит на своих местах, вещи, игрушки. И фотография лежит в письменном столе... Только взрослых больше нет. Я вам скажу так,— сказал он доверительно, тоном, который в самом деле поразительно напоминал интонации родственника в моем детстве,— я вам скажу так... Математическое время Ньютона, те-те-те, все это мы прекрасно знаем. Но, дружок мой, это ведь не более чем абстракция... Мы не живем в одном определенном времени, не плывем пассивно в его потоке, как лодочник по течению реки. Мы существуем, если вдуматься, и в настоящем, и в прошлом, и, может быть, даже в будущем. Нынешняя жизнь, вот это путешествие... и наша встреча...— это будущее, не правда ли, если смотреть на него отсюда? Я вам не наскучил своими рассуждениями?»

«О, нет».

«Но... вы поняли, что я хочу сказать?»

«Стараюсь,— сказал я.— Мне кажется, многое зависит от языка. Немецкий язык выражает все эти вещи как-то убедительней. Однако из этого не следует, что они существуют на самом деле».

«На самом деле... Бог ты мой, кто знает, что это такое — на самом деле! Что значит существовать? Может быть, мы все существуем в каком-то условном смысле, в чем-то великом уме, о котором нам ничего не дано знать. Впрочем, не решаюсь с вами спорить, тем более что...— Он развел руками.— Для дискуссии, сами понимаете, у нас не так много времени. Должны же мы наконец куда-то приехать!»

«Послушайте,— сказал я в сильном беспокойстве,— я не очень-то разбираюсь во всех этих вещах. Но это не важно. Мы не должны расставаться. Раз уж так получилось... Разумеется, у меня тысяча вопросов, но, может быть, позже! Знаете что? Я сойду вместе с вами. Мы пересядем в другой поезд. Вам надо ехать назад».

И я с вами, хотел я сказать. Это была внезапная ошеломительная идея. Какая разница, что он там нес! Для меня это был неожиданный выход.

«В крайнем случае объясните контролеру, что вы не смогли купить билет, не знаете русского языка, вам поверят. Покажете паспорт... Ведь у вас есть паспорт?»

«Конечно».

«Иностранный, да? Иностранный паспорт! Этого достаточно. Уверю вас. А если кто-нибудь начнет придирааться, скажите, что вы хотите связаться с посольством. Главное, уезжайте. Уезжайте поскорее и увезите его отсюда».

И меня. А как же моя телогрейка, весь мой вид? Наголо остриженная голова? А, подумал я, терять все равно нечего.

«Пожалуйста,— сказал старый пассажир,— успокойтесь. Видите ли, в чем дело... Я, конечно, всего лишь гость и, может быть, долго не задержусь. Все мы гости в этом мире... в конце концов я приехал из-за него, приехал, чтобы повидать вас... или тебя, я все-таки твой дед, зачем нам это «вы»?..»

«Уезжай»,— прошептал я.

## 6. Другая жизнь

Старик усмехнулся. «В Германию я, конечно, не вернусь, мне там делать нечего. Я человек старого поколения, я никогда им не прощу того, что было...»

«Здесь не лучше!»

«Ты не даешь мне договорить. Поверь, получить визу было непросто. Так что до некоторой степени я знаком со здешними порядками. Впрочем, ты прав, виза — это для меня нечто вроде охранной грамоты. В крайнем случае вышлют, вот и все. Но что касается мальчика...»

«Как? — сказал я. Простая мысль пришла мне в голову. — Ты говоришь, дед. Но у меня не было никакого деда. К тому времени, когда я родился, мои дедушки, оба, уже умерли».

«Что значит — умерли? Для кого умерли, а для кого нет?»

«Но я говорю, что я никакого дедушку-немца не помню».

«Конечно. И не можешь помнить, потому что никто тебе обо мне не рассказывал. Иметь родственников за границей не полагалось. Твой отец был болен...»

«Это я знаю».

«Твой отец был моложе твоей матери. И он был болен. Удалось добиться, чтобы он приехал ко мне. Его привезли уже совсем плохим, и он скончался в клинике, между прочим, очень хорошей клинике. Твоя матушка приехала с тобой — тебе было меньше, чем сейчас ему, — на похороны. Вот и все. Конечно, если бы ты остался, все было бы по-другому. Но она хотела вернуться, и я ее понимаю...»

Подумав, я спросил:

«Сколько же вам лет?»

«Тебе, — поправил он. — Это интересный вопрос. Сейчас я кое-что покажу. — Он снял бархатную шапочку. — Ты знаешь, что это такое?»

«Знаю».

«А вот это, — он вывернул ее наизнанку, — видал?»

«Ты каббалист!» — вскричал я.

«Поэтому, — сказал он наставительно, разгладил шапочку, сдул с нее какие-то пылинки и насадил обеими руками на лысину, — нет никакого смысла спрашивать, сколько мне лет».

«Смотри, смотри!» — закричал мальчик.

Что-то со свистом пролетело за вагонным окном. Дедушка вздохнул и погладил внука по голове:

«Ты говоришь: сядем в другой поезд. Очевидно, ты думаешь, что, если я его увезу с собой назад за границу, от этого что-нибудь изменится. Ты думаешь, если он уедет, его жизнь потечет по-другому и он вырастет другим человеком, свободным или уж не знаю каким. Милый мой, это невозможно».

«Почему?»

«Потому что невозможно. Потому что не существует никаких черновиков: то, что написано, написано раз и навсегда. И никакая магия тут не поможет. Твоя жизнь уже состоялась. Пойми простую вещь. Жить два раза никому еще не удавалось. И то, что было, того уж не изменишь!»

«А как же вот он?»

«Он — это ты. Пойми это, Файбусович! Совершенно так же, как нельзя выбрать себе другое имя, так нельзя выбрать себе другую жизнь. У него только одна жизнь — твоя. У него нет выбора. Он обречен. Как поезд идет по рельсам и не может свернуть в сторону, так и он ничего не сможет изменить. Просто он об этом еще не знает».

«Смотри!» — сказал ребенок, и мы оба взглянули в окно.

Я почувствовал, что время уходит, а мы ни о чем так и не договорились, и он сойдет на ближайшей станции — наденет свою шляпу, похожую на гриб, свою крылатку и выйдет, держа за руку внука, и больше я его не увижу. Он сказал, что мы живем в детстве, будучи взрослыми, или что детство навещает нас — что-то в этом роде, — но я не мог представить себе, что был когда-то этим мальчуганом, подобно тому как мальчик не подозревал о том, что он станет таким, как я. Они сойдут, и мне останется только гадать, что это было: сон, наваждение или правда.

Но разве все-таки невозможно, хотел я сказать, ведь мы все вместе, мы встретились, вот что главное,— разве невозможно вместе и уехать, бежать отсюда, раз уж случилось такое чудо? Какая мне разница, думал я, в каком времени мы живем, ньютонском или не ньютонском, я не философ и не в состоянии разобраться в этих хитросплетениях, я знаю только, что я в неволе и до самой смерти останусь в неволе, что за мной гонятся, так вот, нельзя ли?.. Кроме того, я думал — мысли, как трассирующие пули, неслись в голове,— я подумал, что если этот малыш в самом деле я, то почему же он обречен прожить мою жизнь, почему не наоборот, почему я не могу зажечь другой жизнью? Я глядел на моего попутчика в безумной надежде, губы мои шевелились, я что-то бормотал, о, конечно, он не имел ни малейшего представления о том, что со мной будет, если я останусь. И в этот момент в наш вагон с двух сторон вошли контролеры.

### 7. Финал. Чудесное пробуждение

Вошли и стали проверять билеты. А у меня нет билета.

«Знаете,— сказал я, озираясь,— вы меня извините, мне придется рвать когти...»

«Когти — что это значит?»

«Мне надо исчезнуть... Вы тут посидите, я сейчас...»

Быстро выйти из вагона, на ходу придумать объяснение, если окликнут; прикинуться глухонемым, слабоумным или что у тебя колики; быстро, не мешкая — по железному трапу в другой вагон, оттуда в следующий, запереться в сортире, на худой конец выбраться наружу, на ступеньки, скорчиться, чтобы не увидели из окна вагонной двери, спрыгнуть! Скатиться с насыпи, замереть, пока не просвистит мимо и не исчезнет вдали поезд.

Поздно. Он приближается с щипчиками.

«Ага,— говорит старый пассажир,— судя по всему, это контролер, порядок есть порядок. Где наши Fahrkarten?»

Поздно!

Он ищет в кармашке жилета, во внутреннем кармане сюртука: где же они, Бог ты мой, куда я их засунул? Человек в железнодорожной форме и фуражке величественно ждет, пассажир протягивает билеты, свой и детский. Щелчок компостера. Два щелчка. Человек шествует дальше.

«Слушайте,— говорю я вполголоса на языке, который никто, кроме нас, не поймет, теперь уже совершенно уверенный, что вижу какой-то несообразный сон.— Почему же он не спросил билет у меня?»

«Какой билет?»

«Мой».

«Но я же предъявил твой билет».

«У меня нет билета,— сказал я.— У меня ничего нет. Ни билета, ни паспорта».

«Не пори чепухи, вот твой билет».

«Это не мой. Это его... Я с вашим внуком не имею ничего общего. Я... Я беглый. Я вне закона. Вот они сейчас спохватятся и вернутся».

Он улыбнулся. «Зачем им возвращаться? Проверили, все в порядке. Я же сказал, вот твоя карта, можешь убедиться...»

«Чья, чья карта?»

Старый каббалист покачал головой.

«Милый мой. Жить два раза невозможно. Одно из двух. Он для тебя уже не существует, а ты еще не существуешь для него. Он едет с билетом. А ты...» — И он пожал плечами.

И я понял (с великим облегчением), что меня нет.

### ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ

Звук, похожий на бульканье, словно без конца переливали воду кружкой из одного ведра в другое, слышался всю ночь, с ним засыпали и просыпались, и,

когда я смотрел на часы — было пять, — и пошатывался, слезая с обрыва, этот звук стоял в ушах. Солнце еще не успело вылезти из-за лесистых холмов, холодные камни казались отсыревшими за ночь.

И кто поверил бы, что накануне бушевал шторм! О нем, правда, напоминали клочья бурой травы, очески от бороды Нептуна и зализы сырого песка со следами полузасохшей пены. Но море было зеркально, пустынно и как будто дымилось белым паром.

Об этом стоит поговорить; мне кажется, я еще никогда не видел такой воды. Перед восходом солнца море было белым, как молоко, только у самого берега большие камни покачивались в воде и отражались в ней зелеными разводами. Вдали огромная бесцветная гладь сливалась с бледно-фисташковым небом.

И странная мысль являлась на ум при виде этой равнины: кажется, шагнешь — и не потонешь, и зыбким пятном отразишься в воде. Это ощущение плотной, холодной и колышущейся воды было так живо, что я тотчас принялся что-то сочинять на эту тему; вдали я заметил мерцающую полосу, смутную трассу, косо идущую вдоль горизонта. Так вот что такое были дороги моря, неожиданно эти слова обрели предметность. Они означали нечто конкретное. Вообще я заметил, что смысл многих слов, давно утраченный, оживает, когда окажешься вот так, с глазу на глаз, с морем, землей и небесами.

В кустах над обрывом уже сверкало нечто подобное грандиозной улыбке. Апельсиновый луч брызнул с высоты. Из зарослей дубняка выбралось косматое солнце, свет бежал по песку, и вокруг меня протянулись сизые тени. Тотчас вслед за этим событием послышались озабоченные шаги. Учительница средней школы хрустела по песку в босоножках. Утро уже сияло вовсю. Учительница проспала солнце.

Мы не раз встречались так по утрам, и она угощала меня здешними мелкими грушами. Они были невкусные, но считались витаминными — так о женщине не говорят, что она некрасива, но зато умна.

Разговор зашел о плавании. Морская вода держит, сообщила она, в ней много солей.

«Вы преподаете химию?»

«Нет. Но это и так известно. Можно лежать, и не утонешь».

«А ходить по воде можно?» — спросил я.

Мы жевали груши и швыряли объедки через плечо — чтобы не загрязнять пляж. Я заметил, поглядывая на собеседницу, что бедра у нее не смыкались, факт прискорбный, ибо степень упитанности влияет на мировоззрение. Никакие иллюзии невозможны для женщины, у которой торчат ключицы.

«Видите ли, — пробормотал я, — есть такой рассказ».

Мой вопрос поставил ее в тупик, ей стоило усилий отнестись к нему серьезно. Подумав, она ответила, что такое событие могло произойти — в очень далекие времена. Тот, кто шагал по воде, был пришельцем с другой планеты. Это были обломки чего-то прочитанного.

Итак, она согласна была фантазировать, но лишь под покровительством науки.

Зачем же, спросил я, прилетать с другой планеты?

Она не поняла.

«Какой смысл было прилетать ради того, чтобы заниматься моральной проповедью?»

«Моральная проповедь, — возразила учительница, — это выдумки. Вот это действительно выдумки».

Прищурившись, античным жестом я метнул огрызок груши по поверхности вод.

В эту минуту ребристый луч упал на воду, и я увидел Идущего. Он шел, не обращая внимания на жидкий блеск воды, не заботясь о том, как истолкуют его явление. Я сказал:

«Знаете что? Попробуйте вы совсем отказаться от объяснений. Мало ли в жизни невероятного. Может, лучше искупаемся?»

Ответа не последовало — да и какой мог быть ответ? Учительница пошла в море, она смеялась и вскрикивала, говоря, что вода чудо и обжигает, словно огонь.

Наш диспут на этом окончился, и, может быть, не стоило вовсе упоминать о нем. Но для меня он был важен, потому что возвращал меня к тайным и все еще неясным мыслям. Я испытывал нежность к этой компании простонародных апостолов, бродившей за своим учителем по рыжей от солнца галилейской равнине; я видел их, идущих толпой, точно крестьяне с ярмарки, громко спорящих и размахивающих руками или ступающих чинно друг за другом, след в след, как иноки минориты или какие-нибудь буддийские монахи.

Учительница вышла на берег, вода стекала с нее, как чешуя. Она надела босоножки, и худые ноги ее захрустели по песку. Пора было завтракать. Я полез наверх по обрыву. Я вел восхитительный образ жизни. Образ Идущего по воде не выходил у меня из головы, и, раз уж это утро настраивало на метафизический лад, я вспомнил слова одного мудреца, кажется, Ясперса, о том, что тот, кто не может уверовать, создает себе веру в своем воображении.

Раввин устал, преследуемый толпой, отовсюду сбегавшей поглазеть на него, и, когда на исходе дня они подошли к берегу, сказал, что не поедет и хотел бы провести ночь в горах, один.

Компания спустилась в ложбину по следу высохшего ручья, где давали немало тени полусохшие кусты, которым не суждено было превратиться в деревья оттого, что их обгладывал скот. Был конец десятого часа — по-нашему шесть часов вечера, — и солнце стояло еще довольно высоко. Ученик Андрей отправился к рыбакам, он подошел к крайней лагуне, видневшейся на пригорке, и сейчас же оттуда с лаем выскочила дворняжка. Старик в портках, босой и с одним глазом вышел и стал разговаривать с Андреем.

«Все в порядке, — сказал Андрей, спустившись с холма. — Еле уговорил».

На земле были разложены остатки еды. Симон, который заведовал хозяйством, быстро собрал куски хлеба в мешок; все встали и пошли гуськом по засохшему руслу вниз. И чем ниже они спускались, тем ярче сверкало внизу между зарослями. За учениками шел старик с веслом и веревкой, а за стариком — мальчик лет десяти, волочивший под мышкой второе весло.

Наконец ложбина кончилась, и сверху перед ними открылась широкая и гладкая равнина. Она блестела, как медь. Это и было Генисаретское озеро, которое местные жители называли морем.

Симон догнал Андрея.

«Сколько ты ему обещал?»

«Тридцать».

Симон вздохнул: в кошеле, висевшем у него под рубахой, оставалось двести динариев.

«Ну и сам бы торговался», — буркнул Андрей.

Лодки лежали далеко от воды и для верности были привязаны к кольям, вбитым в песок. Старик указал на бокастый баркас, в котором с трудом, но могли усестись тринадцать человек. Андрей почесал затылок.

«Одной пары маловато будет», — сказал он.

Хозяин стоял, подняв к небесам свой вытекший глаз. Солнце висело над пеленою сизых облаков, легкий ветер шевелил рубаху старика.

«Папаша!»

«Ну чаво тебе?»

«Нам бы еще парочку весел».

«И куды спешить на ночь глядя? — проворчал старик. — Ночевали бы уж, а там... Тише едешь, дальше будешь». Он уселся на корточки отвязывать баркас. Учитель, до сих пор молчавший, подошел к Симону и Андрею.

«Езжайте, еще успеете», — сказал он. — Тут недалеко».

Они вопросительно глядели на него. Подошел брат Андрея Петр.

«Не хочет ехать», — сказал Симон вполголоса.

«Кто не хочет?»

«Рабби не хочет. Может, вправду отложить до утра?»

«Пожалуй, — согласился Петр. — Переночуем в деревне. Извини, батя, — обратился он к хозяину лодки, — мы, того, передумали».

Иисус порывисто повернулся к ним. «Перестаньте, — сказал он. — Не тратьте времени. Встретимся в Капернауме». И, так как они медлили, добавил, обращаясь главным образом к Петру: «Здесь оставаться больше нельзя».

Они поняли, что он имеет в виду: драку в трактире. Пьяный сириец, схватившись с Петром, чуть не убил его. Вернулся мальчик, весь потный и запыхавшийся, он волочил по земле вторую пару видавших виды весел. Ученики — раз-два, взяли! — столкнули баркас на воду. Андрей первым взшел на лодку и сел на корме.

Старик бормотал, глядя на них: «Утро вечера мудренее. И куды нелегкая несет?»

Маленький Симон Кананит упавшим голосом уговаривал рабби взять у него на всякий случай часть денег. Придерживая на груди кошель, огорченный Симон прыгнул в лодку. Кормой вперед баркас отчалил. Передний гребец, оглядываясь, разворачивал, сидевший с ним рядом табанил; позади вторая пара гребцов сидела наготове, подняв весла. Круглый, похожий на скорлупу ореха баркас качался на воде. Потом все двенадцать стали медленно удаляться по медной, лоснящейся глади, лодка равномерно взмахивала веслами, а с берега, заслонясь от солнца, вослед ей смотрели провожатые. Мальчик махал рукой.

Они повернулись и пошли, дед и мальчик впереди, за ними, по привычке глядя себе под ноги, шагал высокий понурый раввин. Вот уж их и не видно. Широкой дугой раздалась бухта, открылись прибрежные холмы, позади них выступили скалистые серые горы. Вода сильно блестела. Баркас бойко шел вперед. Плыли молча. Сидевший на носу Петр видел сомлевшие лица товарищей, потные спины гребцов, движущиеся лопатки, и на корме над всеми широкое неподвижное лицо Андрея, озаренное точно пламенем пожара. Берег, еле заметный, растворялся в фиолетовом мареве.

Петр думал о рабби, о его словах, сказанных в харчевне, куда они завернули, истомленные зноем и жаждой, но этот рассказ — не об учителе, а об ученике. Ну и вертеп! С порога в нос шибануло кислой вонью, две-три осовелых физиономии повернулись к вошедшим, больше никто не обратил внимания. Должно быть, сюда еще не докатилась молва о Царе иудейском. Хозяин молча сгреб объедки с длинного стола, растолкал спящих, чтобы освободили место, принес блюдо маслин, кислого вина и четыре кружки на всех.

Бряк! Лоснящаяся от жира монета с головой императора Тиберия ударилась об стол. «Ставлю бутылку, — сказал кто-то. — Я их уже видел». Перед ними стоял широкоплечий и смуглый, могучего вида оборванец, в серьгах, с амулетом на голой груди, грязным пальцем показывал на раввина.

«Иди, Варавва, чего привязался к людям?» — бросил ему мимоходом хозяин.

«Нет, шалишь. Сыграем? Кесарь твой, корова моя». Монета взлетела вверх и покатила по полу. «Абрашка! — закричал Варавва. — Кончай ночевать. Полежай под стол». И Петр вспомнил, как среди нищих один по имени Авраам, подхватив полы лохматого рубища, бросился под стол за монетой, а Варавва с криком: «Зубами, зубами!» — поддал ему пинком в зад.

«Йэх!» Варавва покачнулся, ища глазами Иисуса, и, очевидно, намеревался что-то добавить, но тут приоткрылась дверь, кто-то вошел в ярком свете дня: девушка лет тринадцати, черноглазая, с желтой лентой в волосах. В это время Авраам, воздев руки и держа в зубах золотой, тряся лохмотьями, исполнял какой-то сложный и похабный танец. Варавва заливался счастливым смехом, а хозяин, скрестив волосатые руки, стоял перед занавеской у входа в другую комнату и без всякого выражения смотрел на них.

Гостья с презрением взглянула на плясуна, она шла танцующей походкой, виляя бедрами под цветастой юбкой, трактирщик хотел остановить ее, она отмахнулась. Тоненький голосок ее нагло и нежно прозвенел в зловонной харчевне.

«Ай-яй. Какие гости! — сказала она по-арамейски. — Глаза мои не видели, уши не слышали. И где я была?.. — Она свесила голову на плечо, не спуская с раввина лиловых глаз. — Господин, погадаю, всю правду скажу. Где счастье найдешь, где голову потеряешь...»

Пришлось потесниться; гадалка, цепляясь юбкой, пролезла между ними. Рядом с Иисусом она оказалась на две головы ниже, точно ребенок, босые ноги ее висели под столом. Она сорвала с головы желтую ленту, знак ее ремесла, смеясь, тряхнула черными жирными волосами. Варавва засопел, развесил руки.

«Сука! Иди на место!» — прогромыхал он.

Она испуганно хихикнула, сказала быстро:

«Жене своей можешь приказывать, я тебе не жена».

Петр скосил глаза: девчонка крутилась, как вьюн, между ним и учителем. Подняв голову, Петр увидел звериные очи Вараввы.

«Кому сказал, ну?!» — лязгнул Варавва. Из всех углов смотрели на них любопытные лица. «Слушай, друг...» — начал было Петр. Гигант смотрел мимо него. Варавва ввинтил желтые глаза в рабби. Медленно и сначала как будто беззвучно задвигалась его челюсть, на груди закачался амулет, Варавва изрыгнул чудовищно-внятный мат. Женщина, взвизгнув, исчезла под столом. Верзила выбросил вперед цепкую, как щупальце, руку и схватил за бороду раввина.

Кровь бросилась в голову Петру, он вылетел из-за стола. Все повскакали с мест, стукнула, падая, скамейка. Нищие толпились вокруг. Варавва, сцепив ручки, ударил Петра раз и другой. Кто-то хотел вступить; Петр раскинул руки, отстраняя всех. Рука его шарила по столу, нашла кружку. Варавва расставил ноги носками внутрь, покачивался, что-то пел и доставал не спеша из-за пазухи короткий, вроде охотничьего, нож.

Петр смотрел врагу в живот, у него был свой план — броситься под ноги и, когда тот рухнет, навалиться сзади и разбить голову тяжелой кружкой.

Вдруг сильная рука остановила его, тонкие пальцы сжали локоть, как клещи. Учитель отодвинул Петра.

Варавва проглотил слюну. «Отойди, пахан,— сказал он мрачно,— без тебя разберемся...»

Иисус не двигался и смотрел на Варавву, который держал нож перед животом.

«Что ж,— сказал раввин.— Бей».

Варавва смотрел на него в недоумении. Все молчали.

«Ударь,— повторил Иисус.— Ну бей же, если тебе так хочется. Убей меня, и тебе ничего не будет. Они,— он кивнул на учеников,— тебя не тронут, это я тебе обещаю».

Варавва исподлобья следил за ним. Иисус продолжал:

«Если ты ударишь его, то станешь убийцей и люди будут преследовать тебя. А меня ты можешь убить без всякой опаски. Ведь я — сын Божий».

Кто-то засмеялся.

«Убей, если не веришь»,— сказал Иисус и, неожиданно улыбнувшись доброй, жалкой своей улыбкой, раскрыл двумя руками одежду на груди.

Варавва покосился на лица, с жадным испугом ожидающие, смерил взглядом Петра, криво усмехнулся. Все зашевелились, раздались восклицания. Маленький Симон, нервно жестикулируя, что-то втолковывал непроницаемому хозяину.

Мигнув тусклыми очами, Варавва цыкнул слюной через плечо. «Ладно,— сказал он презрительно,— валите отсюда...»

Двенадцать вслед за учителем пошли прочь меж расступившихся людей, но, перед тем как уйти, раввин обернулся, пропуская учеников, и что-то сказал толпе. Петр заметил, что девушка с лентой в руках, глядя на раввина снизу вверх большими отсвечивающими глазами, плачет.

Учитель провожали, то ли благоговев, то ли насторожась и насмехаясь. Кто он был для них: артист-охмурыла, дешевый проповедник, каких было и будет тысячи, или тот, чьим именем он назвал себя? Что они бормотали, когда смотрели с порога вслед удалявшимся в пыли по белой дороге: «Много вас тут шляется» или «Благословен ты, Адонай»? Петр подумал о том, что нужно подставить себя под нож, чтобы доказать им, что ты бессмертен, и умереть, чтобы стать Богом.

Мысль, не понятная ему самому. Но рабби ничего не объяснял до конца. Был ли он в самом деле Сын Предвечного или называл себя Божьим детищем, как все мы себя называем? Петр был порывистым, опрометчивым человеком, импульсивной натурой; по замыслу этого рассказа, он не любит умствовать. Петр вспомнил, как он стоял перед пьяной рожей, выбирая минуту, когда кинуться вперед. Вот именно. Не рассуждать, а действовать! Он смотрел на своих

товарищей: они сидели, раскачиваясь вместе с лодкой, по двое и по трое на скамьях, и на всех лицах было одинаковое выражение терпения, усталости, долга. Гребцы успели сменитьсь, скоро и его очередь.

На корме по-прежнему виделось лицо Андрея, но золото предзакатного света уже померкло на нем. Обернувшись, Петр увидел, что солнце исчезло в фиолетово-сизых тучах, вода потемнела, ветер с заката рябил и серебрил ее. Баркас тяжело шел против ветра. Уже давно исчезло из виду восточное побережье, должна была показаться по правому борту песчаная отмель, но море по-прежнему было пустынно. Ни паруса, ни рыбацкой шлюпки. Чайки время от времени шныряли с криком над самой водой.

Ученики вполголоса переговаривались, поглядывали на небо. Гребцы усердно работали веслами. Банка справа должна была находиться недалеко, в таких местах всегда кружится много чаек. А там и берег галилейский покажется, озеро в самом широком месте не превышало шестидесяти стадий. Ничего не показывалось. Чайки покричали и улетели. Впереди черно-пепельное море понемногу пошло белыми барашками. Дул ветер; вдруг стало совсем темно.

Баркас раскачивался, поворачиваясь на волнах. «Табаньте! — командовал Андрей. — Выходите на волну». Большой вал, приподняв нос лодки, прокатился под ними, и передние трое чуть не упали на гребцов. «Ты-то куда смотришь?» — крикнул Симон, хватаясь за что попало. Кормчий, держась за руль, величественно качался на корме вверх-вниз. Все море колыхалось, словно кто раскачивал его.

Ветер трепал волосы Петра. «Держись!» — крикнул кормчий, и новый вал окатил их брызгами. Эх, подумал Петр, не послушали старика... Тупой нос баркаса нырял в волнах. Тучи совсем заволокли небо; теперь, если даже недалеко берег, его не увидеть. Вцепившись в борта, он вперялся во мглу, все еще надеясь различить огоньки Капернаума. Вдруг кто-то из сидящих сказал: «Боже, что это?!» Шагах в тридцати от баркаса на воде стояла человеческая фигура.

«Что, что такое?» — заговорили сидевшие против гребцов, и все стали поворачивать головы. Все увидели привидение, которое медленно подвигалось, точно ехало по воде, и сбоку догоняло лодку.

С ума они, что ли, сошли, все одновременно? Теперь можно было различить одежду, посох. Лицо тонуло во мгле. Призрак учителя, точно такой, каким раввин был в жизни, догонял их и, казалось, всматривался в их оцепенелые лица. Ученики, онемев, смотрели на эти шагающие ноги. Ветер стал как будто потише. Лодка, потеряв управление, медленно поворачивалась на воде. Идущий поднял руку. Голос донесся до них.

«Что он говорит?» — спросил Петр.

Все молчали. Затем оттуда донесся кашель.

«Не бойтесь, — громко и внятно сказал призрак. — Это я».

«Вот так здорово!» — сказал Петр, у которого не оставалось сомнений в том, что он окончательно повредился в уме.

«Это я», — повторил голос.

«Рабби, — пролепетал Петр, — ты?!»

«Ну да», — ответил голос, и лицо улыбнулось в темноте: все та же, знакомая им, добрая и жалкая улыбка.

Они не различали черты, но видели улыбку.

«Успокойтесь же, говорю вам, — сказал он сердито. — Я не привидение». В самом деле, это был он, стоявший в море, как на плоту. Вода перекатывалась через его ступни, и ветер отдувал край хитона.

Что-то случилось с Петром, он вдруг засуетился. «И я, и я, — бормотал он, волнуясь, — и я к тебе, можно? Я тоже пойду, рабби...» Поднялся сердитый ропот: «Куда... этого еще не хватало!» Петр никого не слушал. Дрожа от волнения и отдирая руки, которые пытались его удержать, упершись в чье-то плечо, он перешагнул через борт сначала одной ногой, потом другой, вода была ледяная, ему даже показалось, что он сделал шаг; учитель смотрел на него, опираясь на посох.

Мокрого, стучащего зубами Петра вытащили кое-как из воды. Гребцы взялись за весла. Раввин уже стоял в лодке.

«Эх, ты...» — сказал он Петру.

## ПОКА С БЕЗМОЛВНОЙ ДЕВОЙ

Non omnis moriar...<sup>1</sup>

Врачи перестали меня обманывать, дни мои сочтены, я это знаю и стараюсь не видеть себя, не смотреть на свое иссохшее тело. Я — тот, о котором говорят шепотом. Лишь дух остается бодр; похоже, что он и умрет последним.

А мне бы хотелось уйти во сне. Я знаю, что такое желание недостойно истинного философа, которому подобает встретить смерть с открытыми глазами, и все же я предпочел бы расстаться с жизнью заочно. Человек, умерший в забвении, не знает о том, что он умрет. Человек, умерший во сне, не знает, что он спит. Оттого он как бы и не умер: ведь его смерть — в худшем случае сновидение. Проснувшись, он узнал бы, что умер на самом деле, но он не проснется; он узнал бы, что его уже нет, но он никогда этого не узнает; если же нам в самом деле предстоит пробуждение от сна жизни, то нужно приветствовать смерть.

Секретарь просидел все утро с табличками возле моей постели, дожидаясь, когда я начну диктовать; но, хотя сегодня я чувствую себя чуточку лучше, чем все последние дни, мне удалось выдать из себя лишь несколько фраз. Сомневаюсь, удастся ли завершить мои записки. У меня даже не остается времени привести в порядок написанное, не говоря о том, чтобы отшлифовать мои периоды.

А главное, я не в силах извлечь из моей жизни столь необходимую для потомков мораль. Я пытаюсь понять, в чем состояло мое предназначение. Не то чтобы я упустил удачу, гонялся за призраками; нельзя сказать, что я без смысла и цели израсходовал отведенные мне годы. Напротив: я удостоился почестей и приумножил свое богатство. Потратив жизнь на то, чтобы жить, — каждому ясно, что я имею в виду, — я ни о чем не жалел, не жалею и теперь. Долгое время я помогал и покровительствовал другим — многие ли отблагодарили меня? — и находил в этом если не смысл, то по крайней мере оправдание своей жизни. Но мало-помалу для меня становится очевидным то, в чем я не смел себе признаться; необъяснимая робость — не перед другими, но перед самим собой — мешала мне отдаться своему истинному призванию; я сам был создан для творчества.

Я стыдился вступить в соревнование с талантами, для которых был лишь опорой. Поэты эгоистичны и заносчивы, чужая щедрость для них нечто само собой разумеющееся; они принимают подарки с таким видом, словно оказывают вам честь, и выслушивают похвалы, как бы снисходя к тому, кто их расточает. И уж тем паче никому из них не приходило в голову спросить, не хотел бы и я попытать свои силы в словесном искусстве. Да что я говорю — таланты. Сколько виршеплетов пользовалось моим гостеприимством, моим влиянием, моей близостью к принцепсу, скольких недостойных я вывел в люди! Не хочу, впрочем, преуменьшать мои заслуги. Угадать в этой жадной толпе немногих избранных, протянуть им вовремя руку — ведь для этого тоже требуется особый дар.

Я прекрасно понимаю, что и медная статуя в атриуме — отнюдь не залог бессмертия. О, нет; скорее наоборот. Ни ученые знатоки, ни простодушные почитатели не в состоянии угадать, какое место будет отведено на Олимпе поэту, живущему здесь и сейчас. Найдется ли там вообще уголок для него? При жизни превознесенный до небес, он будет забыт на другой день после смерти. А истинный избранник, никем не замеченный, займет место рядом с небожителями.

Потомки спросят с недоумением о тех, чьи имена нынче у всех на устах: а кто это такие? И будут благоговейно повторять имя того, кто сегодня никому не известен.

Не то чтобы люди были слепы, и не в том дело, что меняются вкусы. Не слепота, но обыкновенный обман зрения виной тому, что современники венчают славою посредственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое

<sup>1</sup> Умру, но не весь (Гораций).

просто не умещается в поле зрения. И все же тот, чей дар был мною угадан прежде, чем услышали о нем, не обманул моих ожиданий.

Надеюсь, мой знаменитый друг не обидится, если я скажу, что без меня он не стал бы тем, чем он стал: без моих наставлений, которые никогда не были навязчивы, без моей критики, подчас безжалостной. И, разумеется, без моей поддержки. Если не ошибаюсь, он был маленьким чиновником казначейства, когда был мне представлен. Сколько лет прошло с тех пор? Робея, он показал мне свои подражания Луцилию.

Я упомянул о бессмертии. Пожалуй, можно избежать забвения, прислонившись к чьему-то памятнику, одолжив у него, так сказать, малую долю его бессмертия, вроде того как иные светила, по мнению одного ученого грека, испускают не собственный, а отраженный свет. В прелестной оде, одной из нескольких, которыми он почтил меня, мой друг утверждает, что не переживет меня, больше того, он уверен, что мы умрем в один день; это была, я думаю, шутка. О, я хочу надеяться, что это была шутка, а с другой стороны, кто знает?.. Поэты наделены жутким даром предвидения. Одно можно сказать наверняка: в тот день он не подозревал, что наше свидание будет последним. Он знает, что я нездоров, и присылал справиться о моем самочувствии, но с тех пор мы больше не встречались. Я не хочу его видеть. Зачем? Мы простимся, когда я буду лежать на погребальном костре.

Секретарь приготовился к диктовке. На чем мы остановились? Он отвечает: на злополучном правлении Трех. На страшном времени смут, когда люди Антония, отвратительный сброд, привезли в Город отрубленную голову Туллия Цицерона. Итак, мы все еще топчемся в далеком прошлом. Стоило ли вообще его ворошить? Можно ли его позабыть? Говорят, что старость живет прошлым, но на самом деле, старея, научаешься жить сразу во всех временах; прошлое становится настоящим, и настоящее не имеет больше преимуществ перед минувшим. Быть может, последовательность времен существует только в грамматике. Нечто более основательное, чем хронология, не подвластное бегу времени, управляет памятью и служит для нее упорядочивающим началом. Отложи таблички, приятель. Я хочу говорить только с самим собой.

Итак, этот день... Он вышел навстречу... Слуги внесли меня в атриум, где я полюбовался статуей. Оттуда мы прошли в сад. Опишу заодно внешность Квинта: невысок, а вернее сказать, малого роста, чуть ли не на целую голову ниже меня, а ведь и я не великан. Хотя ему близко к шестидесяти, у него как у истинного калабрийца нет ни одного седого волоса. Он прикрывает плешь, зачесывая волосы по моде республиканских времен, с затылка на лоб. У него маленькие черные глазки, двойной подбородок, брюшко; словом, он мало похож на служителя муз.

Отлично помню душный, бессолнечный день, с террасы мы любовались торжественным зрелищем гор, ближе к нам на обширном склоне паслись овцы. Нужно сказать, что он сделал весьма разумное употребление из поместья, которое я когда-то ему подарил: сдал землю в аренду, оставив себе клочок для пропитания, как он выразился; восемь рабов вполне справляются с обработкой.

Мы поговорили о том о сем, я рассказал последние сплетни, он неохотно отвечал, что показалось бы невежливым, не будь мы друзьями столько лет. Он был явно не в духе. Я упросил его пропеть мне оду, о которой пока не знают: воззвание к Мельпомене, опять-таки по примеру старика Луцилия,— но какая огромная разница!

Голос у Квинта не слишком приятный, да и манера декламировать собственные творения, как почти у всех поэтов, оставляет желать лучшего. Стихи меня восхитили и вместе с тем удивили. За что он просит музу увенчать его лавром? Разумеется, он был прав, утверждая, что первым пересадила на нашу скудную почву греческие метры, но только ли в этом его заслуга?

Он возразил: разве это так мало?

Я ответил, что стихотворение представляется мне абсолютным; что он опровергает сам себя, демонстрируя высшую свободу; что он преуменьшил свои достижения. Совершенство, до которого он возвысил язык,— вот залог бессмертия, вот чем он вправе гордиться превыше всего. Не арки и памятники, продолжал я, поэзия не даст исчезнуть нашему языку. Он выслушал мою тираду, закрыв глаза.

«Нечего беспокоиться,— промолвил он с усмешкой.— Наш язык не умрет хотя бы потому, что не умрет Рим».

«Думаешь ли ты, что Рим вечен?»

«А ты,— возразил он,— разве ты так не думаешь?»

«Все прежние царства исчезли — одни раньше, другие позже».

«Рим завершил историю. Больше ему ничего не грозит».

«Ты имеешь в виду конец кровопролитий, мир, который нам подарен? Послушай,— сказал я,— там есть одно место... Ты говоришь: не умру до тех пор, пока восходит на Капитолий с безмолвной девой жрец. Я правильно цитирую? Это звучит двусмысленно».

Он поднял брови.

«Ведь это можно понять так, что не вечно жрец и весталка будут восходить на ступени храма. Не означает ли это...»

«Не означает,— сказал он.— Рим воплощает волю богов. Ни одна держава до нас не имела оснований сказать так о себе».

«Но боги могут изменить свои намерения».

«Тогда мир впадет в первоначальное варварство. Однако я думаю, что Рим настолько связал свою судьбу с верховной волей, что и судьба богов, в свою очередь, зависит от Рима. Поэтому он вечен».

Мне показалось, что его устами говорит не скептик, а государственный поэт,— роль, которую он время от времени брал на себя и которая, по моему мнению, мало ему подходила. Я сказал:

«Мы отвлеклись. Поговорим о тебе».

«Да,— пробормотал он,— мы отвлеклись».

Мысли, занимавшие меня по дороге в Сабини, настоятельно требовали обсуждения; мне не терпелось высказать мои соображения по поводу его эпистолы о поэтическом искусстве, которая наделала столько шума. Я было уже открыл рот — он перебил меня:

«Мне не нравится это стихотворение».

«Ты говоришь о «Памятнике»?»

«Да. Мне не хотелось его читать».

«Почему, в чем дело?»

«Оно звучит более чем самоуверенно, но, пожалуй, правильной будет сказать, что я сам себе перестал нравиться».

Я заметил ему, что такая требовательность к себе похвальна, но, будучи чрезмерной, может стать пагубной.

«Спой еще раз».

Он покачал головой.

«Ты говоришь, абсолютные стихи... совершенство. Так вот, я тебе отвечу: совершенство — это смерть. Это враг искусства».

«Квинт,— возмутился я,— ты написал стихи, в которых пророчишь себе бессмертие, а теперь заявляешь, что...»

Раб-подросток, красивый мальчик, подлил нам вина в стаканы. Хозяин встал и, отпив глоток, подошел к каменной балюстраде.

«Я без конца исправляю написанное. Каждая строфа стоит мне уйму труда. Порой я бьюсь целый день над одной строчкой, чтобы достигнуть идеального благозвучия, хожу взад и вперед и скандирую на все лады одно и то же. А на другой день вижу, что эпитет, найденный мною после изнурительных поисков, ужасен, невозможен, что красота звучания погребла чувство, что вся моя работа ничего не стоила и надо начинать сначала!»

«Почаще переворачивай стило. Не твои ли слова?»

«Да, да,— отвечал он с досадой,— а результат? Холодное, рассчитанное искусство».

«Мрамор тоже холоден. Зато долговечен».

«Красивое сравнение, но оно меня не убеждает. Катулл...»

Я поморщился.

«Не говори мне о Катулле. Терпеть не могу этого поэта».

«Катулл писал необработанным стихом. Он позволял себе вульгарные выражения. Нарушал просодию... Но сколько в нем жизни, огня, вдохновения!»

«И дурного вкуса. Впрочем,— заметил я,— это было другое время».

«Вот именно»,— пробормотал он. И, как будто вспомнив о чем-то, схватил свою чашу, выпил залпом и протянул не глядя слуге. Я знал, что Квинт воспел этого мальчика под именем Лигурина. Не думаю, впрочем, что он пылал к нему истинной страстью; скорее это была литературная стилизация.

«Я спрашиваю себя: не виною ли благоденствие, мир, наше сытое существование, эта сельская тишина и умеренность, эта прекрасная вилла — все, что я восхвалял, чему так радовался,— не виной ли они тому, что из моей поэзии исчезла живая жизнь?»

«Ты предпочел бы умереть в нищете?»

«Не знаю... Не сердись на меня».

«Я не сержусь,— возразил я, хотя почувствовал себя задетым,— мне хотелось бы только вернуться к нашему разговору о языке. Я не могу представить себе настоящего поэта, который не обладал бы безукоризненным слухом, разрешил себе хотя бы одно лишнее слово, который не был бы в высшей степени взыскателен к языку, если хочешь — не был брезгливым! Без вдохновения нет поэзии, кто же спорит? Но надо уметь укрощать коня, иначе он сбросит всадника».

«Укрощать коня... да. А я тебе отвечу, что слишком выверенное, слишком дисциплинированное, слишком уравновешенное искусство — это искусство старческое, окоченевшее. Кровь не пульсирует в нем. Такое искусство может вызывать уважение, даже восхищать, но заставить биться сердца... о, нет. Я научился любить,— продолжал он,— я отвык вождель. Известно ли тебе, что я уже давно живу без женщины?.. Я думаю, что поэту лучше умереть молодым».

Я не стал с ним спорить, он был в дурном настроении, я заметил в нем перемену, лоб и виски пожелтели, следовало предположить избыток желчи.

Несколько времени мы молчали, он поднял на меня глаза.

«Послушай,— проговорил он,— ты выглядишь неважно. Что с тобой?»

«Со мной?»

Мне стало не по себе. Он угадал мои мысли — но применил их ко мне самому, словно, глядя на меня, смотрелся в зеркало и читал на моем лице мою и собственную судьбу.

Он повторил:

«У тебя скверный вид. Что говорит лекарь?»

«Что я поправляюсь».

«Ты говоришь мне правду?»

«Конечно»,— сказал я, смеясь.

«То-то же. Не смей,— и, усмехнувшись, он погрозил мне пальцем,— ведь тогда и мне придется отправиться вслед за тобой. Не смей умирать, Меценат!»

## СТАРИКИ

Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружен старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на прохожих. Люди жестикулируют, смеются, бранятся. Люди слишком много разговаривают. Это потому, что они молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют персонажи кино и книг. Старик перечитывает классические романы — у него много времени,— и оказывается, что их написали совсем молодые люди. Раньше он об этом не думал. Когда-то герои книг казались взрослыми и умудренными жизнью, оказалось — это были зеленые юнцы. Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше, старение — тоже позади, зато мир становится все моложе и все глупей.

Он вспоминает тех, кто жил тридцать, сорок или сорок пять лет назад, стариков своей молодости: безнадежные люди, смертники, как ему казалось. Тогда как сам он был бессмертен. Профессор классической филологии, сидевший в прихожей, в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, дожидаясь начала своей лекции. Теперь можно было бы запросто присесть с ним рядом. Прорекламировать вдвоем: *Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni* ...

<sup>1</sup> Увы, летучие, Постум, проносятся годы (Гораций).

Родители: их давно нет на свете. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое старше своей матери и она годилась бы тебе в дочери.

Совершим небольшое усилие, вернемся в те времена, и земное притяжение, зов могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не останавливаясь после каждого марша, взлететь по лестнице на четвертый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено собственной памятью, удостоверяющей его физическую непрерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного «я». Как роман не перестает быть единым повествованием от того, что его листают, как придется, заглядывают в конец и возвращаются к началу, так непрерывно текущее себя «я» не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное «я» предполагает текучую неподвижность памяти, и, наоборот, оттого-то воспоминания так легко перескакивают через годы и от места к месту. Если верить Бергсону, мы не забываем ничего, хоть и не помним о многом; память — это несгораемый сейф, разве только забылся набор цифр, открывающий дверцу; память — темный подвал с бесконечными рядами стеллажей, на которых стоят коробки, громоздится рухлядь, с расходящимися коридорами, куда мы не заглядываем, погреб забвения. Между тем существует факт, который доказывает, что на самом деле мы помним все однажды увиденное и пережитое: спящий может узнать во сне города и людей, давно исчезнувших с его горизонта и о которых он никогда наяву не вспоминал.

Тело наделено памятью. Эти ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы, лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, черный прах и тлеющие болотные кочки лесных пожарищ, деревянные, скользкие от дождя, расщепленные колесами лесовозных вагонок лежни, по которым шагают парами заключенные, держась друг за друга, чтобы не угодить в трясины. Руки помнят игрушки, объятия, хирургические инструменты и браслеты наручников.

Тридцать лет тому назад перед подъездом центральной районной больницы стоял автомобиль с красными крестами на матовых стеклах, выдавшая виды колымага военных лет. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Подошел кто-то из городских коллег. «Тут у нас приготовлен на выписку пациент с вашего участка, подвезите его, вам все равно по пути».

Была осень. От бывшего уездного города до участковой больницы чеховских времен пятьдесят километров по ухабистой мощеной дороге и три версты по проселочной. Можно было еще успеть выехать засветло. Очевидно, больной одевался. Наконец раздались шаги. Наверху, на лестничной площадке, показалась молоденькая сестра. Она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец в заплатанных портах, валенках и долгополом рубище.

Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провожатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.

«Куда ж я теперь с ним?»

«Вот тут все документы», — сказала сестра.

«Где его вещи?»

«А у него нет вещей».

Я развернул бумаги. Больной жил в стороне от тракта, в дальней деревне, куда и летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому назад. Диагноз... Дальше шло длинное наподобие аристократического титула перечисление недугов, которое можно было заменить одним словом: старость.

«Дедуль!»

«Ась?»

«У тебя из родных кто-нибудь есть?»

«Чего?»

«Родственники, говорю, есть?»

Все было ясно. Беспомощный, беспризорный, кочующий по больницам старик-одуванчик; дунет ветер — и нет его. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалюхе, ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии никакой.

«Ничего,— сказала сестричка и погладила деда по желтому черепу,— он у нас молодцом. Он у нас еще ходит. Перезимует у вас, а летом сам домой запросится».

Месяца через два выяснилось, что у деда есть дети. Дочь живет в Москве. Сын в Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нем и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злорадно потирал руки. Затем умокнул перо в чернильницу и начертал два грозных письма.

Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.

Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу о больном, обещал непременно проведать его в будущем году. Он полностью согласен, что в деревне о старике некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожалению, в настоящий момент не может. Он ютится с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой комнате, работает милиционером, зарплата сами знаете какая. Единственный выход — поддержать папашу еще в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?

Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщала и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца,— писала она,— ну так вот, этого никогда не будет. Жалуйтесь куда хотите, а мы его не возьмем. Какой он нам отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А теперь вспомнил. Теперь мы ему понадобились. Никакой он нам не отец. Так ему и передайте».

Можно было бы ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. Прошло еще сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна. Словно грянул, сверкая трубами, с небес духовой оркестр. Вдруг в одну ночь все начинает таять, чернеют дороги, голые леса стоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, и мокрый взъерошенный скворец за окошком заливается, как безумный. Потом земля, по народному выражению, расступается. Теплый пар стелется над лугами, просыхают лужи. Сестра из городской больницы оказалась права: когда начало припекать солнце, дед стал проситься выписать его. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах, повез его за тридцать верст в родную деревню.

Каждый день рано утром я садился в трамвай возле Выставки достижений сельского хозяйства, и каждое утро, тремя остановками позже, в вагон входил и садился напротив ветеран в железных очках, высокого роста, с длинной желто-белой бородой, с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я сходил, и следом за мной сходил старик.

Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбегал по лестнице на второй этаж. Старик ехал в лифте. Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчиненные.

Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла в том, что я шествовал от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни, следовали за мной, в палатах стояли наготове сестры, а с кроватей на нас смотрели очаговые пневмонии, язвы двенадцатиперстной кишки, ревматические пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие облик живых — или полуживых — людей.

В конце коридора, на женской половине, в последней палате сидел возле койки у окна старик. На тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами лежало

крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с лысой головкой, в перевязанных ниткой железных очках, таких же, как у старика. Это была его мать.

«Поздравляю!» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.

Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.

После обеда он вошел в кабинет.

«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»

Он пожал плечами.

«Мы считаем, что налицо определенный прогресс,— сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется *pluralis majestatis*<sup>1</sup> и принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее.— Не правда ли?» — спросил я у палатного врача.

«Безусловно».

«Ну вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».

«О чем?» — спросил старик.

«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».

«Три с половиной».

«Не будем спорить. За это время достигнут определенный прогресс. Во всяком случае, состояние стабилизировалось... Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»

Практика выработала у родственников сложные приемы самозащиты. Ни в коем случае не спорить. Во всем соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за заботу. Нигде, ни в одной больнице, не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы дней на десять? Так сказать, закрепить результаты.— Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе.— Значит, нам нужно кого-то подыскать.— Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные.— А разве мама не настоящая больная? — Помилуйте, четыре месяца! — Три с половиной.— Ладно, не будем спорить. И так?..— Что, и так? — И разговор, похожий на торговлю, начинается сызнова.

Вместо этого старик сказал:

«Я ее не возьму».

«Как это — не возьму?»

«А вот так».

«Но вы же прекрасно понимаете, что...»

«Прекрасно понимаю».

«Ведь она вам мать! Вы что же, от нее отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом престарелых».

«Куда?» — спросил он.

«В дом престарелых!»

Некоторое время мы изучали друг друга.

«Мне восемьдесят два года,— сказал он.— Тем не менее я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрем. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Все, что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

<sup>1</sup> множественное величества.

Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает: время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве — время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несется к обрыву, но остановить лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любит ландшафт.

Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике», ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит не в размышлении, но в размыслении о жизни.

Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времен подчинялось твердым правилам, прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим и будущим и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.

Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что Ксенофонт, автор «Анабасиса» — первых, быть может, в истории литературы воспоминаний — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодым на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычком в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, еще не зная о том, что персидский царевич замыслил отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьем золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев на всем скаку, спрыгнул с коня и, плача, упал на тело мертвого Кира. А мы, десять тысяч наемников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов, не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повел нас сквозь дебри к родному, далекому морю.

Мы не догадывались, что остраненность рассказа, бесстрашие автора, повествующего о себе в третьем лице, — примечательная находка, литературный прием старости.

Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, и я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью, опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах в нетопленной аудитории, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»

Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить:

«Praesens historicum! Congruentia inversa!»<sup>1</sup>

Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.

Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец оболstil богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству — хорошо подвешенному языку — удалось ему избежать смерти.

<sup>1</sup> «Настоящее повествовательное! Обратное согласование подлежащего и сказуемого!»

Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.

Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно несовместимое — вместе, рядом.

Классическое отделение: какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом, посреди гнусной эпохи. Как на коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна, так в центре города перед старым зданием Университета стояли почернелые от времени статуи Герцена и Огарева, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами, и застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулеметами и часовыми, где сидели в своих кабинетах, в кителях и погонах, в синих разлтых штанах волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.

Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом, под портретом Рыцаря революции сидел старик или по крайней мере тот, кто должен был казаться стариком вошедшему посетителю, и делал вид, что читает бумаги. Был двенадцатый час ночи.

Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актер без речей.

Генерал был маленького роста, что не сразу бросалось в глаза, лысый, жирный, коротконогий, могущественный, в мундире со стоячим воротником, с колодками орденов и широкими, как доски, золотыми погонами. О чем он думал? О том, что люди празднуют Новый год, а он должен работать? И что предстоит пропустить еще сколько-то десятков посетителей, и что впереди такие же бессонные ночи в сияющем лампами кабинете с зарешеченными окнами, с секретарем и охраной, длинный ряд ночей, пока, наконец, его не повезут между рядами войск на пушечном лафете, животом кверху, в коротком красном гробу, и на крышке будет лежать его огромная блинообразная фуражка с голубым верхом и капустой из латуни на козырьке, а сзади будут нести его ордена на подушках? О том, что он отдал всю жизнь великой борьбе и будет служить ей до последнего издыхания, что он государственный деятель высшего ранга и обязан вести образ жизни государственного деятеля, говорить и мыслить по-государственному? Что он ни в чем не сомневается и ни о чем не сожалеет? Что от него зависит все, а может, ничего не зависит? Что он служит гнусному, грязному делу, что он Генеральный прокурор по спецделам, и ничего уже не поделаешь, и ему некуда деться? Пожалуй, он вообще ни о чем не думал и лишь выдавливал из себя каждые пять минут одно и то же слово: «Следующий».

Закон требует, чтобы каждый прошедший процедуру следствия, прежде чем получить срок, предстал перед прокурором. Закон есть совокупность правил и процедур, по которым надлежит творить беззаконие. Генеральный прокурор стоит на страже закона.

Тот, кого втолкнули в кабинет — увы, это был ты, — униженно лепетал о снисхождении, и величественный прокурор, не дослушав, продиктовал протокол ознакомления с делом.

Несколько лет спустя он сам был арестован и убит уголовниками на этапе, в стольпинском вагоне.

Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору мимо железных дверей, поворот, другой коридор, и лестница, огражденная сеткой, и опять коридоры. Яркий свет, тишину нарушают лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется, что во всем огромном здании вы единственная живая душа.

Остановились перед дверью с трехзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на двух помостах от двери до окна, посередине проход.

Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие: оно означает, что следствие закончено; осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор. Много месяцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух или трех сокамерников, не знаете, что творится на белом свете, с трудом представляете себе, какое время года на дворе. Вы разглядываете публику. Вам двадцать один год, у вас превосходное настроение.

Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток лет шестнадцати в щегольском пиджачке, француз с русским именем, которое он не умеет выговорить. После войны родителям-эмигрантам пришла в голову несчастная мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать назад в Париж. Измена Родине.

Наискосок от меня делает шаг вперед могучий старик в седой щетине. Одет во что-то неопишное: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов, на ногах тапочки. Говорит громоподобным басом с местечковым акцентом.

Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений. До революции в камере, как наша, содержалось человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол, единственная мебель, не считая нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании. За скромное вознаграждение посол предсказывает будущее при помощи шариков из хлебного мякиша.

Если когда-нибудь будет создана Общая Теория Гадания, она должна будет стать отраслью науки о языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть все, что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую он выдавал (он остался жив и много лет спустя выпустил свои мемуары). Вы могли узнать, сколько вам влепят, долго ли еще останется торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гадателя, когда околеет Сталин.

Можно проснуться от жизни, как пробуждаются от сна, и в самом деле время от времени как будто просыпаешься и протираешь глаза. Старость есть нечто неправдоподобное. Нужно потратить годы, чтобы удостовериться, что это правда, многим это так и не удается.

Страница из дневника Андре Жида:

«Оттого, что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст — это просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды — суфлер, и он поправляет меня шепотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актер, вхожу в образ и даже испытываю определенную гордость от того, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться в юность — да только вот костюма подходящего нет».

«Ерунда, — сказал старик Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своем новом поприще. — У этого бездаря нет ни тени фантазии. Типичный социалистический реализм. А мы живем в век сюрреализма. Запомните это, молодой человек...»

Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михозлсом и второй звездой театра, Зускиным, настала очередь и моего соседа по нарам. Правда, он не был столь известен. Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в антисоветской агитации, которая состояла в том, что

однажды он сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным, чем злодеяния Зускина и Михозэlsa; но у меня на этот счет есть своя теория, а именно, что мы все были виноваты независимо от того, что мы делали или говорили. Мы были виноваты, так как не бывает невинных там, где все следят друг за другом и подозревают друг друга. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить лучезарное будущее. Кратко говоря, мы были виноваты самим фактом своего существования.

Я спросил: что такое сюрреализм?

«Наша жизнь,— ответил он.— Искусство должно шагать в ногу с жизнью. Гадание — тоже своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так все знаю заранее...»

Семьи у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные дети — все разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в центре города, среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Цепкие руки втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от сердечного приступа — никто не заметит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он проедал, получая продукты из тюремного ларька. По правилам тюрьмы, деньги заключенного хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.

Увидев меня с книжкой, старик полюбопытствовал, что я читаю. Сам он прочел все на свете. «Евреи — народ книги,— объяснил он.— Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы станете старше, вы поймете, что я имею в виду».

Что стало со старым художником, куда он делся? Пережил ли он многодневный путь на край света в темной, до отказа набитой людьми клетке столыпинского вагона, разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их оригинальными. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа и приписывал ему свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может, он находил в этом утешение.

«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»

«Мы живем в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперед, лицом к далекому прошлому, к ханаанским предкам. Все, что для других,— будущее, мы уже пережили».

Голос сотрясает пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается, что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

Жил некогда человек, который хотел свою жизнь устроить по-божески и в ответ получил обещание, что Бог его не оставит. Под конец, достигнув преклонных лет, он спросил у Предвечного: можно ли удостовериться? В чем, спросили у него. В том, сказал человек, что ты в самом деле прошагал рядом со мной весь мой путь. И ему приснился сон, это была пустыня, и действительно, рядом с его собственными следами на песке виднелись следы двух других ног. И следы провожатого бок о бок с его следами уходили к горизонту. Как вдруг дорога пошла вверх и следы от ног провожатого исчезли. Следы одинокого путника поднимались по крутому склону. Потом стали спускаться, и опять рядом появилась вторая пара следов. Ты меня обманул! — вскричал старик.— Ты шел со мною, пока идти было легко. А когда путь становился труднее, когда надо было карабкаться вверх и я стал задыхаться, ты бросил меня на произвол судьбы, твоих следов больше не было рядом со мной.

И Голос ему ответил: «Это оттого, что я нес тебя».

## ДРОВОКОЛ

Приключения этих лет нельзя назвать иначе как прозой жизни; в том-то и состояла ее главная черта: жизнь всегда в порядке вещей, а эта — тем более. Слово «судьба» означает рутину. Так называемый несчастный случай на производстве, положим, случается не каждый день. Но считать его чем-то из ряда вон невозможно; он и не влек за собой никаких особых последствий, не считая смерти или увечья; если я говорю о милостивой судьбе, то знаю, что говорю. Я работал на электростанции, что имело свои преимущества. По крайней мере первое время, пока не начались симптомы сухого плеврита, я был доволен своим местом.

Мне не надо было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брел домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбужденными людьми, я приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в затылок и уши, нахлобучивал шапку и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой нас собиралось человек десять. Рабочий день в такое время года — а это был, помнится, декабрь — у бригадников выходил короче, так как съем с работы, по режимным соображениям, производился засветло, у бесконвойных же, наоборот, длиннее.

Высокие, украшенные выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили, предъявив пропуска, через проходную на крыльцо, с которого в дни авралов, в меховом шлеме и шинели до пят, обозревал свой народ светлейший князь, начальник лагпункта. Теперь же все кругом было мертво, и великая тишь небес распростерлась над зоной и поселком вольнонаемных. Один за другим мы сходили с крыльца; кто шел на теплode дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. Моя работа была недалеко. По тропке в снегу до угла, и там свернуть на дорогу, ведущую к станции. Справа поселок, а по другую сторону, пройдя шагов сто, можно было увидеть штабеля дров; на площадке, усыпанной щепками и корьем, стояли грубые козлы и вагонетка, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звезд, дыма густым белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в зоне, в бараках и на столбах, горел свет, ток подавался в поселок, казарму, пожарное депо, но все это, вместе взятое, составляло небольшой, даже ничтожный расход электроэнергии по сравнению с проволочными заграждениями и наружным осветительным кольцом. Все могло выйти из строя, но кольцо вокруг зоны не должно было померкнуть ни при какой погоде. Если бы заблудившийся летчик пролетел случайно над нашими дебрями, он увидел бы за горизонтом лесов, посреди заснеженных вырубок издали мерцающий, переливчатый, сияющий, точно иллюминация, венец огней и белые струи прожекторов, бьющие с угловых вышек.

Придя на место, первым делом я расчищал рельсы, сгребал снег со штабелей, бил обухом по смерзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звезд, в белесом дыме, без усталости грохоча, шел вперед без флагов и огней опущенный снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала десять фестметров березовых дров. На столбе под черной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке моя тень, махающая колуном. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довез ее до сарая, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом глянцевого кочегара, вися голый грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, стояло два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускло, когда топку загружали сырыми дровами.

Я — или тот, кто был мною в те годы. В тот единственный, бесконечный год, словно на Сатурне, где солнце кажется лиловой звездой. В то густое и вязкое, как смола, время, в те ночи и дни, когда в смутных известиях, носившихся, как радиоволны, из одного таежного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в репликах на пути в производственное оцепление, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что они-то именно и существуют, а больше никого не осталось; когда с горделивым удовлетворением, со злобной радостью убеждали себя, что паспорта повсеместно заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, которому нет конца, и никакого другого времени нет, и что даже в самой Москве на Спасской башне вместо стрелок висит чугунный обрубок и вечно кажется один и тот же год.

Когда рассказывали, повествовали, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат ему, что прибыл состав, груженный просьбами о помиловании, сейчас канают на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, а сзади ему подадут мел. И старичок-козлик, чтобы даром не тратить рабочее время, — мелом наискось, на каждом вагоне: ОТКАЗАТЬ, после чего состав с помиловками катит, откуда приехал. Когда рассказывали, распевали, словно северный бард, — сказание о Кухулине, как маршал со звездами на широких погонах, с животом горой и пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов напмили по всем лагерям. И великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счетам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и, откинувшись, словно художник перед картиной, щурясь от дыма, говорит:

«Мало! Пушай сидят».

Когда рассказывали, клялись, что доподлинно знают, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и, сложив ладони, точно перед ликом Спасителя, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто висящий над столом портрет ответил ему загадочной фразой:

«Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности».

Не расслышав как следует, любопытствующий повторил вопрос: правду ли болтают, что-де на воле никого уже не осталось?

На что великий всезнающий портрет, блеснув глазами леопарда, ухмыльнувшись половинкой усов, отвечал:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

...вывоз пустую вагонетку из сарая, гнев дежурного надзирателя на вахте меня не волновал. В конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, я побрел к штабелю с елкой, елка была посуше; выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала в моих руках, как пулемет, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, лампочка раскачивалась на столбе под черной тарелкой, колыхался желтый круг света. Покачавшись, свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звездами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы летели искры, валил дым. Очевидно, перегорела лампочка над площадкой.

В темноте я расхаживал вдоль расставленных полутораметровых плах. Ель — не береза, литые березовые дрова на морозе звенят и разлетаются, как орех, а елка пружинит. Это я советую запомнить каждому. Боль под лопаткой от начинающегося сухого плеврита мешала мне размахнуться как следует. Колун завяз в полене и ждал, когда я наклонюсь. И лампочка перегорела. И, когда я нагнулся, он вырвался из полурасщепленного полена, я получил удар обухом в лицо, какого никогда не получал, и с размаху полетел навзничь.

Надо бы поразмыслить над тем, что мы называем случаем; может быть, вся наша жизнь — несчастный случай.

Мы в России привыкли жить одним только сегодняшним днем, это не очень-то мудрое правило, а потому не считайте меня отставшим от жизни и не думайте, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Снег, друзья мои, дело

вечное. Пусть он в данный момент растаял, дайте срок — выпадет снова. Из снега все вышло, в снег и уйдет. И вода, что вы пьете, тот же снег; и не зря в Библии сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; но хотя бы и умер — что с того? Лагерное существование есть, по моему мнению, законный и нормальный способ существования русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба», как уже говорилось, на нашем языке означает обыкновенную жизнь. Мне, например, случалось знать людей, которые боялись конца срока, с тяжелым сердцем ждали освобождения, здесь, говорили они, у меня и место на нарах, и пайка каждый день. Здесь я всех знаю, а там? Что я там буду делать? Человек тоскует, сам того не сознавая, по лагерю, потому что лагерь у него в душе.

Как кромка леса на горизонте, лагерь стоит, никуда не денется. Лагерь ждет. И не заметишь, как сомкнется вокруг тебя этот лес, и друг обернется предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

Наклонись я чуть ниже лбом вместо носа, мы с вами бы не увиделись, почему я и считаю этот случай подарком судьбы. В темноте я сидел на снегу, выплевывал зубы. Горячие красные сопли текли, и свисали у меня из разбитого носа и рта, и стыли на морозе. Перемены в душе совершаются исподволь, а внешние обстоятельства — только повод, чтобы их осознать. Надо, чтобы судьба взяла тебя за шиворот и разок встряхнула. Кочегар заметил, что на площадке темно, и выглянул из барака. Я доплелся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырех дней, однако, не хватило и, помнится, пришлось с замотанной физиономией топтать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли трех совсем уже немощных. На станции дождались теплушек, так назывался поезд, за десять часов пересекавший по лагерной ветке все княжество.

Я поправился. То, что осталось от моего лица, — заслуга лагерного хирурга, говорят, бывшего академика. Перемены совершаются постепенно. Век живи, век учишься. Со сдвинутыми мозгами, в бабьем платке и ушанке, в рукавицах из мешковины, скрипя растоптанными рыжими валенками по снегу мимо тына и проволочных заграждений, мимо угловой вышки — со сдвинутыми, говорю я, но все же работающими мозгами, я уразумел кое-что. Об этом и хотел сказать, хоть и не знаю, стоило ли.



## В с е - в м е с т е

**Л**юди, прожившие на свете, так или иначе подводят итог жизни. Когда это случается в конце столетия, магия даты вводит личные итоги в сопоставление с итогами века. Регулярно век подбирает себе страну или нацию, чтобы именно на их судьбах поставить свое клеймо. Печать «XX век» отпечатаана на судьбе России и на судьбе евреев.

Единственная вещь на земле, которая не дает человеку забыть о человечестве, разорвать все человеческие связи,— это страдание. Оно приходит к каждому, в разной степени, но к каждому — к тому, кто любит и кто ненавидит, кто живет радостно и кто уныло, кто его терпит, кто хочет от него ускользнуть равно как к тому, кто его другим причиняет. «Ты можешь воздержаться от страдания мира,— писал Кафка,— ты получил свободное разрешение так сделать, это в соответствии с твоей природой, но, возможно, это самое воздерживание есть единственное страдание, которого ты мог избежать». Столько жизней в России и столько жизней евреев приняли — каждая — страдание в такой полноте, что эта страна и этот народ стали для современников и для мира содержанием и эмблемой всечеловеческого страдания. Отныне мир и современники свидетельствуют о себе, волей-неволей накладывая свою судьбу на их судьбы.

Анна Мария Карпи — миланка. Начиная с 70-х годов она публикует свои стихи и прозу в итальянских и европейских журналах, выпустила несколько книг поэзии, рассказов, переводов, два романа\*. В религиозной стране верующему часто легче потерять Бога, чем в атеистической. Когда законоучитель в школе говорит: «Дева Мария была самой красивой девушкой на земле, ну вот как Джина Лоллобриджида», — вера на долгие-долгие годы, если не навсегда, выжигается из души самых чистых школьников и школьниц. Взрослея, они ищут веру в Бога замену и находят коммунизм — земное воплощение справедливости, свободы, братства. Дома, в Италии, за него еще надо бороться, а в Москве его уже можно увидеть. Два десятилетия, три — и, о Боже, в этом прекрасном далеке та же кровь, нищета, страдание. В Европе Аушвиц, в Советском Союзе ГУЛАГ.

С этим надо жить. Уже нельзя обещать ни себе, ни другим еще одной веры или еще одной надежды. Подводя итоги прожитого, пусть не окончательные, Анна Мария Карпи пишет поэму «Все-вместе» — из жестких, сухих слов, из беспощадных наблюдений над собой, «углем по дегтю», говоря словами Ахматовой. Для названия она берет одно из ключевых понятий поэзии замечательного немецкого поэта Пауля Целана — *Mitsammen*; для эпиграфа — строчку Цветаевой: «Все поэты жида».

Мертвый Целан — единственный прямой собеседник автора поэмы. Родившийся в 1928 году в румынской Буковине, которую в 1940-м оккупировали советские войска, а через год немцы, он потерял родителей в концентрационном лагере, сам бежал, попал в лагерь к румынам, еще раз дождался прихода советской армии, в конце концов очутился в Париже, стал преподавателем немецкой литературы в Эколь Нормаль Сюдпьерор. В 1970 году, по-видимому не выдержав, как многие, неотступной мысли «я выжил, а они погибли», покончил с собой. Как за тридцать лет до того, в том же возрасте и словно в предвидении этой мысли — философ Вальтер Беньямин: он появляется в конце поэмы Карпи.

\* Среди книг Анны Марии Карпи сборник стихов «На смерть Талейрана» (1993), романы «Рассказ о радости и тумане» (1995) и «Навек останешься молодым» (1996), эссе о Томасе Манне, Генрихе фон Клейсте, Бенне, Целане, Рюмкорфе и др., переводы на итальянский Бена, Рильке, Энгенсбергера.

*Появляются в поэме узнаваемые персонажи и ландшафты поэзии Целана, например, его знаменитой «Фуги Смерти»; появляются ветхозаветный судья Иеффай, принесший в жертву собственную дочь, и Авраам, готовый сделать то же со своим сыном Исааком; и попавший в еврейский погром «малыш из Одессы» Исаак Бабель из рассказа «История моей голубятни»; и оставленное всеми Святое Семейство, с которого поэма начинается. Беспредельная и вневременная лагерная зона Сибири неодолимо проступает в ней сквозь флер советских туристических заповедников. В итальянских стихах начинают резонировать сожженные голоса многочисленных гетто и ледяные — мандельштамовского «Дня о пяти головах», ахматовского «Реквиема», колымских стихов Шаламова. Запад возвращает евреям и России то, что они до последнего звука отдали ему в уходящем веке.*

Анатолий НАЙМАН

### **Все-вместе\***

Все поэты жида.  
Марина Цветаева

Вдвоем они шли пешком  
к Вифлеему,  
Иосиф с женой Марией  
на перепись:  
одно у них было имя — странно  
иметь хоть что-то общее с другими,  
встречаться с ближними.

Горькая беременность —  
как мрачная трава обочин  
не осемененная.  
И никто не рвет ее,  
и, продвигаясь к вечеру,  
они думают о другом,  
в безмолвии, чуть позади  
других паломников.

До гостиницы далеко,  
так что не было для них ничего, не было  
ни вечера, ни праздника,  
ни голосов на привале.  
И здесь, как написано,  
исполнилось время рождения.  
Но он, старик, чувствовал лишь отвращение  
к тому, что выходит из тела, и отвел глаза:  
это, выговорил он, не мессия  
обетованный.

Ночь из камня, ночь,  
как любая другая, легкая тихость  
звезд над двумя одинокими фигурами,  
комета — легенда, волхвы — сон.

У евреев, сказал еврей  
Пауль Анцель, известный как Целан,  
нет глаз, нет природы,  
нет органов, кроме как речи.

\* Журнальный вариант.

Серая Сена, когда он шел там,  
 была просто точкой, мигом  
 (поскольку это не важно,  
 смерть — вещь незначительная),  
 так что и через лунные скалистые горы  
 Анцель еще идет на свиданье  
 с Богом — на его языке он зовется Никто.

Различимы считанные людские следы.  
 Возможно, свои собственные. От Никого  
 не осталось ни единого,  
 потому что его здесь нет и его не увидеть:  
 во все эти тысячелетия  
 когда, когда он хоть раз появлялся?  
 Но чем он невидней, здесь, где не растет ни былинки,  
 тем громче Анцель к нему взывает:  
 Никто, ты не можешь не быть здесь:  
 НЕТ на НЕТ, если язык есть язык,  
 то же, что ДА.

Анцель, ты называл это (не слово,  
 а говорение наше)  
 коркой: клятвопреступный язык,  
 красочные слухи  
 тех, кто приобретает неопытность.  
 Однако после всего ты пришел с нами туда, где ветер  
 от Киева до Батора разыгрывает из себя атамана.

Что до меня, никогда ни разу  
 не думала я о другом путешествии,  
 об отъезде без провожатых —  
 всегда есть время быть самим собой,  
 есть вся жизнь.  
 Там, где были другие, милые другие,  
 я тоже хотела быть,  
 я тоже — на той транссибирской —  
 потому что, я думаю,  
 где собирается столько,  
 что-то сделано будет против смерти.

И вот мы вместе.  
 Местечковые кляйзмеры тонко переплетают  
 флейту со скрипкой,  
 ноты со всего света пронзают сердце,  
 последний буковинец находит среди них свою.  
 Чего мы дождались?  
 Таинственна и поразительна эта диаспора.

---

Жили-были, жили  
 когда-то люди, вы думаете, и...  
 они вернутся?  
 Путешествие приостанавливается

по временам, спотыкается  
на Иване Грозном, на Магоге.  
В дальнем конце парка  
светится особняк имперского стиля,  
осень в Азии раздражается  
золотой желтизной  
иронии и заброшенности.  
Торгуют при входе в парк  
сувенирами,  
всегда есть кто-то, кто помнит,  
как всё стоило две копейки —  
и воздух полон веселым поддразниваньем.

Ветер сносит нас в кучу у входа,  
в безглазую дюну,  
жадно жующую и невидящую.  
Фонтан Солнце,  
Фонтан Шахматы —  
пляска воды,  
серебряные трели и струи —  
все это еще Петергоф или уже конец?  
Маленькая акробатка на Финском заливе,  
блудные дети Петра Великого:  
ах, как простодушно!  
*Плиз, гоу*, пошли,  
солнце садится, холодно.

Но в какие-то праздничные ночи  
нам выдаются марши, фанфары, народные песни,  
местечковый оркестрик просвистывает  
звуковую дорожку земли обетованной.  
Я хочу концерта на сто темпов,  
всё поддразниванье и надежду,  
и забыть о бедном Йорике,  
и, танцуя и подпевая,  
отправить на смерть все прочие тысячелетия.

---

Странность тел не насыщает меня:  
тысячу и одну ночь на них  
смотрела бы и о сне забывала.

И говорить о том  
больше бы не хотела:  
ведь каждый раз с кем-то другим.  
Говорят, разнообразие прекрасно,  
но это — головоломка,  
и тут мною овладевает  
яростное единобрачие.

Снежинки,  
даже ночью ведут передачу,  
даже ночью все остается ярким,

отпечатывает цветные слухи,  
иллюстрированный язык, образ,  
а ты ведь знаешь: образ — лжесвидетельство.

Вечером и ночью, ночь напролет  
праздник, принудительный свет, и все братья,  
и тем самым все  
в кают-компании добра и зла  
на этом опрокидывающемся земном Титанике.  
Но в глубь — дрожание. Во мраке глаз  
мерцание, жало:  
быть любимым.  
И изнывает флейта: подлинная радость — это ты,  
сердце другого.

О если б кто-нибудь, произносит скрипка,  
мною интересовался,  
ждал меня где-то,  
если бы кто-то один в целом мире, хоть один,  
был целиком для меня — не могу  
поверить, что нет такого.

Это потому что не существует  
я без ты без он без мы без вы без они.  
«Не падай духом, беби, увидимся скоро»,  
«раньше или позже», хихикает ветер  
из дымохода, «поздно, поздно...»  
Головешки слов,  
сажа в очаге после пламени — и ничего,  
ничего меня не убеждает,  
и то меня пожирает,  
что я не знаю, кто я.

---

Одни уходят дымом  
в белое германское небо —  
другие растворяются  
как младенцы в белизне комнатушки,  
третьи туманом,  
как старики в осенней аллее,  
редкие листья, редкие волосы.  
Пра- и просто родители  
не шевелятся больше.  
Но еще позируют — для нас: для портрета,  
который мог бы казаться живым и оставаться  
на столетия.

Причиняют ли они нам боль?  
О, не думаю:  
перед живой,  
испытанной, поблекшей, яркой, нежной кожей щек  
я не знаю, что сознаю,  
не знаю, что чувствую.

Меня изнуряет прерывистость знания,  
и непонимание их любовей,  
и гадание на их стуже,  
и неведение вовеки,  
кто мы были один для другого.

Сказать правду, я не понимаю,  
что это такое — то, что я вижу,  
я черно-белая сорока,  
кричащая «хочу» и «не хочу»  
и «хорошо» и «плохо» и «люблю» и «ненавижу» —  
или немею, и глаз мой дергается  
от страха.  
Детские вещи,  
ах, всё — ребячество до самой смерти,  
и нет больше времени.

---

Анцель, но ты-то никогда не был  
ребенком,  
и только на время  
таким был Исаак у Авраама  
или дитя Иеффая или малыш  
Исаак в Одессе,  
бритый синеватый череп,  
растоптанная во дворе скрипка,  
две распотрошенные в погроме  
голубки.  
Нет времени быть ребенком —  
в нашей святой истории.

Я всегда жадна до диалогов,  
но если дам себе разойтись,  
то знаю, что заговорю невыносимым языком.  
Пусть говорят они —  
как лопающиеся пузыри земли,  
клокотание на поверхности.

А еще я жадна до глаз —  
эльфов, принцев, троллей, сильфид.  
Я не еврейка, Анцель,  
я не за правду,  
я  
дочь моего дня на пути  
с востока на запад,  
я конкистадор.

---

Как в древней Эдде: *хейль дагр! хейлиг дагс сенир*,  
благословен будь ты, день, и вы, дети дня,  
и вы, дети заката,  
вам вольные клики в воздухе,  
вблизи и вдали,  
вам, существа без балласта,

с острым зрением, вам, стрелы в мир,  
а потом прочь, прочь во тьму ночи,  
к невидимым колыбелям,  
но ночь — это мгновение, сон на краткий миг  
и сразу заря  
и годовщина солнца.

Я та, кто проклята в сказках.  
О Счастливом Принце моя любимая сказка,  
никто не знает, когда он жил,  
его статуя глядит на город.  
Руки на эфесе,  
рот из камня,  
два сапфира вместо глаз,  
с незапамятного времени  
он взирает сверху и не понимает —  
этот сын короля, умерший юным,—  
чего эти люди теперь хотят,  
эти люди из плоти, но иного зренья у него нет,  
у бесресничного,  
ни другой радости, кроме них.

У нас (кто знает — подтвердите) сто лет назад  
язык ушел от вещей.  
«Вещи, беби? ты шутишь?»  
Реальность кончилась, у нас есть знаки,  
знаки света — как Млечный Путь,  
у которого нет прежде или потом или почему.  
А почему тогда почему? Лишь промельк,  
беглый взгляд.  
Всё для всех, только не трогай,  
не сны, а знаки, нет больше сна, *майн кинд*.

Но в это, Анцель, я не могу поверить.  
Проклятье, что я не еврейка:  
молюсь со сложенными руками  
молитвой гавани бенъяминовского самоубийства:  
«сама природа преграждается  
языком немым и безымянным,  
остатком от творящего слова,  
а слово сохраняется  
в человеке  
как узнающее себя имя».

А ты, Анцель,— ты правда веришь  
что Никто делает снова всё новым,  
ты чувствуешь форму, дыханье  
песка, льда, кристалла,  
ты произносишь «*Цельт-ворт*»,  
СЛОВО-ШАТЕР,  
и этот сводчатый дом,

действительно изгибается над нами  
понемногу и навсегда?  
Ты произносишь «*Мит-сам-мен*»,  
ОДИН-С-ДРУГИМ —  
и правда: все вместе.  
Но на что похожи толпы,  
на снег неисписанной бумаги,  
ни знаки, ни глаза,  
неразборчиво —  
ах, как можно без умирания стать неразборчивым?  
Сдутые ветром в шатер,  
под полог этой грубой юрты,  
Боже, что нужно нам делать?  
Ах, как можно стать безмолвием без умирания?

*Перевод с итальянского  
Анатолия НАЙМАНА*



## Р а с с к а з ы

### ВОЙНА

**В** белом и снежном я прогуливал своего черного пуделя по Угловому переулку под окнами пятиэтажки, я там гуляю обычно, как, впрочем, и в других местах наших московских задворок. Кто-то изнутри сердито постучал в утреннее стекло. Я остановился. Старуха, приблизив к раме злое пергаментное лицо, грозила мне длинным пальцем. Я понял: уводи, мол, свою дрянную псину, чтоб не смела присаживаться и засирать чистый снег перед моим окном. И что ее так раздражало, сама небось ходит в туалет — и ничего, никто ей не грозит.

Я не стал препираться, но тоже погрозил ей пальцем: смотри, мол, не помри случайно от злости.

Она погрозила мне сухим кулаком, какая наглость.

Я показал ей свой увесистый, у меня рука тяжелая.

Она позвала на помощь домашних.

У меня тоже — молодые соседи.

Она мобилизовала свой подъезд, недаром все по вечерам рядком на лавочке сидят. И молодежь тут же, возле уличного автомата, толпится.

Я, в свою очередь, призвал рядовых и офицеров запаса — весь наш дом загудел и поднялся.

Она, ну и вредная старуха, развернула по переулку танки и самоходки. Следом пошла пехота.

Я встретил ее минометами и противотанковыми пушками.

На обеденном столе моем развернута карта-трехверстка. То и дело в передней появляются порученцы. В углу кухни тяжело сидит автоматчик на табурете. Отдыхает. Моя квартира превратилась в штаб, окна наполовину заложены мешками с песком. Кругом — руины. Бедный мой пудель подорвался на mine. Хоронить было нечего — начисто разнесло. И в окно больше никто не грозит. Говорят, после одного из ночных обстрелов собрала злая старуха свои нехитрые пожитки и ушла по Ярославскому шоссе в деревню. Честно говоря, все недоумевают, как и по какому случаю началась эта тяжелая затяжная война между Новослободской улицей и Порядковым переулком.

### ЧЕЛОВЕК ПОМОЙКИ

Смуглый, загоревший не под нашим солнцем высокий сутуло склонился над зеленым баком. Палкой с гвоздем — старинным орудием мусорщика — он перебирал выброшенное жильцами. Что-то нашел, подцепил на гвоздь то ли пиджачок, то ли юбку. Поднял и долго рассматривал. Нет, не пригодится. Сбросил обратно. Лицо очень серьезно: черные усы, брови углом, резкие складки, я бы сказал, лицо война.

Вынесли из квартиры наверху хорошо увязанные стопки синих томиков (сочинения Ленина — Сталина), картину, какой-то пейзаж тридцатых типа «жить стало лучше, жить стало веселей!» в хорошей золоченой раме и поставили рядом с баками. Головы не повернул, будто бы даже внимания не обратил

«Хорошая рама, — подумал я. — Может пригодиться». И решил рассмотреть поближе. «Надо бы эту раму забрать». Подошел и хотел было

отнести ее домой. Стоп — вплотную перегородила решительная рука с красною пястью. Рука воина. Да еще палка с гвоздем — шлагбаум.

— Все мое,— сказал человек помойки твердым голосом, глядя в пространство.

Разом все во мне вскипело. Ведь это ничье. Ведь это выбросили. Но делать нечего. Не драться же с ним. Постоял, посмотрел на него в упор: «Нахальный нищий!» Нет, шлагбаум не поднимается. Ерунда какая-то. Да и не хотел я эту раму. Просто шел мимо. Вот, смятый бумажный платок в бак бросил. Пират усмехнулся.

И тут увидел я, как ворона низко кинулась к алому ошметку на снегу да не успела, другая на лету перехватила. Первая поспешно отскочила, посмотрела искоса — и пошла по заледеневшим кочкам, переваливаясь по-бабы. Вроде бы ни при чем.

Шел домой и думал: «Чего там! Оба мы — люди помойки».

### **«МАКСИМ ГОРЬКИЙ»**

Я видел это. В широком окне солидно гудел восьмимоторный гигант. Он был виден весь, как потом я его нарисовал в своем школьном альбоме: широкие обрубленные крылья и такой же хвост. И целых восемь моторов, видно было, что очень большой. Рядом кувырчался маленький толстый, как младенец, истребитель.

— Смотри, «Максим Горький»!

Вдруг небесный ребенок неуловимым движением коснулся огромной матки, и та стала разваливаться в воздухе прямо у нас на глазах. Я видел это. Это произошло просто, как фокус.

Когда мы прибежали к краю Серебряного бора, туда уже подъезжали милиция и пожарные. Свежий ветер несчастья дул над поселком. Всюду были разбросаны блестящие алюминиевые детали самой причудливой формы, куски кожи, ткани. Угадать их предназначение было непросто. Валялись также обломанные сучья, хвоя. На стволе косо́й сосны — свежий прочерк по белому мясу.

Наверху, в кронах, среди веток, темнели, раскачивались, как вороны гнезда, какие-то застрявшие обломки, обрывки, может быть, тела погибших. Я боялся разглядывать внимательней.

Я видел ребят постарше и моих сверстников: все куда-то бежали, перескакивали через изгороди, пробирались между растерянными красноармейцами. Азарт и тревожное ощущение праздника. С этим можно только сравнить утро после первой бомбежки.

Многие мальчишки хватали что под руку попадет. Я поднял какой-то прибор: катушку, обмотанную медным проводом.

— Положи это, мальчик! — остановил меня милиционер: синяя форма, серое лицо... Жаль, не успел спрятать катушку.

В лесопарке рассредоточивалось оцепление. Вверху на зеленом заборе висел рваный пиджак, забрызганный кровью. Я запоздало испугался. Все-таки это было слишком яркое пятно. И где-то там в глубине, среди кустов и деревьев, было столько заманчивых предметов, упавших прямо с неба.

В канаве — не понял. Это была рука в кожаной перчатке. Наверно, кого-то из экипажа. Я поспешно отвернулся, даже пошел куда-то вслепую.

Все равно я знал, что хотел найти, не признаваясь себе, мы все искали это. Очки-крабы. Можно было их сдвинуть вверх на шлем и победно озирать воздушный океан. Как Валерий Чкалов.

Ночью мне приснилась не рука в кожаной перчатке, а летные очки-крабы, которые мне протянул с экрана кто-то, удивительно похожий на кого-то, которого я всегда знал и любил.

### **КАК Я СТАЛ СТАРО-КАШИРСКИМ ШОССЕ**

Я смотрел в заднее стекло автобуса. Шоссе бесконечно убегало назад двумя темными дорожками, проплавленными в ледяной корке. Ехал ли я к приятелю или еще зачем-то, теперь уже и не помню, в этой части Москвы я еще

не бывал. Нет, не соглашусь с тем, что это Москва. Какой-то провинциальный город. Средняя полоса.

От остановки я шел наискосок через пустынный сквер по тропинке в снегу. На пути стоял пьяный мужик с ломом, видимо, дворник, царапнул меня белесым глазом. И усмехнулся. Сказал что-то насмешливое, теперь-то я понимаю, что неспроста. Но я проществовал дальше между голыми прутьями и стволами. Почти наугад.

Старо-Каширское шоссе. Где оно, дом 9? По Каширскому шоссе я сюда приехал, оно осталось позади вместе с закатными новостройками. А Старо-Каширское, интуитивно я чувствовал, в стороне — наискосок. И ведет оно, конечно, до самой Каширы. А деревянная Кашира стоит на берегу давно обмелевшей Оки, да она еще в прошлом веке осталась вместе с яблоневыми садами, добродушными обывателями и осенней ярмаркой. Так что отсюда до нее никаким автобусом уже не доберешься. Многое, я вам скажу, изменилось. Но время осталось — перекуроченное, как везде в России: где тощим пластом лежит, где — обрыв, а где всё и вся перемешалось, не разберешь.

Фраза такая вполне литературная, советская, неизменно откуда прибилась: «По Старо-Каширскому шоссе шли тяжелые КамАЗы». А теперь я двигался, оскользаясь, мимо странных временных построек в основном тридцатых годов: не то склады, не то трехэтажные бараки.

Домов под номером 9 целая улица — корпусов двадцать. Они все испуганно глазели на меня рядами трехстворчатых широких окон, довоенных еще. Я шел и рассматривал все эти девятки. Одна была кубических форм, архитектор явно любил Малевича. Но стараясь не показать этого полуграмотному подозрительному начальству, пристроил с обеих сторон две нелепые квадратные башенки. Другое здание похоже на школу и такое облупленное и осыпавшееся от старости, явно в нем давно уже была не школа, а какие-то мастерские. Длинные окна светились белыми полосами неона, и, слышно, там работали станки. Рядом такое же, но оттуда высыпала целая толпа учащихся, а на плоском фасаде — множество разных вывесок золотыми буквами.

Я сам когда-то учился в полиграфическом техникуме. Я мысленно открыл тугую дверь, которая, не успев войти, ударила, вытолкнула меня в коридор: стены до того синие, масляные, что почти зеленые, фанерные стенды и деревянные бороды классиков.

Двери аудиторий приоткрывались: мы входили, выходили, вываливались. Шум гулко раскатывался по этажам, как в бане. Я ощутил себя этой разногласицей.

Незаметно я проникся внутренним теплом этих строений, во мне что-то текло, журчало, разговаривали кишки или водопроводные трубы — непонятно. Двигаться было все тяжелее, невозможнее. На башмаках — будто по штабелю кирпича. Наконец я поднял одну руку и не смог ее опустить, бетонные ноги выросли в пол.

Понимаете, я стал этим старинным наивным зданием (бывает же такое!), даже пристройками, сверху донизу во мне ходили, сидели за письменными столами всякие люди, самые разные, я был набит шкафами и бумагами. Признаюсь, если бы с самим не случилось, ни за что бы не поверил. Слушая голоса, шумы, я содрогался всеми своими лестничными площадками. В моих сырых подвалах из проржавевших труб то там, то тут бил пар и деловито шмыгали рыжие крысы. В разных комнатах и кабинетах тикали часы, светились экраны. В одном, запертом изнутри на ключ, немолодой начальник деловито насиловал юную секретаршу на письменном столе. Высоко над ними торчали ее белые колени. Рядом надрывно заливался кремевой телефон. Я жил все полнее, все протяженнее.

Солнце, фонари и звезды, сменяя друг друга, мелькали в моих окнах — и все дробилось, как во взоре насекомого.

Потом я вытянулся вдоль. И пошли КамАЗы, КамАЗы. Широкие шины крутились и прыгали на моей груди. Камешки и ледышки прицельно летели из-под колес. Мне стало привычно горячо от многотонной ноши. И я побежал, побежал назад влажными черными дорожками, плавким гудроном. Так я стал Старо-Каширским шоссе. А ведь знаю, ехал и шел сюда на край Москвы совсем за другим. За чем, теперь не упомню. Да и важно ли это, когда тяжелые машины, покрытые брезентом, идут по тебе всю ночь к бледной полоске горизонта.

## БОЯЗЛИВЫЙ

Седой небритый мужичонка всю жизнь боялся чего-то. Боялся говорить, думать, читать. Боялся показать вид, что боится чего-то. Поэтому на той войне не раз был отмечен и награжден медалью «За отвагу». Потому и женился, что сильно испугался в свое время решительной и костистой девушки-женщины. И, представьте, двадцать с лишним лет как у щуки под водой живет.

Вон он, в метро выглядывает из-за колонны: то ли поджидает, то ли опасается, что встретит кого-то. Глянул я, незнакомый ему прохожий, и странен мне он показался в своей робкой обыденности и обыкновенности, седой, небритый, с цветной орденской планкой — пух на пиджаке. Где-то спал, не дома. С таким же ветераном, видно, засиделся и остался на раскладушке. И кого он ждет? Или просто домой идти боится?

«А помнишь, в Германии длинная фрау с кудельками все русских зольдатиков хвалила?»

«Все к ней ночью ходили, задница шире кровати».

«А я не ходил».

«Не может быть!»

«Затащила однажды».

«А ты?»

«Смешно. Вырвался и убежал».

Он всегда себя чувствовал полугородским довоенным парнишкой. В Москве все над ним начальники. Работал в милиции. Задержанных, особенно пьяных, бил сразу и крепко. Боялся, что в отделении смеяться над ним будут. Ударит и шейей дергает — назад отклоняется. Пугается, что ответит избиваемый. За двадцать лет никто не ответил. Все равно боялся, привычка...

В следующий раз я увидел боязливого, когда его хоронили. Как такого не узнать! Лежит под цветами, съезился, непривычно остроносенький, совсем ребенок. Руки сложил и плечи втянул, боится, видно, и к доскам гроба, и к торчащим оттуда гвоздям, и к цветам — бездушным жестким гвоздикам — прикоснуться.

Сама смерть при виде его ослабилась. «Грех так жизни бояться! Лучше уж вообще не жить». Наклонилась над гробом, как затрещит костью — рукой, всеми узлами-суставами. «Р-русский раб! Тр-р-рус!»

Так испугался, так обиделся за нацию, что воскрес. Можете не поверить, но в новой жизни не боится никого и ничего. Выпрямился. Развелся с женой. Разъехался через пару недель. Какой-то отчаянный стал. Завел себе молодую толстушку. Всегда чисто выбрит. Охранником в банке. Невысокий вроде, впалощёк. Но бьет по-прежнему: сразу и крепко. В кровь. И шейей не дергает.

## ПОЛЕ ЧУДЕС

Вот так. Ожидаешь одного, а случается другое. Житейская мудрость на все времена. Решили у нас в подъезде железную дверь поставить на черном ходу. А то долго ли до беды! На чердаке бомжи обжились. На площадках захожие мужики толпятся, водку, портвейн распивают. Студенты со своими подружками к горячим батареям прижимаются. Цыганки парами по лестницам шастают, в квартиры звонят. Чего-то не то просят, не то требуют. Воды, говорят, глоток. Откроешь, мигом проскользнут в комнаты, как пить дать обчистят. В глазок двери посмотришь, так и вовсе незнакомые лица вблизи вытягиваются, глаза выпучены по-рыбьи. Страшно стало жить в пятом подъезде.

Ходил по квартирам тучный седой жилец сверху, с шестого этажа, скинуться на железную дверь предлагал. Самому ему подвал принадлежал, вот и беспокоился больше всех. Хотя чего волноваться, над его дверью два электронных глаза под козырьком двигаются. Все внутрь квартиры на экран монитора передают. Цыганки? Пожалуйста, и черные косы из-под платка, и серьги фальшивого серебра, и глазички бесстыжие... Не отопрем!

На экране черные кители и красные погоны — мальчишеские лица и девичьи — голубые и розовые дымки — танцуют вальс. Но это на другом экране. Финал телевизионной игры «Поле чудес».

С утра я гулял во дворе с черным кокером. Погода была — все таяло и

текло. В арку дома стал пробовать въехать автобус. Наконец он сделал это и развернулся в луже. И рабочий изнутри крикнул: «Где пятый подъезд?»

— Вот он, — показал я. — Что, дверь привезли?

— Какую дверь? — удивился он. — Гроб.

Я увидел: внутри салона — обшитый красной блестящей материей с рюшечками действительно гроб. Кто-то умер у нас в подъезде. Оказывается, жена тучного седого с шестого этажа. Скоропостижно, а я ведь еще накануне в лифте с ними обоими поднимался. Вот так, хлопотал сосед, по этажам ходил. Ожидали дверь, а привезли гроб. Дверь нам совсем в другой день привезли. И поставили железную.

Надежная защита. Может, теперь и умирать не будем?

Еще деталь — в то утро увидел мой черный кокер крышку гроба, прислоненную у дверей снаружи, подбежал, понюхал и поднял ногу, еле успел его отогнать.

### ФЛЕЙТОЧКА

Музыка. Играет музыка во многих головах. Такой веселенький мотивчик. Кто его слышит, запросто убить может.

Подмывает флейточка.

— Как убил? С чего началось? Вспомните детально. Она же вам близкий человек. Расскажите. Все по порядку. Не торопитесь.

Молодое лицо, не промыл утром, не расчесал волосы как следует — сальными клоками лежат на бугристом красноватом лбу. Ближе лучше не разглядывать. Следовательно.

А ты сидишь по другую сторону стола — заранее виноватый. И внутри эдаким гвоздиком сверлит, пронзительным радиопищиком, нарастая невыносимо, — схватить сейчас ониковый кубик-пресс — и в лоб! Может быть, легче станет. Ведь смолкла же она тогда.

### ПАЧКА «БЕЛОМОРА»

Люблю я спускаться в метро. Какой-то присущий ему запах, и дует из тоннеля по-особенному. Свежестью — или мне кажется? Не знаю, замечал ли кто: поезд приближается, как торнадо. Сначала содрогание рельсов и далекий подземный гул, затем из черной дыры сильно ударит воздух, и, наконец, «два ярких глаза набегающих».

На разных линиях и даже на отдельных станциях пассажиры, вырастая до многоголовой толпы или истаивая до редких притулившись в углу, имеют различную окраску. С вокзалов текут дачные, областные, провинциальные потоки, а то просто деревня с мешками, полосатыми тюками ввалится — и поезд полон через край, причем все толкаются немилосердно, верно, от испуга и непривычки, и все куда-то едут, в одну сторону и далеко.

На иное лицо — женское — приятно смотреть. Да я не приглядываюсь. Люди, заполняющие вагон — сидящие, стоящие, — часто имеют одну физиономию, ярко выраженную. И пахнет одна толпа французскими духами, другая — коровником. А солдаты — паленым сукном и солидолом (такой густой мазью для кирзы).

Но и по времени, начиная с раннего утра, течет разная человечья начинка. Это вам любой работник на эскалаторе скажет.

Я обычно езжу на работу, когда вокруг — служащие, учащиеся, военные. И в этот раз не то чтобы тесно стояли, но, в общем, все было занято.

Первое, что заметил, была смятая пачка «Беломора», брошенная на полу вагона. Сейчас редко кто курит папиросы «Беломорканал», наша бывшая домработница, например. Но ей уже под девяносто, во всяком случае, восемьдесят с длинным хвостиком.

И вот вижу яснее ясно: у задних дверей неподалеку двое лежат, в черных драных ватниках, вытянув ноги в рабочих разбитых бусах такими култышками, и пол под ними мокрый, черный, как будто из какого-то давнего времени проявился, как в котельной. И освещение: полутемно в вагоне — это бывает, а над этими двумя мерещится скудный синеватый свет откуда-то сверху — странная

картина в движущемся вагоне. Бомжи? Нищие? Не похоже. Не принадлежат они этому времени — и всё.

Один лежит навзничь, под седеющую, по-тюремному остриженную голову подложена засаленная котомка. Глаза закрыты, виски впалые, видно, что без сознания, дышит редко, с хрипом, время от времени стонет, мычит от боли. Левая рука произвольно двигается от живота к виску — и обратно, дергается, как у кузнечика. Жалкая нелепость.

— Арсений! — зовет его сокамерник, склоняясь над ним. — Арсений!.. Врача! — вдруг закричал он. — Человек умирает! Врача, сволочи! У него же кровоизлияние! Старшина! Хотя бы воды...

С трудом поднялся молодой зека и с необычайной энергией стал колотить обеими руками в обшиту железом дверь, которая нарисовалась и уплотнилась в середине вагона. Поезд, как нарочно, застучал громче, громче, заметно прибавил хода в тоннеле.

Публика с другой стороны призрачной двери ничего не слышала, двое неторопливо переговаривались, за окнами гудело и брякало, но пожилая дама в давно вышедшем из моды каракуле и шапочке пирожком как будто что-то услышала. Она стала озираться и быстро-быстро спрашивать — ни у кого в частности:

— Что случилось? Кому-то нехорошо? Кому? Где? Что? Товарищи, обратите внимание...

Окружающие равнодушно и неодобрительно отворачивались. Пожилая дама густо покраснела и двинулась к выходу.

Седой, лежащий на полу камеры, постепенно затих и вдруг внятно проговорил, как продекламировал в наступившей для него гулкой тишине:

— И давно мечтаю о себе... О веселом маленьком кадете... Ездившем в Лефортово на «Б»...

— Аркадий, это я, Иннокентий... Помните? Мы еще в Харбине через улицу жили, Иннокентий — брат Сони, помните меня? — лихорадочно бормотал молодой.

Глаза седого были закрыты. Тихо и раздельно он продолжал:

— В мой родной Второй кадетский, помню, ездил с Арбата еще на конке по Покровке. Вот — Константиновский Межевой институт, Елизаветинский женский, по мосту через Язу и, наконец, здания Первого кадетского корпуса...

Внезапно умирающий дернул головой, из уголка рта потекла черная струйка крови — затих. И сразу стал, как мешок с песком на полу вагона. Заскрежетал засов отпираемой двери, и показалась лохматая голова солдата. Со сна он потирал смятую щеку.

— Держи. — Сквозь полуоткрытую дверь протянул алюминиевую кружку, из почернелой плеснулась вода. — Господи, да он вроде кончился... Что ж ты раньше молчал?.. Старшине доложить... — И солдат испуганно перекрестился.

Вагон слегка покачивало. Там, далеко — не достать, в углу вагона, не обращая внимания на всех нас, вообще призраков из другой эпохи, толпящихся вокруг и думающих о своем, двое — солдат и заключенный — в растерянности стояли над покойником. Рядом на полу по-прежнему белела мятая пачка «Беломора». И было так еще далеко до конца века, до всей этой смуты, деловитости, развязности, пошлости и вольности.

Поезд подходил к станции. Пассажиры, переступая через мертвого (так, во всяком случае, мне казалось), спешили на свет белого мрамора. И мне надо было выходить. Я обогнул стоящего зека и, сам не знаю зачем, поднял с пола пустую затаптанную пачку.

— Вы сейчас выходите? — спросил какого-то военного впереди.

С перрона смотрел, как двинулись, замелькали окна. И поезд быстро увез в черную дыру мою другую реальность или больное воображение, это уж как хотите. Какая-то щемящая сердце линия пролегла сквозь все эти годы, сквозь Россию, весь век — насквозь. И маленький кадетик там, наверху, все едет с Арбата на конке — через Тверской по Страстному и выше, через Рождественский бульвар... и дальше, дальше к Сретенке, к Чистым прудам...

Черные липы почти облетели. Размахнув вертушкой-калиткой в ограде литого орнамента с орлами, ветер погнал вороха розовой и лимонной листвы, скользко проблескивают рельсы. ОСТОРОЖНО ЮЗ.

# Абсолютно гениальный рассказ

Однажды после завтрака в столовой переделкинского Дома творчества писателей ко мне подошел Рейн и, приблизив свое лицо почти вплотную к моему, объявил:

— Сегодня я написал абсолютно гениальный рассказ. С шести до десяти утра. Пойдем погуляем. Нет, сначала выпьем кофе.

Он был непререкаемо категоричен во всем — от «абсолютно гениальный» до «выпьем кофе». Я подчинилась, и вот уже часа три мы сидим на огромной лоджии в моем номере, пьем кофе, и он рассказывает невероятные истории о своих встречах с самыми знаменитыми людьми планеты в самых неправдоподобных обстоятельствах. Он говорит с яростным напором и сокрушительной убежденностью, а едва уловив тень сомнения, пробежавшую по лицу собеседника, впивается в него своими черными, пылающими неистовой страстью глазами и говорит медленно и внушительно, как гипнотизер:

— Это правда. Я точно знаю.

Попробуй возрази.

Впрочем, возражать и не хочется.

Он азартный и неутомимый рассказчик, монологист, впечатление такое, что собеседник ему вовсе не нужен. Только слушатель, причем из первого ряда партера, чтобы иметь с ним контакт накоротке.

Сидя на лоджии, он громко и отчетливо, чуть излишне громко — может быть, в расчете на случайного слушателя, рассказывает одну за другой новеллы из своей жизни, из жизни сильных и великих мира сего. Один случайный слушатель объявился тут же. Это была моя соседка по балкону, журналистка, женщина странная и нервическая. Подойдя к тонкой перегородке, разделяющей наши владения, она визгливо прокричала: «Безобразие! Ни поработать, ни отдохнуть не дают!» Видно, ей хотелось еще что-то сказать, но ничего более внушительного она не придумала и взвизгнула еще раз: «Безобразие!» Но и после этого не ушла и в узкую щель между кирпичной стеной и перегородкой поблескивал ее круглый голый живот, своей белизной оттеняющий голубоватые трусы и розовый лифчик — она была одета совсем по-домашнему.

Рейн слегка повернул голову в ту сторону, откуда раздался голос, и на сей раз тихо, но внятно произнес: «Молчать!» И невозмутимо продолжил свой рассказ. Соседка исчезла и больше ни разу не появилась, хотя Рейн сживал на моем балконе ежедневно по несколько часов и говорил, говорил...

Однажды он пришел с сумкой, вынул оттуда большую конторскую тетрадь в клеточку и сказал: «Я сейчас прочитаю тебе свои новые рассказы». Не спросил, можно ли, а объявил номер и стал читать — громко, что называется, «с выражением». Чтение явно доставляло ему удовольствие. Он смеялся в тех местах, где было смешно, не потому, что нужно было смеяться, — ему было смешно на самом деле. Я тоже смеялась, не потому, что он пристально следил за мной, —

мне тоже было смешно. Потом он читал только что написанные стихи, прочитав, с особым наслаждением повторял отдельные строки. Он был откровенно доволен собой и мне он нравился тоже.

Все тексты — и проза, и стихи — были аккуратно, почти без помарок написаны ручкой в тетрадке. Почему-то это меня очень растрогало — обыкновенной ручкой в обыкновенной тетрадке. Я тоже так пишу — ручкой в общей школьной тетради в клеточку и тоже без помарок, если «пошло», если мы с текстом нашли друг друга. Оказалось, что Рейн переписывает тексты, то, что я увидела, — это чистовик. Но все равно — переписывает ручкой в тетрадку, а не в компьютер. Родная душа. Хотя компьютер у него есть, а у меня нет и, судя по некоторым признакам, не предвидится.

Компьютер он купил много лет назад в Америке, где заработал чтением лекций двадцать четыре тысячи долларов. Его делами занимался тогда Бродский, что и обусловило повышенные гонорары. Три тысячи долларов он потратил на компьютер, еще пару тысяч — на шесть (или шестнадцать) костюмов и тридцать (или сорок) кашемировых джемперов и пуловеров, которые по сей день загромождают его гардероб. Не придумав, на что еще израсходовать деньги, он привез их на родину, где тут же случилась резкая инфляция и все, не потраченное за океаном, пропало.

Я это знаю точно, от самого Рейна.

Впрочем, знаю не я одна. Во-первых, он наверняка многим рассказал эту печальную историю. Во-вторых, не следует забывать о случайном слушателе, об эхе, резонансе, молве и прочих сопутствующих Рейну явлениях.

Одним из случайных слушателей в те переделкинские дни оказался Женя Бунимович. Чтобы объяснить эффект, произведенный Рейном на Бунимовича, нужно упомянуть об архитектурных особенностях «нового» корпуса, в котором мы все жили, — номера расположены на пяти уровнях-полуэтажах в четырех подъездах. Рейн жил в первом, я — в третьем, а Бунимович — в четвертом подъезде. И окна наших с Бунимовичем номеров выходили на противоположную рейнову сторону. Тем не менее однажды Бунимович, сидя за своим письменным столом, услышал голос Рейна. Тот читал стихи и прозу, каждое слово доносилось столь явственно, будто Рейн пришел к Бунимовичу в гости или голос его струился прямо из ночного эфира. Надо сказать, что манию преследования Рейном переживали в то лето многие обитатели Переделкина — его голос слышался им даже в те дни, когда было достоверно известно, что он уехал в Москву. Еще немного — и феномен Рейна (или загадка Рейна) был бы причислен (а может быть, и был причислен) к ряду уже почти канонизированных аномалий «нового» корпуса, среди которых не последнее место занимают галлюцинации, сны наяву, странные видения, перемежающиеся бессонницей. Благодаря Рейну признать всю эту метафизику готов был, кажется, даже Бунимович (я поняла это по его взгляду), но мне пришлось вернуть его на землю признанием, что Рейн в тот вечер читал на моем балконе. Однако мне показалось, что какое-то сомнение Женя все-таки затаил.

В конечном счете случайным слушателем оказывался каждый, кто попадал в радиус распространения звуковой волны, несущей голос Рейна. Он не говорил, он выкрикивал каждое слово, как бы подчеркивая тем самым значимость, или значительность, любой мелочи, любой детали. Превосходные степени преобладали. Речь шла только о самом богатом на планете, о самом великом, гениальном, выдающемся, красивом, умном, образованном — ученом, музыканте, аферисте, поэте, шлюхе, кинозвезде (мужчине или женщине), архитекторе, зеке, чекисте. Костюм ему шил гениальный портной, зубы лечил великий стоматолог. А если о себе, то — «Я лучше всех в мире знаю русскую поэзию, я ее читаю с шести лет, ежедневно». Ну, это и понятно: Рейн же. Но: «Я был первым щеголем обеих столиц, я в моде понимаю все... Я самый главный петербурговед в мире, я могу ответить на любой вопрос о Петербурге... Я смотрел все выдаю-

щиеся фильмы мирового кинематографа... Я лучший знаток кулинарии...» И так далее.

Ему было скучно в Переделкине. Его мощный темперамент не вписывался в монотонный уклад переделкинской жизни с четким расписанием завтраков, обедов и ужинов, с посиделками на скамеечках, с тихими, неспешными интеллектуальными беседами, с медленным дефилированием по тенистым аллеям — пять минут в одну сторону, к заросшему тиной пруду, пять минут — в другую, к колоннаде старого корпуса. Наверное, он чувствовал себя гепардом, загнанным в вольер, ему нужны были воля, простор, бесконечность.

Он совершал ежедневные и ежевечерние набеги на ближайшие писательские дачи, навещал друзей и все говорил, говорил. Иногда я ходила с ним и слушала повторы сюжетов, которые он щедро разбрасывал направо и налево, ничуть не заботясь о защите своего авторского права. Частенько я ловила его на несоответствии деталей, но новая подробность так эффектно вписывалась в контекст повествования, что уличать его не хотелось. Какая разница — десять или пятнадцать рублей стоил в семидесятые годы один больничный день писателя. И какое, в сущности, имеет для всех нас значение — двести или триста тысяч долларов стоила белая соболиная шуба самой богатой женщины Америки, которую (шубу) Рейн и Довлатов однажды чуть не украли.

Главное — не украли и нам не придется никогда краснеть за дорогих нашему сердцу литераторов. А может быть, осмелюсь предположить, не было никакой шубы, и никогда не целовал Евгений Рейн левую грудь Джинны Лоллобриджи, застрахованную почему-то на сумму меньшую, чем правая, — всего на пятнадцать миллионов долларов. Может быть.

Все истории Рейна изобилуют невероятными деталями и подробностями. Каков человек — таковы и обстоятельства, которые вокруг него складываются. Иногда он сам чувствует, что перебрал, и, резко, на полуслове оборвав себя, печально и торжественно говорит: «Клянусь памятью моей мамы, так было». Говорит искренне, ничуть не кощунствуя, говорит, защищая свое право на вымысел во имя правды. И в этот момент я ему верю.

Для чего ему лгать и выдумывать? То есть для чего ему специально лгать и выдумывать? Ему нужны театр, зритель, партнер, действие. Он актерствует, играет роль — так ведь интереснее.

Конечно, проще было бы вовсе не заходить в дорогой бутик в центре Парижа, потому что денег не было не только на изысканный костюм, но даже и на один модный галстук. Конечно, проще было бы не примерять один за другим пиджаки и костюмы, а после со вкусом и знанием дела подбирать к ним сорочки, потому что роскошный черный «страусовой» кожи бумажник был категорически пуст. Еще проще было, отобрав все покупки и договорившись с продавцом об оплате потом — «tomorrow», больше никогда не появляться в этом бутике. Но — игра, роль, сюжет, партнер в конце концов. И вот последний аккорд — что-де проигрался на скачках и, увы, неплатежеспособен. Бессовестное вранье и самая что ни на есть правда — ведь денег на покупки в самом деле не было.

Актерские способности Рейна дают основание предполагать, что это был не дурной спектакль. И осталась мечта — когда-нибудь непременно купить в этом магазинчике хоть что-то. И есть прекрасный сюжет для небольшого рассказа.

Кому охота слушать нытье соотечественника, который бродил без денег по Парижу, с унынием и завистью разглядывая витрины, но так и не рискнул зайти ни в один магазин? Тоска! Стоило ли ради этого ехать в Париж да еще и делиться потом с кем-то своими жалкими впечатлениями.

Нет, это не для Рейна. Я точно знаю.

В этом меня убедили наши каждодневные переделкинские прогулки и посиделки. По утрам с шести до десяти он писал — прозу или стихи, но непременно

но гениальные или великие. До этого часа три спал, больше ему не нужно. Я не видела, как он спит и пишет, и не все было им прочитано вслух, но я научилась верить Рейну. Да и какая мне разница — выдумывает он или говорит правду. Он — гениальный рассказчик и гениальный актер.

И я включилась в его игру. Меня вполне устраивала моя почти бессловесная роль, в нашем театре он был бенефициантом. Его энергетического запаса в те августовские дни хватало с лихвой на всех.

А подыграть ему ничего не стоило.

— Давай заведем роман, пусть все нам завидуют, — заявил он громогласно, стоя посреди столовой, и его рокочущий баритон, ударившись о стеклянные стены зала, пролетел надо всеми столиками.

— Давайте, — радостно откликнулась я, и голос мой дрогнул, будто я не могла поверить, что сбывается моя мечта.

Неплохо получилось.

Или другой эпизод. Идем по аллее, навстречу Липкин. Рейн говорит:

— Семен Израилевич, это моя любимая женщина.

Липкин реагирует мгновенно:

— И эта тоже?

— Я люблю ее давно и безответно, — говорит Рейн с такой неизбывной печалью, что слезы невольно подступают к моим глазам.

Так зарождается основа его правдоподобных историй: можно точно назвать место, время, участников событий — максимальная степень достоверности. Даже свидетелей нетрудно отыскать. А сама история накладывается на эту канву свободно, легко, размашисто, сочными мазками — играет воображение, рождается вымысел, круто замешанный на правде. И никто уже, и даже сам Рейн, не отличит быль от небыли.

Да и так ли это важно, если сложился абсолютный гениальный рассказ.



## Пунктирная дружба

Библейская борода пыхла капитанской трубкой в редакции заводских раз-в-недельных известий. Дым сгущался, астматическое клокотание становилось все яростней, а не замечавший симптомов негодования рабочий-поэт (категория сама по себе несколько странная, но широко распространенная в эпоху гос-примитивизма) заливался механическим соловьем...

Когда наконец производственный поток бойких рифм и элементарных сравнений иссяк, «пароход» взорвался:

— Я потерял критерий! Я уже сам не знаю, что хорошо и что плохо! Мне кажется, что все одинаково...

Молодость не сомневается. Искренняя уверенность сообщает солнечную энергию мышцам и мыслям, в сколь бы мрачные и болезненные прострации она ни трансформировалась. Каюсь, я не постигла тогда глубины его печали и равно посмеивалась и над ним, и над уборщицей, которой вместо «критерия» послышалось что-то вроде «портмоне», и она долго сокрушалась, кто же мог взять такую ценную вещь, если в комнате все свои.

...Это было время пустых, звонких фраз. Газета, куда я пришла работать после университета имени Жданова, содержательно называлась «Знамя прогресса». Еще не зная меня, но, видимо, уже прослышав о Даре, партком обязал начинающего «подручного партии», как Никита Сергеевич назвал журналистов, присутствовать на занятиях литературного объединения — для поддержания порядка. Пустили козу в огород... Давид Яковлевич сразу же предложил мне почитать что-то свое, он вообще не представлял, что могут быть люди, стихов не пишущие.

Рецензия прервала первое же стихотворение на полуслове:

— Какая очаровательная антисоветчина!

Забегая вперед, скажу, что меня по рекомендации КГБ уволили раньше, чем моего «подопечного». И что такой комплимент для поэзии я считала и считаю довольно сомнительным. Так о некрасивой женщине иногда говорят: «Зато какая умная!» А поэт прежде всего прекрасен. «Прекрасный поэт...»

Но с этого дня началась наша, как он определил значительно позже, уже в письме из Иерусалима, «пунктирная дружба». Пылкая, но с частыми и порой длительными перерывами. Нет, мы никогда не ссорились, но я время от времени эгоистично уходила — то в себя, то в сверстников, то к Семенову, не такому прямолинейному, говорящему полунамеками, из которых вырастала бóльшая правда.

Вообще, когда нас называют потерянным поколением и жалостливо протягивают запоздалые погремушки известности, я думаю, что не такие уж мы несчастные. Всех нас, кто как-либо выходил за рамки общего русла продрогших ленинградских воробышков, судьба щедро одарила и обогрела Давидом и Глебом. И если Глеб признан (хотя и не познан, ибо у него были, если так можно выразиться, железы внутренней секретности), то Дара мы даже не могли про-водить по земле до земли... Известие о смерти, услышанное по «голосам», не дошло до подсознания. Он остался уехавшим, УЛЕТЕВШИМ.

А в памяти горят оранжевые — электрический ток, вспых елочных лампочек — стремительные пунктиры: слова, реплики, встречи. Каждую бы — в целлофан, как новогодний подарок...

— Оля, у вас все еще нет машинки? Я вам обязательно подарю. И вообще поезжайте в Среднюю Азию. Она орнаментальна, как ваши стихи.

В Среднюю Азию я поехала, а вот от такого дорогого подарка, разумеется, отказалась.

— Ну и напрасно, — сказал потом Сережа Довлатов. — Я сам знаю лично шесть человек, которым Дар подарил машинки...

— Пожалуйста, сделайте так, чтобы рабочие поэты на ЛИТО не ходили.

— Но как же я могу... ЛИТО ведь именно для них и организовано. И кто же тогда придет?!

— Я. И вы. Я еще своих мальчиков приведу. Милый Г. только что из психушки вышел, наркоман, он вам понравится.

Нет, мне не нравился ни «милый Г.», ни те грязные и заросшие субъекты, которых Дар мне сватал. Он, как экстравагантная журналистика, держался на двух коньках: секс и политика. Скользко...

А мне порой выговаривал:

— Вы слишком нормальная. Зачем вы всегда говорите правду? Поэт, как разведчик, должен иметь легенду...

Мой развод после нескольких месяцев супружества воспринял как праздник, хотя лично против мужа ничего не имел.

— Дайте я вас поцелую: вы становитесь настоящим поэтом...

— Женщины-поэты не умеют кончать... Вот, посмотрите, как я сокращаю вас и Цветаеву.

На стихах, там, где они кончались, по мнению «старика», как мы его иногда называли (в среднем возрасте он всегда был одновременно и библейским пророком, и наивным ребенком), на стихах не только моих, но и (о, ужас!) Марины Ивановны зияли белые бумажные заплатки...

Большим грехом было его обмануть, но — обманывали.

Мы с Беспалькой прокатывали ночью на такси (куда глаза глядят) только что полученные за что-то премии Союза журналистов. Единственное, что нас оправдывает в последовавшем ночном визите, — это нетрезвый, но благой порыв. У «старика» горел свет... (Как такси оказалось возле его дома, мы не помнили, очевидно, случайно.) Вдруг там «неотложка», надо помочь?

— А я вас не пушу, я вас боюсь, — прощелбетал в щелочку совершенно здоровый Дар.

Утром звонил обоим, спрашивал, действительно ли это были мы или ему приснилось.

Беспалько сказал, что приснилось, я что-то промямлила, переводя разговор на другую тему, а Дар после жаловался знакомым, что у него начались галлюцинации.

Впрочем, на мою «нормальность» и правдивость он больше не сетовал. И спустя годы написал: «С удовольствием вспоминаю все наши встречи, кроме той, когда вы с Володей ввалились ко мне ночью совершенно пьяные...»

— Наверно, Кузьминский действительно гениален. Он сегодня читал мне свое стихотворение по телефону — и плакал. Разве может негениальный человек плакать, читая стихи?..

«По телефону», — мысленно добавила я, но, к счастью, на сей раз ничего не сказала. А вообще не раз ради красного словца портила трепетные мгновения.

Впрочем, чувство юмора он ценил. С беспощадностью к себе героически рассказывал, как, будучи в армии, заслужил пощечину от жены, В. Ф. Пановой:

— Она приехала ко мне в часть, сидим мы с ней на лавочке, а мимо — старший по чину. Я вскочил, одной рукой честь отдаю, а другой... Веру Федоровну навстречу начальству приподымаю... Вот тут она мне и влепила. Со звоном...

(Представляю, с каким королевским великолепием защитила свою честь Панова.)

Я намеренно не останавливаюсь на сложности их взаимоотношений в последние годы. Это не мое, не наше, вообще ничье дело. Могу только сказать, что в новой квартирке возле метро «Звездная» перед столом висел портрет Веры Федоровны, на который Дар, отвлекаясь от разговора, смотрел почтительно и с той особой нежностью, которой нет точнее эпитета, чем просто «даровская».

Прямота его была обаятельна, но порой граничила с бестактностью. Я в ту пору занималась и в ЛИТО «Нарвская застава», которым руководила Нина Королева. Встретив нас обеих в вестибюле Дома писателя перед началом поэтического вечера, Дар — с порога:

— Оля, зачем вам Нина? У нее же совершенно рыбий темперамент.

Она кисло отшутилась насчет притяжения противоположностей, но, умница, не обиделась. На Дара не обижались.

Не обижался и он.

На занятиях руководимого и любимого им ЛИТО «Голос юности», куда он меня однажды затащил (свой голос я уже юным не считала, хотя потом еще долго пришлось ходить в «молодых поэтах»), один мальчик читал светлые, чистые лирические стихи, без новаторских отклонений в форме и болезненных — в содержании. Его тут же подвергли остракизму, и Дар, хоть и без литошно-дотошной ярости учеников, тоже выразил свое определенное недовольство.

— Знаете,— почти кричу,— Давид Яковлевич, нельзя же отрицать как произведение «Ромео и Джульетту» только за то, что там не идет речь о гомосексуалистах.

Ирина Мальярова, тоже, видимо, приглашенная, охнула, схватилась за дверной косяк и запрочитала:

— Олечка, девочка, да как вы можете?

А Дар, хитровато улыбаясь, уже как ни в чем не бывало подавал мне пальтецо и усаживался о новой встрече.

Он никак не мог понять, что такое коммунальная квартира.

Соседка, держа трубку на вытянутой руке (как будто та может ужалить ее в ухо), с брезгливой гримасой зовет к телефону:

— Там... какая-то гадость... Тебя, наверно...

Оказывается, Дар, не вслушиваясь в ответивший голос, сразу начал читать ей свой «Гимн скотоложеству».

— Оля, вам нужно напечататься в журнале «Евреи в СССР». Охапкин не еврей, и то напечатался.

— А я не хочу, чтобы мои стихи публиковались рядом с рецептом фаршированной рыбы.

Фрондерство мое, как всегда, оказалось неуместно. Впоследствии этот журнал Дару вменили в вину, когда пришлось покинуть пределы Родины.

Мы не виделись месяцами, а прощались... несколько раз на одной последней неделе. И не могли расстаться.

— Я сейчас приеду. Хочу познакомиться и попрощаться с вашим сыном. (Сыну было два месяца.)

Вошел, как всегда, торжественно опираясь на палку и... распугав соседок (их сразу как ветром сдуло из круглого коридора) красноречивым лиловым фингалом под глазом.

— Это мне кто-то на дне рождения у Сосноры, кто — не помню,— достоверно объяснил одной зазевавшейся, разумеется, понятия не имевшей, кто такой Соснора, и тут же опасно проворчавшей, что сейчас вызовет милицию: «Ходят тут всякие... хулиганы...»

Муж и друг, сидевшие за столом, были подготовлены ко многому, чего можно ждать от Дара, но даже я сама не представляла, что он так естественно, так бережно, одной рукой утирая внезапную слезу, другой будет держать малыша.

Настоящий классический сентиментальный еврейский дедушка.

Впрочем, Дар и тут остался верен себе. За столом, медленно, со вкусом опорожнив пару рюмок, доброжелательно заявил:

— Мне очень нравится ваш новый муж. Но друг нравится еще больше. А вообще вас было бы интересно спарить с Кривулиным.

Второе прощание — у него дома. Он как бы уговаривает себя в необходимости отъезда, хотя выбора нет...

— Я хочу маленького ослика и розовый кустик под окнами!

— Ослик,— говорю,— мы и сами экспортировать можем.

(Опять с неуместными остротами, но — не удержалась.)

— И еще не хочу умереть на раскладушке в коридоре больницы Ленина. Против этого возразить было нечего. Да и выбора, повторяю, не было тоже. Вспоминаем взахлеб, торопясь, как стояли в очереди — даже с приглашенными билетами — на выставку авангардистов во Дворец культуры им. Газа. Что-то еще будет, но его здесь уже не будет...

Кто-то из ребят принес справку из жилконторы, выданную «для отъезда в город Израиль». Пришлось бежать обратно, переделывать. И он не сердился, не нервничал, что было бы вполне понятно в предотъездной суматохе, а как будто уже оттуда, издалека, ностальгически улыбался: «Без этого у нас не бывает...»

Короткий, незнакомый звонок в дверь. За дверью — гулкая пустота лестничной клетки. Только на деревянной доске, возле квартиры, каравай хлеба, накрытый полотенцем с вышивкой «Еврею Давиду Дару от благодарного русского народа».

Телефон...

— Ну и что, больше веса и не будет. Только машинка, кальсоны и стихи ребят... Как зачем там кальсоны и стихи? А что же еще надо?

Когда мы прощались уже в самый, самый, самый последний раз, позвонил Семенов.

— Рад буду вас видеть, Глеб Сергеевич. Если только Оля Бешенковская не возражает, сейчас спрошу...

Я обмерла, зная самолюбие Глеба. Никому другому он бы этого не простил. Но, видимо, и он привык, что Дар ко всем нам относится с подчеркнутым уважением. Приехал.

И тут случилось то, что во многом определило мою жизнь на последующие десять лет.

Дар вынул из шкафа папку с моими стихами.

— Ну что ж, Глеб Сергеевич, увезу-ка я Олю с собой, там и напечатаю.

Он, видимо, слегка поддразнивал.

— Нет, — потянул папку на себя Семенов, — надеюсь, мы ее все-таки здесь будем печатать, я сам отнесу в «Неву»...

Не знаю, что тут со мной случилось, вряд ли я сразу поняла, что не хочу ни в антисоветские, ни в официальные (того времени) поэты, скорее всего просто выиграла самостоятельность характера (что это они за меня решают!), а главное, боялась обидеть кого-либо из них, почти равно любимых.

Протянула руку — и цап!

— Нигде я печататься не буду, пусть все лежит у меня.

Так и пролежало до 1987 года, вырастая в синайскую гору неопубликованного на родном, привычном, нежно любимом болоте...

А Дар попросил написать от руки посвященное ему стихотворение — в рукописи, сказали, можно провезти открыто. Но и его отобрали на таможне.

К турникету я опоздала. Нас было много, все мы что-то кричали, но он нас уже не слышал. Кажется, вытирал слезы. Я успела это заметить, когда Леша Любегин поднял меня на гипсе, на сломанной руке, над толпой — проводить Дара глазами...

А потом — только письма... Они приходили в разрезанном виде, и — бедная наша девственная цензура — в них почти не было цензурных слов. Правда, теперь уже по поводу тамошней жизни.

Дар писал, что весь мир — публичный дом, что ему стыдно принимать местных поэтов в трусах, которые здесь называют шортами, что он биологически необучаем языку и ходит в магазин с толстым словарем. И еще, что можно объездить всю Европу, но нигде не найти «таких собеседников, как вы и милый Саша К.». Полностью он фамилию не писал — боялся подвести Кушнера.

И мы, Давид Яковлевич, пройдя и пролетев сквозь годы, не встретили такого человека, как вы. Ибо нет больше в мире такой библейской бороды с капитанской трубой, такого добрейшего пирата в море литературы...



Валерий ПИСИГИН

## Эхо пушкинской строки

В начале 30-х годов Пушкин перед одной женщиной цитировал Шатобриана: «Если б я мог еще верить в счастье, я бы искал его в единообразии житейских привычек».

*А. О. Смирнова.  
Записки, дневники, воспоминания.*

### Введение

В середине мая мне позвонил приятель — главный редактор одного московского еженедельника — и предложил написать очерк о праздновании грядущей 198-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина. Читателям надо было рассказать о том, как отмечают пушкинский день рождения в провинции. Не в Москве или Питере и не в Михайловском, куда ежегодно съезжаются пушкинисты со всего света, а где-нибудь в стороне, где Пушкин хоть и бывал, но не так чтобы очень.

— Нам пришло приглашение из Торжка, — сказал редактор. — Оказывается, там они уже много лет отмечают день рождения Пушкина, и, судя по приглашению, ожидается грандиозный праздник, в деревне... Ты ведь уже писал о Торжке.

— Так ведь я писал о состоянии дел в пожарной промышленности. При чем здесь Пушкин? Да и не разбираюсь я в Пушкине.

— А кто в Пушкине «разбирается»?

— Есть пушкинисты, специалисты, исследователи, зачем меня на такое толкать?

Но редактор мои доводы не принимал. Он говорил, что именно «дилетантский взгляд постороннего человека» и есть сегодня самое ценное, что пушкинисты надолго, ничего нового они уже сказать не могут, люди читают лишь то, что им доступно, а всякие исследовательские работы (он даже употребил ужасное слово «штудии») отталкивают большинство читателей.

— Мы, пусть и еженедельник, но — газета! А газете наукообразные материалы не нужны, они раздражают, поэтому собирайся и поезжай. Дадим большие командировочные, и, между прочим, у нас приличные гонорары. За Пушкина, если получится, особенный выпишем, это я обещаю, — закончил редактор.

Не скрою, последний аргумент да еще возможность вырваться из шумной и душной столицы убедили меня ехать. В конце концов, думал я, выйдет статья, и забудут о ней на следующий день, так что особого гнева со стороны пушкинистов даже не удостоюсь. Одним словом, я согласился и в начале июня поехал в Торжок.

Побывал на пушкинском празднике, вернулся в Москву, и вскоре очерк был готов. Его благополучно напечатали, разумеется, изрядно сократив, но поместили на одной полосе с рекламой какой-то миниатюрной стиральной машины, которая, как сказано в рекламном тексте, «может успешно разместиться в кармане джентльмена».

— Неужели нельзя было напечатать очерк о Пушкине без рекламы стиральной машины? — возмутился я.

— Да вы что! — ответили мне в редакции. — Благодаря рекламе мы живем, и, между прочим, Александра Сергеевича такое соседство не покорило бы. Это, из-

вините, быт, а быт — составная, если не главная, часть его творчества, о чем не мешало бы знать, — пристыдили меня.

Итак, очерк мой был напечатан и, как я предполагал, остался совершенно не замечен. Я уже почти забыл о нем, но спустя несколько месяцев мне (с подсказки моего хорошего приятеля) пришла мысль соединить все, что мною было собрано для очерка, и попытаться, уже не торопясь, подробно изложить. А материала оказалось собрано немало.

Дело в том, что, прознав о моем намерении, а я его не скрывал, самые разные люди, главным образом из Торжка, стали мне помогать. Они присылали вырезки из газет, краеведческую литературу, фотографии праздника, магнитофонные пленки с песнями и выступлениями, стихи местных поэтов и прочие материалы, так или иначе связанные с пушкинским праздником в Торжке, вообще с пребыванием Пушкина на тверской земле. Уже очерк мой был напечатан и я было приступил к следующей работе, а материалы все шли и шли.

Кроме того, упомянутый приятель решил меня подстраховать и свел со своим другом, большим знатоком Пушкина и книжного дела вообще, с тем, чтобы я, принимаясь за столь сложную и рискованную тему, кое-что прочитал и не допустил уж слишком больших глупостей и ошибок.

Здесь я должен рассказать об этом человеке. Зовут его Вячеслав Петрович, ему около шестидесяти лет, он лысоват и носит очки со стеклом страшной толщины. Эти очки служат, видимо, для того, чтобы просто смотреть, потому что когда Вячеслав Петрович берет за чтение, то закидывает очки себе на лоб, а текст буквально прилоняет к лицу. При этом он не водит глазами по тексту, как это делают все, а, наоборот, текстом водит перед глазами. Я такого еще не видел, но, говорят, что настоящие книжники только так и читают.

Вячеслав Петрович очень подвижен, даже шустр. Когда я впервые пришел к нему на работу, то застал его с тяжелой кипой книг, которую он куда-то перетаскивал. А работает Вячеслав Петрович директором одной из старейших московских библиотек. Его кабинет представляет собой небольшую комнату с высоким потолком, и от пола до этого самого потолка все заставлено книгами. Всюду книги, книги, книги, а там, где их нет, стоит стол и несколько стульев, на которых тоже лежат стопки книг. Есть в кабинете и несколько портретов, один из которых сразу привлек мое внимание: фотография необыкновенно красивой женщины. Кто это такая и почему ее портрет в кабинете, спросить во время первой встречи я не рискнул.

Через два дня я вновь пришел к нему в библиотеку уже с надеждой получить советы, рекомендации и литературу, которые бы помогли мне при написании очерка. Вячеслав Петрович немедленно усадил меня за свой директорский стол, на котором уже лежала стопка подобранных книг.

— Зачем же меня на ваше место? — засмутился я от столь трепетного к себе отношения.

— Вам говорят: «Садитесь сюда», — значит, садитесь, и работайте, и не обращайтесь внимания на всякие мелочи... Вы Пушкиным занимаетесь! Не отвлекайтесь, начинайте просматривать книги, я сейчас приду.

Вячеслав Петрович исчез, а я принялся разглядывать книги, которых никогда прежде не видел.

Через некоторое время Вячеслав Петрович вернулся. Он принес еще одну стопку книг и небольшой продолговатый ящик, в котором хранились карточки с указанием книг о пребывании Пушкина в провинции.

— Вот вам каталог и книги из библиотеки: прочтете — сразу принесете, а эти, — Вячеслав Петрович указал на стопку, которую я только что просматривал, — забирайте с собой и можете не возвращать, они мои личные.

— Как это «не возвращать»?

— Да что же это такое? — возмущился Вячеслав Петрович и стал заталкивать книги в мой портфель. — Вам говорят: «Забирайте», — значит, забирайте и не рассуждайте. Вы Пушкиным занимаетесь! Вам некогда обращать внимание на всякую ерунду!

Когда я, несколько озадаченный своим неожиданным перемещением в XIX век да еще нагруженный книгами, покидал кабинет Вячеслава Петровича, то все же спросил: кто эта женщина на фотографии?

— Это Тамара Карсавина, — ответил Вячеслав Петрович, вытаскивая из книжного шкафа фотопортрет великой балерины. — Возьмите его себе. Пригодится в вашей работе.

— Вот портрет Карсавиной я брать не стану! — решительно возразил я как раз в тот момент, когда Вячеслав Петрович уже упаковывал фотографию балерины, чтобы отдать мне.

— Ну, что за человек упрямый! — возмутился он пуще прежнего. — Берите, вам говорят, пусть он будет у вас, и не обращайтесь на мелочи. Вы Пушкиным занимаетесь! Понимаете или нет?

Так я и ушел с портретом Карсавиной, сопровождаемый очень довольным Вячеславом Петровичем до самого выхода.

Почему-то припомнилось, как лет пятнадцать назад, проживая в глухой провинции, я, чтобы подработать, устроился художником-оформителем в соседний гастроном. Через неделю меня пригласила к себе в кабинет зам. директора, молча взяла мою сумку и стала заталкивать в нее дефицитные в ту пору мясные консервы, печень трески, копченую колбасу и, кажется, сгущенку. На мой удивленный и даже возмущенный вопрос: что все это значит? — зам. директора очень спокойно, не глядя на меня, ответила: «Так надо. Принесешь домой, скажут: «Спасибо».

На самом деле она делала меня «своим» человеком в новом для меня гастрономическом мире.

Не боюсь кощунственных сравнений и аналогий, но точно так же «делал меня своим» Вячеслав Петрович. Только, слава Богу, не колбасой и сгущенкой, а книгами о Пушкине. И, знаете, я точно не вспомню, когда сильнее смущался: сейчас, в библиотеке, или тогда, в несчастном советском гастрономе...

И еще немного о мотивах, побудивших меня вернуться к очерку. Было одно важное обстоятельство, которое я до поры до времени от всех утаивал.

Как только стало известно о поездке в Торжок, я сразу же отправился к одному своему старшему другу за советом: на какие особенности пушкинского праздника следует обратить внимание? Друг мой, открою секрет, главный режиссер в одном знаменитом московском театре. На мою просьбу рассказать о Пушкине он почти не отреагировал, если не считать его ласковой сочувственной улыбки, дающей мне понять, что книжки читать надо было раньше. И тогда мне пришла мысль предложить ему поехать со мной. Я настоятельно рекомендовал ему, уже немолодому человеку, отдохнуть немного на природе, рядом с пушкинскими местами, принять участие в мероприятиях и даже выступить там. Я понимал, что присутствие Режиссера на пушкинском празднике было бы настоящим сюрпризом для его организаторов.

Режиссер сначала наотрез отказался: «Господь с вами! Какой Торжок! Работы непочатый край... Федора Михайловича репетируем». Однако уже перед самым моим отъездом позвонил и согласился отправиться со мною, чтобы отвлечься, как он сказал, «от этих репетиций и от актеров, которые ни-и-чего не хотят понимать».

— Я им говорю: «Господа! Это же Федор Михайлович! Надо внимательно относиться!» — а им хоть бы что... Ну что за страна! — жаловался в трубку Режиссер. — Ей-богу! Никто ничего не хочет делать. Хоть кол на голове теши!

— Значит, едем в Торжок! — обрадовался я.

— Ну давайте поедем в Торжок, — почти обреченно согласился Режиссер, но поставил условие: ни одна душа ни в Торжке, ни в Москве не должна знать, что он будет на пушкинском празднике. Едет он туда лишь для того, чтобы пару дней побыть на свежем воздухе и, что еще важнее, в тишине.

Таким образом, в поездку я отправился не один, и, хотя с утра до позднего вечера был занят встречами, все же о Пушкине мы говорили, и будет несправедливо, если мысли, высказанные Режиссером, останутся уделом лишь нас двоих.

Все это я рассказываю для того, чтобы вы знали, сколь серьезны мотивы, заставившие меня вернуться к работе над очерком. Заявив о своих намерениях и получив в ответ множество советов, рекомендаций, материалов, а главное, пробудив у друзей надежду и ожидания, я просто не имел права все это как-то оставить.

— Давай, пиши! Нам некогда, так хоть ты, — говорили мне.

— Но это же Пушкин! — пытался защититься я. — Это же опасно! Вдруг не получится?

— Ничего-ничего! Не боги горшки обжигают.

— Так то горшки, а здесь... — говорю я.

— А для Бога это все и есть горшки, — уверенно сказали мне.

Так что я был просто приговорен, и вот, спустя три месяца, собрал все материалы и, насколько хватило моих способностей, изложил их с тем, чтобы передать на суд читателей, без всякой надежды на снисхождение.

### «СТРАНУ ТВЕРСКУЮ ПРОЕЗЖАЯ...»

Рано утром мы выехали в Торжок.

Беседа в пути не получилась, так как мой Режиссер задремал сразу же после вы-

езда из Москвы. Удивительно, но он каким-то образом пробуждался, лишь когда мы проезжали мимо какой-нибудь церквушки, словно зная заранее, где они расположены. Тогда мой друг трижды крестился. Делал он это не спеша, не размахисто, и на последнем движении его рука задерживалась возле сердца.

Я же всю дорогу старался собраться с мыслями о Пушкине.

«Сколько же в нашей жизни всего пушкинского? — задавался я вопросом. — Вот памятники ему, которые сотворены так, чтобы поэт мог наблюдать за нами с легким укором и некоторой отстраненностью; вот расставленные по фойе театров, библиотекам, школам и музеям бюсты; вот бесчисленные портреты-штампы и просто силуэты с вытянутым лицом и кудрями, в которых сразу же угадывается Александр Сергеевич; вот центральные улицы и площади городов, названные в честь поэта, и даже город его имени; а еще: станции метро, заповедные места, музеи, парки, дома культуры, наверняка есть теплоход. А сколько мемориальных табличек на домах, где он бывал, сколько туристических маршрутов по пушкинским местам! А уж про «мероприятия» разные и говорить нечего. Вот и день рождения Александра Сергеевича объявлен официальным государственным праздником и выходным днем, все равно как 8 Марта. А сколько разных драматических спектаклей, опер и балетов? Не счастье. Все уже, кажется, сыграно, все спето, но нет, вновь и вновь обращаются к Пушкину, открывают что-то новое, доселе неведомое. А книги, исследования, монографии! Над всем этим работают «пушкинисты», «пушкиноведы», «исследователи жизни и творчества» и всякий раз что-то находят. Теперь вот еще и «непушкинисты» понадобились: «свежий взгляд». Говорят, что тема неисчерпаемая. Только вот беда: о Пушкине сказать что-либо рискованнее, чем о самом Господе Боге, где очевидное невежество можно выдать за «святую простоту» или даже за «веру», в то время как по отношению к Пушкину всякая простота — лишь очевидная глупость.

Но памятники, бюсты, книги — это, как говорится, «по-крупному». Есть ведь еще мелочь разная — брелоки, значки, календари, блокноты, шкатулки с изображением поэта... Я в одном из городов видел троллейбус с изображением Александра Сергеевича на фоне номера телефона какой-то туристической фирмы. Пушкин окружает нас повсюду. Но не только внешне. В каждом из нас тоже так или иначе присутствует Александр Сергеевич. В одном — так, в другом — эдак, в ком-то меньше, в ком-то больше. И хотя грозят пушкинисты: дескать, нельзя с ним «совершать прогулки» да еще «на дружеской ноге», но кто же слушает пушкинистов, когда сам поэт ясно дал понять, что будет еще до-олго любезен народу, и не только русскому. Вот он и любезен. А уж тут с поэтом у каждого свои личные взаимоотношения. У академика одни, у шофера — другие. И, кто из них больше любит Пушкина, неизвестно. Пушкин-то писал для всех... А этот Дантес — каков мерзавец! — вдруг воспылал ненавистью к французу, нажал на газ и едва не создал аварийную ситуацию. Даже Режиссер в испуге проснулся.

— Что это с вами? — спросил он.

— Да вот, — говорю, — приехал, застрелил и уехал.

— Кто?

— Дантес... Одного француза прогнали вместе с армией, так они нам другого заслали, втихаря.

— Да Господь с вами! Вы лучше за дорогой следите и не о Дантесе думайте, а о Пушкине, — отругал меня Режиссер и через некоторое время опять задремал.

Но я и так думаю о Пушкине.

Один мой знакомый литератор всегда страшно ругал власти, буквально матом крыл. Особенно когда выпивал. Бывал в такие минуты сердитый, страшно смотреть. Но как только произносилось: «Пушкин», — так его физиономия сразу же добрела, в глазах появлялась детская улыбка, а руки сами собой тянулись под стол, где мой приятель всегда хранил заветную бутылку. Почему?

Или, помню, в перерыве футбольного матча на первенство района в раздевалке тренер укорял одного из подопечных: мол, из выгодного положения промазал. А тот в ответ: «Я тебе что, Пушкин?» Казалось бы: где футбол и где Пушкин! Но нет, тренер сразу сник, замолчал. Действительно, только наш человек может так ответить, и только наш человек способен этот ответ понять. Ведь никому не придет в голову назвать другое имя, пусть самое значительное, даже Петра Первого и то не упомянут в таком случае.

Правда, бывает, что появляется какая-нибудь заметка или большая статья, где доказывается, что Пушкин вовсе не такой уж великий, что бывали у нас в России поэты посильнее, просто не до конца народом и критиками оцененные. Не стану спорить. Может, бывали и посильнее и писали лучше. Но, видимо, не совсем о том пи-

сали. Как написано, конечно, важно. Еще важнее — о чем. Иной поэт так слова зарифмует, что потом все восхищаются, особенно «пишущая братия». Так это «пишущая братия». А остальные? Пушкин же просто писал:

Добра чужого не желать  
Ты, Боже, мне повелеваешь;  
Но меру сил моих Ты знаешь —  
Мне ль нежным чувством управлять?..

И все. Больше ничего не надо, чтобы привязать к себе. Или вот небольшой отрывок из его письма к своей Наталье:

«Милая моя женка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит в упряжи и под верхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет верст десять по кочкам да оврагам — и тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама».

Казалось бы, о чем речь! Чего уж тут особенного? Всего-то про кобылку... Но нет! Нам эта далекая и неизвестная кобылка почему-то дорога. Это как будто про нас Александр Сергеевич, про Россию, про нашу суть, про наш характер. Мы вот так же, чуть что — закусим поводья и, пока не споткнемся, не успокоимся. А едва успокоимся — давай опять скакать. И потом, согласитесь, как-то хорошо на душе становится, когда читаешь не про дрянь какую-то, а про такую вот кобылку, безмятежно скачущую по нашим кочкам да оврагам.

А вот иностранцы понимают Пушкина не до конца. Они могут любоваться им, даже восторгаться, но... Так же они любят и природой нашей: восхищаются, ахают, выйдя с фотоаппаратом на какой-нибудь волжский утес, где вверх синее небо, внизу река, на горизонте лес, чуть в стороне — ветхая церковь. Но мы-то не столько любим природу нашей с рекою, лесом и церковью, сколько знаем, что находится там, за горизонтом, за этим лесом, какая там печаль, тоска, какая жизнь и какой быт, точнее — безбытность. Мы чувствуем за этими бесконечными синими дальями судьбы людей, нищую, измученную и неменяемую страну, видим безутешный хоровод, слышим нескончаемую печальную песню, от которой даже у самых стойких наворачиваются слезы. Так, читая Пушкина, мы знаем, что за восторгом от встречи с безупречным стихом — известная лишь нам, русским, печаль и грусть, а если радость, то странная, понятная только нам...

Тем временем мы свернули с трассы налево и подъехали к санаторию «Митино», в котором нас разместят на время праздника.

Как указывается в путеводителе, Митино — это бывшая усадьба помещиков Львовых. До начала 30-х годов XIX века рядом с Митиным проходила дорога из Петербурга в Москву, и каждый путешествующий мог любоваться быстрой и порожистой в этих местах Тверцой, густым сосновым лесом, а также самой усадьбой, благоустроенной по проекту выдающегося архитектора Н. А. Львова. В Митине часто собирались видные музыканты, поэты, художники, издатели журналов, поэтому в литературных кругах Митино называли «Тверским Парнасом».

В двух минутах езды от Митина, на этом же берегу Тверцы, в деревне Прутня, у старинной церкви, в 1879 году была похоронена Анна Петровна Керн. На ее могиле скромная плита с легендарным пушкинским посвящением: «Я помню чудное мгновенье...»

На другом берегу Тверцы, напротив санатория «Митино», расположена деревня Василёво, также некогда принадлежавшая Львовым. Видны старинные постройки: как оказалось, там расположен музей деревянного зодчества. Именно в Василёве пройдет фольклорный праздник «Троицкие гулянья».

Конечно же, через Митино, минуя все эти усадьбы, много раз проезжал и сам Александр Сергеевич Пушкин. Так что места здесь и впрямь пушкинские.

Мы с Режиссером поселились в санатории, и я сразу же помчался в Торжок, в городскую администрацию, где мы условились встретиться с заместителем главы — Борисом Николаевичем Добродумовым и Татьяной Ивановной Рыбкиной, заведующей отделом культуры.

Не буду скрывать: я не люблю никакое начальство, особенно «околокультурное». Мне сразу же вспоминаются возвращенные комсомолом здоровенные наодеколоненные тетки из отделов культуры, с каменными лицами, напмаженными губами и эдакой мелкой-мелкой походкой: цок-цок, цок-цок...

А торжбоское «культурное» начальство совсем другое. Вовсе не «здоровенное», а Татьяна Ивановна просто миниатюрная.

— Нам,— говорит она,— в этом году повезло, наконец-то к нам повернулись лицом и выделили деньги на проведение пушкинского праздника.

— Сколько? — спрашиваю, радуясь за отечественную культуру, к которой наконец повернулись.

— Два с половиной миллиона рублей! — отвечает гордо Татьяна Ивановна.— Так что мы смогли пригласить нескольких тверских поэтов и даже одного молодого писателя из Москвы.

Свою финансовую беспомощность Татьяна Ивановна компенсирует невероятно бурной деятельностью и энергией, которая обычно отличает миниатюрных женщин. И ей, и Борису Николаевичу все же удастся много сделать. Это знают и чувствуют все, кто так или иначе связан с культурой древнего города, и потому в этой среде торжокское «культурное начальство» совсем не чужое. Надо сказать, что и «среда» эта в Торжке достаточно серьезная и даже влиятельная...

Почему-то существует представление, будто российская интеллигенция, определяемая нередко эпитетами «демократическая» или «патриотическая», находится непременно в Москве или по крайней мере в Санкт-Петербурге. А между тем в российской провинции — а вся Россия — провинция — живут и трудятся сотни тысяч учителей, врачей, библиотекарей, музейных работников... Они несут свой крест без шума и претензий на то, что их труд будет замечен, одобрен свыше или увенчан наградой, и даже не задумываются — «интеллигенция» ли они? Просто выполняют профессиональный и гражданский долг, понимая, что в их руках находятся столь мало ценимые в России (но часто упоминаемые всуе) духовные ценности народа: его физическое и нравственное здоровье, история и культура.

Неформальным лидером этой среды, особенно когда речь заходит о Пушкине, является Валентина Федоровна Кашкова.

Родилась Валентина Федоровна в 1933 году. Ее послужной список невелик: закончила Тверской педагогический институт (сейчас это университет), историко-филологический факультет, и вот уже в течение сорока лет (!) преподает в Торжокском педагогическом училище русский язык и русскую литературу XIX века, а также риторiku и свой авторский предмет «Твоя родина — Россия!».

Зато сколь велик ее вклад в русскую культуру и просвещение! Доказательство простое: пожалуй, не найдется в Тверской области такого села, городка или поселка, где бы в школах местных не работали ученики Валентины Федоровны. Все они с теплом и благодарностью вспоминают свою учительницу, а время, проведенное с нею на уроках и лекциях, как самое полезное и плодотворное.

Действительно, у Валентины Федоровны есть чему поучиться. Она автор нескольких книг и путеводителей по истории и культуре тверского края, сотен краеведческих и литературоведческих статей, участник многих научных симпозиумов и конференций. Но ее самая большая страсть — Александр Сергеевич Пушкин. «Я не пушкинист и не пушкиновед,— как-то призналась Валентина Федоровна.— Я просто его люблю».

На протяжении сорока лет Кашкова собирает, обобщает и делится с людьми материалами, свидетельствующими о ранее неведомом Пушкине: не о столичном, а о провинциальном, «тверском», Пушкине. Без малого тридцать лет в Торжке проходят пушкинские праздники, на которые съезжаются поэты, прозаики, музыканты, просто любители поэзии со всего тверского края и из многих городов России. В эти дни город живет Пушкиным, как будто не было многолетней разлуки с ним. И все это могло состояться благодаря стараниям нашей провинциальной интеллигенции.

Как живет сегодня Валентина Федоровна?

Живет одна, в небольшой кооперативной двухкомнатной «хрущевке», которую — счастливый случай! — купила еще в 1964 году. В квартире чисто и уютно. Из окон видна Тверца, на противоположном берегу которой — старинная церковь. Главная ценность — книги и фотографии близких людей. Валентина Федоровна уже на пенсии, но продолжает работать. Пенсия — 324 тысячи рублей в месяц, и, конечно, на эти деньги не проживешь: надо на что-то лечиться и хоть изредка покупать книги. Еще хотелось бы посмотреть мир или если не мир, то хотя бы еще раз дорогие сердцу пушкинские места... Но об этом российский учитель-пенсионер, даже такой именитый и столь заслуженный, может только мечтать.

Есть у Валентины Федоровны и еще одно пристрастие. Оказывается, она поэт! Вот строки из ее стихотворения о родном городе:

Сбегают улочки к реке,  
Торопятся с горы скатиться  
В уездном городе Торжке —

Моей столице...  
 Здесь стариною дышит вал,  
 В забвеньи дремлет городище,  
 Между веками интервал  
 Глаз суетливый не отыщет...

К Валентине Федоровне я и направился, чтобы хоть как-то просветиться в отношении пушкинских дней поэзии в Торжке. Но, пока я к ней добираюсь, кое о чем хотелось бы поразмышлять.

Судя по всему, однажды что-то произошло здесь такое, после чего Торжок стал считаться пушкинским городом. Вот уже почти три десятилетия, как отмечается общегородской пушкинский праздник поэзии, было проведено множество научных конференций и бесчисленное количество литературных встреч; вышло несколько книг, в которых рассказывается о пребывании Александра Сергеевича в Торжке и его окрестностях; есть специальные путеводители по местам, так или иначе связанным с поэтом; есть в Торжке пушкинский музей в доме Львовых-Балавенских на улице Дзержинского, есть и бюст А. С. Пушкина на одноименной площади и многое другое, к чему жители этого города уже привыкли. Словом, Пушкин здесь свой человек, и потому у него в Торжке много поклонников, самых что ни на есть серьезных и вдумчивых. Впечатление такое, что сказанное о Пушкине здесь не пропадает, а каким-то образом задерживается, сохраняется в памяти.

Вообще интересно: каким образом проникает в сознание или, что важнее, в сердца жителей вот такого провинциального городка новость откуда появившаяся творческая личность? А проникнув, как там закрепляется, почему не умирает вместе с уходящими поколениями, но переносится в сердца все новых и новых людей, живет с ними, потом покидает и их, переносится дальше, к потомкам, затем еще дальше, становясь бессмертной?

Представим дело с одной стороны. Вот едет некий человек, поэт или прозаик, пусть даже гений, и видит какое-то селение. Не то город, не то село. Надо остановиться, переменить лошадей или, случается, их подковать, а пока их меняют или подковывают — можно немного отдохнуть, пройтись пешком, чтобы размяться или лучше зайти в лавку, купить что-нибудь на память... А там уже надо ехать дальше. Ну, поговорит при этом с кем-нибудь из местных жителей, спросит о чем-то, полюбопытствует — и все. А представьте: дождь, ветер, известная нам слякоть, так и выходит из кибитки не хочется. Просто выглянет в окошко наш путник, покачает головой да и обратно спрячется, уйдет в свои размышления. Это командированные краеведы могут месяцами не вылезать из какого-нибудь провинциального городка да ревизоры неделями в местных конторах сидеть. А ищущей натуре, тем более гению, сидеть на одном месте некогда.

Теперь посмотрим, как это выглядит с другой стороны.

Живут себе люди в тихом и забытом Богом селении, у каждого свои заботы, тревоги, беды и радости. Все трудятся, ходят на базар, в магазины, иногда устраивают праздники. Вот идут по мостовой, о чем-то думают, между собой о чем-то разговаривают и видят, как на противоположной стороне улицы остановилась кибитка. Из нее, не спеша, вылез какой-то господин, судя по одежде — из большого города, может, из самой столицы. Вот он потянулся, огляделся по сторонам, несколько раз зевнул и... залез обратно в кибитку. Через какое-то время эта кибитка вместе с господином исчезла. Прохожие, проводив ее взглядом, тут же обо всем увиденном забыли, продолжая думать о своем. Вот и все.

Кто этот остановившийся на несколько минут господин с кудрями и бакенбардами? Откуда он? Куда и зачем едет? Какие мысли увез отсюда, лениво посмотрев по сторонам? О чем разговаривал, остановив на несколько минут прохожего? Что купил, выйдя со свертком из первой попавшейся лавки? Наконец, как и чем ответится во времени эта обычная дорожная остановка?

Никто сейчас этого не может знать. Вопросы, если и возникли, тут же исчезли.

И проживут прохожие всю оставшуюся жизнь, и их дети тоже, и даже внуки проживут, да так и не узнают ничего, хотя были совсем рядом и даже видели его. И еще много времени пройдет, прежде чем в этом городке вспомнят проехавшего здесь господина с бакенбардами, с толстой тростью, в цилиндре, а вспомнив, узнают и то, о чем он говорил с первым встречным и что купил, зайдя в лавку, узнают и то, чем отозвалась эта непродолжительная остановка в его жизни и в жизни всей России. И как же некоторые будут жалеть, что живут не в одно время с ним, станут завидовать тем незадачливым прохожим, коим попалась на пути кибитка с путешест-

вующим господином. Только что им завидовать? Думаете, будь на их месте, мы бы о чем-то догадались, что-то заметили, узнали?

Итак, что же произошло в Торжке и почему стал возможен здесь пушкинский ренессанс? Об этом явлении я попытаюсь сейчас расспросить Валентину Федоровну. Как там у нее: «Между веками интервал глаз суетливый не отыщется...» Посмотрим, посмотрим...

Валентина Федоровна очень тепло встретила меня, усадила на диван, поставила на плиту чайник и пообещала, что угостит еще и пирогом. Спустя несколько минут она уже отвечала на мои вопросы.

— Вот утверждают: «Пушкин — это наша вечность!» или: «Без Пушкина непредставима жизнь!»... А ведь жили без него десятилетиями. Бывали всплески. В 1937 году, например. Политический, конъюнктурный юбилей. Провозглашали: «Пушкин и свобода!», «Пушкин — патриот!», «Пушкин и воля!»... И Боже упаси сказать, что Пушкин — страдалец. Прошел 1937-й с этой громкой неправдой, записанной и зафиксированной в учебниках, будто Пушкин сам по себе всем понятен. А он непонятен...

— Но, Валентина Федоровна, здесь, в Торжке, в чем выражалось его присутствие? Вот он проехал один раз, проехал другой, третий, с кем-то встречался, с кем-то беседовал... Потом надолго все затихло.

— Я пытаюсь вспомнить, но в школе нам ничего или почти ничего не говорили о том, что он здесь когда-то проезжал. Не было Пушкина здесь — и все. Он «был» где-то в архивах, может, в подвале, в библиотеке, а нам был «спущен» тот самый Пушкин, про которого писали на рубеже прошлого и нынешнего веков. Больше никто ничего нового о пребывании поэта на тверской земле не писал и не говорил. Откуда же о нем могло знать наше поколение? Пушкин где-то там, вдалеке, в Михайловском, в Болдине, в Петербурге, в Москве, но не здесь...

— Но все же какие-то носители «тверской памяти» о Пушкине были? — пытался я докопаться до предыстории.

— Да, конечно. Они сделали много хорошего и доброго, но вместе с тем и работы нам задали. Написанного, напечатанного и невероятно искаженного было очень много. И это все размножили в летучих газетных публикациях или в небольших книжечках. Где? Что? Когда? У кого? Все перепуталось. Ведь если говорить о тверской земле, надо постараться ответить: зачем Пушкин сюда столько раз приезжал? Мы догадывались, что он не всех Вульфов любил.

— Так зачем же он сюда бежал?

— У Пушкина была в это время такая трагедия и такое отчаянное одиночество, что он готов был из Петербурга бежать куда угодно... А позвали-то прежде всего сюда. Прасковья Александровна Осипова-Вульф была очень близкая и любящая душа. Она по-матерински любила его. Пушкин знал, что эта любовь сохранит его, защитит, поддержит, согреет... и ничего не спросит. Такую любовь найти непросто. Ее страшно потерять. И для того, чтобы не лишиться этой сочувствующей души, Пушкин бросается сюда, в Малинники, за семьсот верст по бездорожью. К счастью для нас, это оказалась тверская земля.

— Как же происходит все-таки реанимация Пушкина в выветренном сознании? — не унимался я, хотя очевидно, что Валентина Федоровна именно это и пыталась мне объяснить.

— Она, если уж говорить таким языком, шла с двух сторон. С одной — мы, «низь», стали говорить, писать, ездить, доказывать, создавать какие-то комиссии, стучаться во все двери. И эти двери стали кое-где приоткрываться.

— Сколько же было вас, таких «чудаков»?

— Человек десять, а может, меньше, и я среди них была самая молодая. На меня вообще смотрели, как на некое приложение к маститым старикам. Так вот: оказалось, нужно писать! Не говорить, а именно писать. И не казенные прошения или заявления «наверх», а о самом Пушкине. Вот для этого надо было что-то найти самой.

— А пушкинские праздники?

— Праздники появились позже. Сначала были публикации. Я написала книжку, но ее постигла трагедия. Впрочем, — вдруг задумалась Валентина Федоровна, — это, может, и к счастью, иначе я бы эту наивность выпустила в свет. Рукопись мою попросту украли. Это старая история... Так вот без заинтересованности областного и городского начальства мы бы сами, конечно, ничего сделать не смогли. Но нам большого труда стоило убедить их, что это надо делать. Пошло «снизу», потом поднялось «наверх», и там, неожиданно, мы нашли понимание. Музей в Бернове сдела-

ли за год. Конечно, душой всего стал московский музей. Работали экспозиционеры, Светлана Овчинникова — научный сотрудник музея, художник Юрий Керцелли, который принимал участие в создании московского музея. То, что для нас было новинкой и открытием, для них было делом привычным, и поэтому музей сделали быстро. Потом присмотрелись и поняли, что снят лишь поверхностный слой, а сугубо тверского материала, который оправдал бы наши усилия по созданию музея, явно не хватало. Надо было его где-то искать. Начались поиски, поездки. Сотрудники областного музея исколесили всю страну. Были и у частных собирателей, и у потомков Вульфов, и у потомков Полторацких...

— И что же? — осторожно поторопил я Валентину Федоровну.

— Оказалось, что вещи живут, что они не исчезли: у кого-то сохранились книги, у кого-то стол, кто-то принес личные дневники, а в них — бесценные записи. Оказалось, что род Вульфов очень разнообразен и талантлив, что там и художники, и музыканты, и инженеры, и у каждого из них сохранилась крупица памяти о Малинниках, о Бернове, о Павловском. Пошли пожертвования. Люди не продавали вещи музею, а дарили, сами привозили, и постепенно музей обрастал экспонатами. Но если бы мы не начали «снизу» этот поход по тропе к Пушкину, то вещи просто могли погибнуть и потерять свою духовную ценность.

Когда создали музей в Бернове, стало ясно, что надо создавать музей и в Торжке. Но ясно было не всем. Ведь если в Бернове, Малинниках и Павловском Пушкин писал и там была творческая мастерская поэта, то что же можно было найти в Торжке? Нам сказали: «Ерунда! Ничего здесь быть не может. Здесь есть только одно: «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке...» Тогда я поняла, что надо обратиться к письмам Пушкина. Я стала их читать, попыталась их почувствовать, прожить и увидела, что буквально за каждой строкой стоит человек. Возникли вопросы: «А кто он?», «Почему его выбрал Пушкин?», «В чем тут дело?», «Он сам пишет из Тверской губернии или ему пишут?»... Я набрала таких писем девятнадцать, и это оказалась целая история. В этих письмах половина пушкинской жизни, ведь Пушкин был связан с тверским краем начиная с 1826 года — до последнего дня своей жизни. Вульфы, Осиповы-Вульфы, Полторацкие, Львовы, Оленины — целый букет имен. Торжок в виде маленького островка существовал и в столице, потому что представители всех этих фамилий были знакомыми Пушкина по Петербургу.

Валентина Федоровна сделала паузу, задумалась и продолжила:

— Знаете, когда я работала над книгами, всякий раз возникала мысль: «Вот мы ищем что-то в архивах, далеко-далеко от нас, а ведь дома у каждого — архив». Например, мой прапрадед. Он, конечно же, знал Пожарского. Я была в этом уверена. И вот нашли этому подтверждение. Дарья Евдокимовна Пожарская, скончавшись, осталась должна моему прапрадеду. Он был колесник и занимался ремонтом карет и экипажей. Мастерил сани, дровни. Это был семейный промысел. И вот — фамилия мелькнула. Какой-то узелочек оказался завязанным между тем, что было, и между тем, что есть. И, развязывая такие узелки, мы обнаруживаем, что дома у каждого из нас есть архив. Вот висит вещь на стене, мы не обращаем на нее внимания, а потом оказывается, что она о многом может рассказать.

С этими словами Валентина Федоровна вышла на кухню, где уже вовсю кипел чайник, а я с чувством горькой потери вспомнил дом своего счастливого детства...

В том доме у меня было всё: бабушка, дедушка и еще моя тетя, которые, так сложилось, воспитывали меня и любили до беспамятства; нехитрая мебель разных эпох и стилей — все эти диваны, кровати, шкафы, сервант, этажерка, стулья, столы, которые были мне не просто знакомы, но дороги так же, как и чашки, тарелки, вилки, ложки, да еще какие-то вазочки, сахарницы, графины, рюмки; стол в большой комнате был накрыт бордовой с желтыми узорами бархатной скатертью; здесь же, на столе поменьше, стояло небольшое зеркало-триляж и рядом с ним — шкатулки, в которых годами и даже десятилетиями хранились пуговицы, булавки, иголки, нитки, какие-то лоскутки и еще Бог знает что, а на самом зеркале мне была знакома каждая трещинка, каждая царапина; за этим же зеркалом хранились толстые альбомы с фотографиями, которые в десятый, в сотый раз с интересом и радостью просматривались пришедшими в гости родственниками; рядом с альбомами находилась картонная коробочка, куда в течение многих лет складывались поздравительные открытки и телеграммы, и тут же стояла еще одна коробочка, с различными лекарствами, срок годности которых истек еще при царе Горохе, но они все же хранились (вообще ничего не выбрасывалось!); а как не вспомнить телевизор «Неман», не работавший уже лет десять, но все равно стоявший на почетном месте, накрытый накрахмаленной салфеткой, «чтобы от пыли и солнечного света не испортился экран»? Помню ог-

ромные темно-зеленые фикусы, которые исправно поливали и каждый лист на которых тщательно протирали во время уборки; на стенах висели несколько картин в золоченых рамках, и одна из них была прострелена, как мне рассказывали, шальной фашистской пулей — страшная память об оккупации; кроме картин, на стенах висели семейные фотографии родных и близких людей, а еще — «отрывной» календарь, листки которого аккуратно отрывались бабушкой в конце каждого дня и прочитывались им вслух, причем полностью, включая время восхода и захода солнца; сам «отрывной» календарь прикреплялся к картонке с портретом А. С. Пушкина работы Тропинина, при этом менялись из года в год только календари, а картонка с портретом Пушкина оставалась и заменить ее на что-то другое было делом непредставимым; на стенах в моей спальне вместо ковров были развешаны самотканые покрывала с незатейливым орнаментом да еще вышитый мамой небольшой коврик с моим изображением; рядом с моей кроватью стоял большой тяжеленный сундук, в котором хранились редко доставаемые и пахнущие нафталином вещи, и там же, на самом дне, в обыкновенном почтовом конверте хранились мои первые остриженные волосы да еще — алюминиевый крестик, врученный бабушке при моем крещении; помню умывальник и рядом ведра, наполненные водой, а над ним — большое зеркало, отколотое в верхнем правом углу; вспоминаю кухонный стол, в котором хранились разные крупы и мука; а как не вспомнить елочные игрушки, которые вытаскивали из-под дивана ближе к Новому году!.. А сама встреча Нового года?.. И еще — запахи! Но что сказать о них? Как выразить то, что, быть может, и вовсе невозможно описать? Может, это запах корицы, гвоздики и ванили, хранившихся в одном из ящичков в старом серванте; или запах вишневой настойки из огромной бутылки, стоявшей под столом; или это легкий, освежающий запах от больших связок лука и чеснока, всегда висевших на кухне; а может, это запах жареного сала — знаменитых украинских шкварок, которые я не выносил и за которые теперь многое бы отдал; или это запах «Тройного» одеколona, которым дедушка после тщательного бритья обливал лицо, голову, шею и даже затылок с характерной горизонтальной морщинкой, как у запорожских казаков... А, кроме запахов, еще были звуки: голоса родных, едва слышный шорох шагов прихожамывающей бабушки, бесконечное пение моей тети во время уборки квартиры, ироничные высказывания деда о политике, треск поленьев в печке, скрип дверей, звон посуды, тиканье часов, несмолкаемое радио... А еще надо вспомнить веселых гостей — родственников и друзей, собиравшихся по праздникам и на дни рождения. Они пели песни, шутили, веселились, танцевали, пили горилку, которую исправно поставляла какая-то баба из недалекого села, и дедушка вполне серьезно говорил, что она же снабжает этой горилкой членов Политбюро... А как не вспомнить двор, огород, яблони и вишни, кусты сирени, столетнюю акацию возле самого дома? А все эти куры, утки, кролики, собака Шарик, коты и кошки, которых уже и не вспомнить, как звали? А еще — друзья детства, их родители, соседи, небольшая речка, луг, трава, коровы, пасущиеся кони и еще многое, что окружало меня ежедневно, ежечасно и, кажется, было со мной постоянно...

Где это все? Куда подевалось? Почему исчезло?

Дорогие, самые близкие люди — уже давно в сырой земле; из вещей ничего не сохранилось; фотографий почти не осталось, нет и картин, давно выветрились запахи, не слышны знакомые звуки... Остались, наверное, лишь безмолвные стены да двери, которые нечасто меняют.

Как же страшно туда вернуться и убедиться воочию, что всего этого действительно нет! Как больно подойти к дому своего детства и увидеть в знакомом окне не для тебя зажженный свет, заметить мелькнувшую чужую тень, а набравшись смелости и постучавшись в дверь, как невыносимо услышать холодное и постороннее: «Ну, чего тебе?..»

Два чувства дивно близки к нам,  
В них сердце обретает пищу;  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

Ох как знали, как хорошо знали наши начальники, чего нас надо лишить! «Средств производства»? — да. «Продуктов нашего труда»? — конечно. «Оградить от остального мира»? — обязательно. Но еще им было важнее — лишить нас своего гнезда, этого самого родного пепелища, и тем уничтожить нашу память, омертвить сердце, сделать нас неспособными к любви. Тогда уже ничего за душой не останется. Ничего... кроме страха перед этим самым начальством.

Тем временем, похлопотав на кухне, вернулась Валентина Федоровна. Она налила чай и принесла пирог.

— Конечно, если не обрывается связь времен, если дом сохранился, то и вещь может сохраниться,— продолжил я начатую Валентиной Федоровной тему.

— К счастью, многое сохранилось. Хотя и война была, и бомбежки, но все же фронта здесь не было. В двадцати пяти верстах от Торжка фашистов задержали. Старый Торжок остался. Неудивительно, что нашлись даже афиши старого театра, которым было сто лет и более. И вот в этих афишах присутствует имя Пушкина. Значит, здесь, в Торжке, играли Пушкина, жил театр. И я уверена, что музеи, которые у нас созданы,— это не точка, но лишь начало большой работы.

— И вот материалы, документы, экспонаты музея собраны, и уже они сами работают, начинаются собрания, встречи, конференции, наконец торжества по случаю дня рождения поэта. Воздух Торжка постепенно наполняется Пушкиным, сюда приезжают известные писатели, к пушкинской поэзии приобщаются все новые и новые люди... Так?

— Да, конечно. В музеи специально приезжают люди, интересующиеся Пушкиным, и просто мимолетные туристы. У нас был даже разработан двухдневный маршрут — «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Начинался он в Твери, проходил через Старицу, Малинники, Берново и заканчивался в Торжке, который становился ключевым пунктом. У нас появилась возможность не только говорить о Пушкине, но и встречаться с представителями современной культуры и искусства через Пушкина, в соседстве с ним, в его мире. На пушкинские дни, которые проходили здесь ежегодно в первую субботу июня, мы входили в мир пушкинской поэзии, и не только пушкинской.

— А разница большая между тем, как было тогда, когда вы начинали эту работу, и сейчас, когда уже двадцать восьмой раз в Торжке отмечается день рождения Пушкина?

— Разница большая... со знаком «минус»,— неожиданно для меня, но уверенно произнесла Валентина Федоровна.

— ???

— Немного странно? Когда все только началось и мы стали создавать пушкинский музей, многим казалось, что нет никакого тверского Пушкина. А когда разгребли все, оказалось: сколько же здесь написано! Вот был восторг! Все бросились по этим местам ходить, изучать, писать, приезжали разные люди, просто туристы. Я, наверное, видела здесь весь Союз советских писателей. Это был период с 1971-го по 1975 год. Но этот восторг постепенно исчезал, таял. Все вошло в рамки привычного ритуала, и мы, не успев оживить нашего Пушкина, снова стали его тихо умерщвлять...

— Чем же?

— Привычностью. Всякая привычность убивает. Она может убить даже любовь.

— Но что сейчас здесь с Пушкиным?

— Пушкин — это настолько все, все, все про нас, что я не знаю такого второго поэта. Я люблю Лермонтова. Но в нем столько горечи и отчаяния, столько тоски... У Пушкина больше света и солнца. А неизбалованному русскому человеку всегда хочется чего-то родникового, светлого, ему хочется надежды. И, кроме того, Пушкин как-то по-доброму умен. Он многое успел за свои тридцать семь лет нам объяснить. Надо только внимательно вчитаться, вслушаться в него. Он наше Продолжение, а может быть, и наше Начало...

— А не наш ли это Конец?

— Конец? — Валентина Федоровна улыбнулась.— Слишком счастливый это был бы для нас конец. Я думаю, что конец наш будет все-таки более печальный.

— Куда же печальнее того, что сейчас есть?

— Будет еще печальнее. Сейчас-то мы еще хоть что-то знаем и помним, а подрастает поколение, которое ничего не хочет знать. Ведь мы пропустили через себя этот светлый и счастливый всплеск. Оглядываемся и вспоминаем зал, в котором нет ни одного свободного места, занятый балкон, светящиеся глаза у присутствующих, помним Смелякова, Алигер, Татьяничеву, Бокова, Викулова, Жигулина, Вознесенского, Дементьева, Ларису Васильеву, Винокурова, Доризо, Бориса Полевого...

— А теперь к вам едут такие, вроде меня, из себя неизвестно что представляющие,— привел я неопровержимые доказательства деградации пушкинских празднеств.

Однако мудрая Валентина Федоровна на это никак не прореагировала, если не считать ответом на мое самоуничижение большущий кусок пирога, положенный передо мной.

— А что Александр Сергеевич любил поесть? — спросил я, принимаясь за пирог.

— Он любил простую еду: прежде всего печеную картошку, которой его заманивала в Тригорское Прасковья Александровна Вульф, любил щи, гречневую кашу, яблочный пирог и очень любил моченые яблоки. А как-то зимой, проезжая через Торжок, он купил здесь двадцать персиков и все до одного слопал!

— Значит, в прошлом веке зимой в Торжке можно было запросто купить персики. А котлеты, интересно, любил?

— Котлеты — само собой. Кто же из русских не любит котлет? — ответила Валентина Федоровна и продолжила рассказ. — Вот взял Пушкин, постучался и пришел к нам. Как будто даже сам. Время пришло. У меня возникал вопрос: «Почему мы на первый пушкинский праздник в Бернове собрались в 1970 году, когда не было никакой юбилейной даты?» Первые праздники у нас были настолько изобретательные, такие... какое бы слово подобрать... долгожданные! Приходил апрель, и все только и говорили: «Скоро пушкинские праздники!» Ну какой еще праздник так ждут? Только свой день рождения, да и то, — вздохнула Валентина Федоровна, — чем старше становишься, тем ждешь меньше... Ждали пушкинский праздник и спрашивали: «Где достать пригласительный билет?» А теперь, увидите, зал будет полупустой. Мы сейчас почему-то ничего не изобретаем.

— Но что, по-вашему, надо сделать к его двухсотлетию, чтобы все вернулось и Пушкин вновь пришел сюда?

— Читать его надо! Читать и стараться понять. Конечно, на двухсотлетие все прибегут. Зал будет полный. Ведь сейчас это уже официальный праздник, вся страна встанет «под козырек». Уже такое в тридцатых годах было. Общественную идею ищут, а здесь как раз Пушкин... — Зазвонил телефон, и Валентина Федоровна, извинившись, некоторое время с кем-то беседовала.

— Я все больше чувствую, что в Пушкине — огромный потенциал нашего национального примирения, — сказал я, продолжая развивать тему общенациональной идеи. — Мне кажется, что именно он — ключевая фигура нашей истории. В России так много было злых гениев, а Пушкин — гений добрый. Что же делать, чтобы к нему обратились?

— Что делать, что делать? — едва не рассердилась на меня Валентина Федоровна. — Научиться читать! Научимся читать — станем понимать. И главное — дети. Если они не будут знать Пушкина — они себя забудут. Вот были такие удивительные старики — Цявловский, Жирмунский, Томашевский, Сокольский. В самые трудные годы, когда были разруха, голод, гражданская война и, кроме воблы, ничего не было, они собирались то у одного, то у другого на чай, заваренный морковкой, читали Пушкина и комментировали на все лады. Вообще ни один мыслящий человек мимо Пушкина пройти не сможет. Даже если захочет. Он притягивает. Если есть какие-то пустоты в нашем сознании, Пушкин невольно начинает их заполнять.

— Президент наш тоже мимо Пушкина не прошел. Написал о том, что Пушкин, мол, «любил нас, нынешних», что-то в этом роде.

— Он не любил нас. Он просто догадывался, что не может человечество настолько оскудеть, что потеряет интерес к тому, что запечатлено в Слове. Спросите у своего сына, что он знает о Пушкине.

— Боюсь даже спрашивать.

— То-то же!

— А вот этого запала вам хватит? Сейчас уже все согласилось с тем, что был «тверской Пушкин». Но все это не может вновь замереть, угаснуть? Не может ли Пушкин вновь «выветриться» из тверской земли или, точнее, из головы тех, кто здесь живет? Ведь все держится на таких, как вы. Пока вы есть, все вроде поддерживается.

— Может быть, сравнение мое будет не совсем доказательным... Когда мы ставим пластинку на проигрыватель, то можем прибавить или совсем убавить звук, так что ничего не будет слышно. Но ведь пластинка крутится — и музыка продолжается, живет, льется. Нам только не надо выключать звук. Может, не стоит кричать каждый день: «Пушкин! Пушкин!» Может, лучше его спокойно читать и думать над прочитанным? Может, и не каждый день читать и не каждый час думать. Мы же не роботы. В нашу жизнь каждый день приходит что-нибудь новое, иное. Пушкину было бы страшно представить, что у нас, его потомков, есть лишь он. У нас есть целый мир, тот самый, в котором Пушкин жил. Посмотрите на его библиотеку, на книги, которые он успел прочесть. Вот и нам надо успеть.

— Вообще то, что вы делаете, — это частное дело Твери, Торжка или это имеет какое-то значение, скажем, для Сахалина, Калининграда, Екатеринбурга или Тобольска? Имеет ли значение «тверской Пушкин» для остальной России?

— Я не знаю, что это дает Тобольску, но сам Тобольск мне интересен тем, что

там жил и творил Ершов, что он там похоронен. И если я не буду знать Ершова тобольского, то не узнаю Ершова русского. Очевидно, и для тамошних жителей так же. Здесь есть такое счастливое обстоятельство, как дорога из Петербурга в Москву, проходящая через Торжок. Известно, что Пушкин проезжал по этой дороге более тридцати раз. Но ведь дорога — это жизнь, люди... Как же понять его жизнь, если не поймешь этот отрезок Пути с большой буквы, который он «проживал»? Что он здесь видел? Что чувствовал? Есть Псков, Новгород, есть Вышний Волочек, Тверь... — и всюду что-то обласкано его взором, его мыслью. И везде люди, которые по-разному испытывали притяжение и к его дороге, и к тому, кто по ней ездит. Тверской губернии повезло. Пять раз Пушкин специально приезжал сюда. Подумать только! Значит, эта земля ему небезразлична. Как же это может быть неинтересно России, если это жизнь Пушкина?

Поблагодарив Валентину Федоровну за рассказ и угощение, я договорился с нею о встрече на следующий день на «Троицких гуляниях». Попрошавшись, вышел из подъезда, сел в машину и не спеша поехал по вечернему Торжку, по самой длинной улице, носящей имя Феликса Дзержинского, в сторону Митина. На улице было довольно много народу, особенно молодежи. Завтра суббота — нерабочий день.

...Вспомнились слова Валентины Федоровны о том, что Тверской губернии повезло: «Пять раз Пушкин специально приезжал сюда!» Еще бы! Приезжал, жил, слушал, разговаривал... И в этом пребывании и во встречах здесь, между прочим, во многом было сформировано его представление о женщине. Что тут скажешь? Повезло тверским женщинам: они были обласканы «взором поэта». Да и не только взором... Но ведь и самому Пушкину тоже повезло, что именно тверские женщины оказались на его пути. Ведь все эти рассказы Валентины Федоровны о том, что «пришло время», «постучался Пушкин», «настал час» и тому подобное — лишь лирическое оформление ее собственных ощущений. На самом деле тверской пушкинский ренессанс произошел именно и только благодаря самой Валентине Федоровне Кашковой и таким, как она. Все это стало возможным благодаря какой-то необъяснимой, до конца не разгаданной любви женщин к Пушкину. Об этой любви как будто пишут много, да все никак ее не разгадают. Что-то между Пушкиным и женщинами существует такое, чего нет и не может быть, например, между Пушкиным и мною. У нас, мужчин, к Пушкину — уважение, почтение, понимание, восхищение, у некоторых — обожествление... Кажется, много, на самом деле — не более того. Потому что только у русских женщин к нему — любовь. А это гораздо значительнее всего прочего. Поэт жил, писал, творил... Прошло без малого два века, а они его по-прежнему любят. И вот одна из них, тверская девушка, которая вполне могла стать героиней Пушкина, той же Татьяной Лариной, живи она в его время, любит поэта, посвящает ему часть души, сердца, жизни, изучает, что-то ищет в архивах, находит и приносит это другим, охраняя поэта от неправды и пошлости, пишет десятки, сотни статей, затем одну книгу, другую, третью... десятую, проводит встречи, выступает перед самыми разными людьми, вместе с такими же подвижниками, как сама, организует музей, но, главное, на протяжении четырех десятилетий преподает русскую литературу и русский язык молодым людям, будущим учителям, со всего тверского края! Представляете! Идут годы, светловолосая тверская девушка с немного раскосыми глазами становится зрелой, мудрой женщиной, опытным педагогом, заслуженным учителем России и даже почетным жителем Торжка. А любовь к Пушкину — не угасает, и верность ему — сохраняется.

Кем же надо быть, чтобы так тебе верили! Что совершить, чтобы и спустя два века тобой увлекались, читали, да что читали — чтобы тебя так чувствовали и в тебе нуждались! Как нужно было прожить и как надо было вжиться в свою страну, в людей, чтобы так их с собою связать! Наконец, как надо было их любить, чтобы через поколения тебе отвечали взаимностью и чтобы такая женщина, как Валентина Федоровна Кашкова, всю жизнь верой и правдой служила тебе!

Пушкиным надо быть! И написать «Евгения Онегина» да к нему еще небольшой стишок, вроде «Я помню чудное мгновенье...». Этого достаточно.

С этими мыслями я вернулся в санаторий «Митино», где нашел своего Режиссера.

Он уже изрядно устал. Целый день бродил по окрестностям Митина, по берегам Тверцы, был в Прутне и даже разговаривал с местными жителями. По его словам, он не скучал.

Мы вышли на балкон. Вид перед нами открылся божественный: закат, Тверца,

зеленый лес... У меня из головы все не выходил разговор с Валентиной Федоровной, а Режиссер, как будто почувствовав мое настроение, медленно и задумчиво прочел:

Был вечер. Небо меркло. Воды  
Струились тихо. Жук жужжал.  
Уж расходились хороводы;  
Уж за рекой, дымясь, пылал  
Огонь рыбацкий...

— Вот ведь;— серьезно произнес я,— действительно гений! Ничтожного жука и то без внимания не оставил. Иной поэт побрезговал бы насекомым, а этот...

— Болтун вы,— сказал, улыбаясь, Режиссер.

Мы рассмеялись и разошлись по номерам.

### *ДОБРОЕ УТРО В МИТИНЕ*

Наступило утро седьмого июня.

Я уже давно не видел настоящего солнечного утра, потому что живу в Москве, да еще прямо на Садовом кольце, то есть в таком месте, где, несмотря на солнце, сразу и не поймешь — утро это или уже вечер. А здесь! Тишина, свежесть, простор, птицы щебечут...

Однако любоваться этими красотами было некогда. Надо спешить на завтрак, и мы с Режиссером, спустившись на второй этаж и пройдя длинным коридором, подошли к огромной столовой, где могли одновременно разместиться... даже не знаю сколько человек. На двери, перед входом, две надписи, одна из которых строго запрещает вход в столовую «посторонним лицам», а другая так же строго запрещает «вынос из столовой посуды и столовых приборов». Обратил я внимание и на висящий в золоченой рамке «План эвакуации» — непременный атрибут всякого учреждения. Такие планы висят и в коридорах, и даже в каждом номере, указывая стрелками, «куда эвакуироваться», случись какое-нибудь несчастье.

В столовой почти все столы были заняты участниками общероссийского совещания пожарных, которые проживали здесь же, в санатории. Они мирно завтракали, готовясь к своим профессиональным делам. На специальных тележках им подвозили тарелки с едой. Колеса этих тележек хотя и скрипели, однако все же не так, как на аналогичных тележках в самолетах «Аэрофлота». Но если в самолетах этот скрип не без успеха соперничает с шумом реактивных двигателей, то в столовой санатория «Митино» он сведен на нет несмолкаемым гвалтом посудомоек, разносчиц, поваров и прочего «обслуживающего персонала», которые находятся где-то в глубине столовой и постоянно между собой бранятся. Так что скрип тележки способен уловить только очень утонченный или, как у меня, придирчивый слух.

Гостей пушкинского праздника разместили за отдельными двумя столами. А нас с Режиссером по моей просьбе за еще более отдельным, находящимся где-то за кухней, да еще за большим шкафом.

Обслуживали, точнее, развозили еду румяные, дородные женщины, которые при этом вели себя так же очень шумно, перекрикиваясь через весь зал.

Меню предлагалось накануне, и каждый должен был карандашом отметить, какое именно из предложенных блюд он предпочитает. Против каждого блюда указывалось количество калорий, а на оборотной стороне меню подробно рассказывалось о значении витаминов. Еще важно было отметить карандашом в меню номер своего стула (именно стула, а не стола!), чтобы добросовестные разносчицы пищи не перепутали блюда и не принесли вам заказ соседа. Сами блюда были такие, что даже половину и даже четверть их съесть было невозможно. А еще давались очень пышные ватрушки с творогом, а кто не хотел ватрушек, тому предлагались такие же пышные сладкие булочки. После двух-трех кусочков ветчины и утреннего парового шницеля с вермишелью или гречей такая булочка со стаканом сметаны — в самый раз!

Вообще, если уж мы заговорили о еде, надо сказать несколько слов о котлете. Не о конкретной котлете из меню санатория «Митино», а о нашей русской Котлете. О ней до сих пор мало сказано и еще меньше подумано, совершенно несопоставимо с действительным статусом и значением котлеты для жизни нашего «некоторого царства, некоторого государства». Ведь если о дорогах наших и наших же дураках написаны многие тома, то о котлете нашими мыслителями не сказано почти ничего. И, действительно, чего им о котлетах думать, говорить, тем более писать? Их надо с аппетитом уплетать — и все тут. А между тем котлеты наши — достойные на-

циональное и явление сугубо отечественное. Можно объездить весь мир и не найти даже крохотной холодной котлетки, столь любимой и знакомой всем жителям нашей страны. Я думаю, у нас не в почете стейки и прочие куски мяса (хотя и от них мы при случае не отказываемся) от нашей природной гуманности и сочувствия ко всякой живой твари. Как ни крути, а кусок мяса — это неотъемлемая часть животного, и не какого-нибудь, а своего, домашнего, почти родного, — коровы или свиньи. Котлета же, как правило, имеет отношение к этим невинным животным чисто символическое и со всеми добавками является продуктом скорее вегетарианским, нежели мясным. Оттого наша сердобольная душа не очень тяготеет при поедании котлет и перед Богом чувствует себя менее виновной, чем душа какого-нибудь англичанина или француза, жующего «*roast-beef окровавленный*». И вообще котлеты — это нечто органически для нас приемлемое, нечто свое, родное, вроде картошки или хлеба. Только картошку и хлеб едят и кроме нас, а вот чтобы кто-то еще ел котлеты да в таком количестве — мне неизвестно. А сколько рецептов приготовления котлет! Пригласите пять наших российских хозяек и спросите: как они готовят котлеты? Тотчас узнаете пять совершенно разных рецептов. Спросите у десяти женщин — получите десять рецептов, поинтересуетесь у сотни — узнаете сто разных способов приготовления котлет, и так — бесконечно, потому что столько, сколько есть у нас хозяек, ровно столько и способов приготовления котлет. А сколько разновидностей котлеты! Так сказать, «псевдонимов» — это и шницели, и биточки, и бифштексы, и тефтели, и всякие прочие «ежики», которые сопровождают нас по жизни и не выводятся ни из меню домашнего, ни из общепитовского. А как их оттуда убрать? Чем заменить? Ведь котлеты устраивают не только тех, кто их поглощает. Тут не остаются внакладе повара, снабженцы, прочие, близкие к общепиту работники. Да и в наших домашних условиях, когда над хозяйкой, словно дамоклов меч, витает вопрос: «Чем накормить?» — котлета иной раз спасительный выход из многих затруднительных ситуаций. А ну, попробуй сделать стейк из килограмма нашего магазинного мяса да еще потом накорми этим килограммом человек пять-шесть. А так его можно прокрутить через мясорубку, добавить чесноку, лука, перца, соли, пару яиц, затем сунуть туда побольше размягченного белого хлеба, а дальше все это обваливается в муке, и уже не видно ни прожилок, ни сала, ни прочего, чего, может, и есть — то нельзя. И, пока всего этого не видно, приходит черед сковороды, и уже слышен ни с чем не сравнимый звук шкворчания, а еще через мгновение разносятся по квартире и подъезду запахи жареного. Соседи завидуют, а если бы еще знали, что будет к котлетам роскошный гарнир: макаронны, картофельное пюре или хотя бы та же греча... Чем не пир! Кто хоть раз возражал против котлет? Есть ли такие у нас? Я их не знаю. И, что еще для нашего человека важно, котлеты, как правило, остаются. Их можно хранить много дней, и ничего с ними не случится. Согласитесь, иной раз достанешь из холодильника такую котлету, к ней солёный огурчик или квашеную капустку, да еще ко всему этому ледяной водочки... А еще можно такую котлету брать с собой куда угодно: на работу, в поход, в дальнюю дорогу... Иностранцы хватаются за голову: «Там ведь жир! В холодном виде это опасно для желудка! Вредно для здоровья!»

Ничего не понимают эти иностранцы. Какой еще жир, какой желудок и какое здоровье, если котлета — это то небольшое, от чего нам хорошо? А если хорошо, то и полезно. Или не так? Нет, недаром и Александр Сергеевич своему закадычному другу Соболевскому советовал:

...На досуге отобедай  
У Пожарского в Торжке,  
Жареных котлет отведай (именно котлет)  
И отправься налегке...

Слышите? Наш национальный поэт настаивал — «именно котлет!» А Пушкин знал толк и в котлетах. На то он и Пушкин!

Итак, из всего меню мы с Режиссером съели лишь шницеля да еще поковырялись в творожном пудинге, извлекая из него горы изюма.

— Чего не едите? — строго спросила нас подошедшая разносчица.

Режиссер тихо сказал, что в такое время вообще не ест, а я признался, что пытаюсь похудеть.

— Где ж там худеть? И так одна кожа да кости, — громко и сочувственно произнесла русская женщина.

Из жалости к нам, а может, из уважения к гостям пушкинского праздника она принесла нам свежезаваренный чай с лимоном. (Для всех чай здесь заваривается в

больших чанах, разливается затем в чайники, которые и подают: один на два или три стола.) Но, как это бывает со щедрой русской душой, кружки лимона, положенные или скорее засунутые в наши стаканы, были такими толстыми, что пить чай было просто невозможно. Мы, конечно, не подали виду, а Режиссер сразу вспомнил, что Пушкин не любил чай.

— Терпеть не мог, когда у него просили на чай, а не на водку. А когда ему приятель однажды сказал, что обычай пить чай благодетелен для нравственности и этому надо бы радоваться, Пушкин неожиданно сказал, что пить чай — не русский обычай.

— С чего это он, как вы думаете? — спросил я.

— Кто его знает? Может, ему однажды лимона переложили.

Еще немного посидев за столом, мы, поблагодарив персонал, удалились.

### «ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЯ»

Этот древний праздник, как сообщают краеведы, приурочен к одному из самых ответственных периодов народного земледельческого календаря — седьмой неделе после Пасхи. Неделю эту наши предки называли по-разному: «семиковой», «русальной», «зеленой». Молодежь в течение этой недели устраивала гуляния, игры и хороводы вокруг березки в лесу, на берегу реки или в деревне. Праздник ждали весь год и тщательно к нему готовились.

Поскольку тверской край неразрывно связан с именем А. С. Пушкина, то «Троицкие гулянья» стали частью Недели литературы и искусства, посвященной 198-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича. Два народных праздника соединились, и уже несколько лет в Торжке их отмечают вместе.

Проходят «Троицкие гулянья» на берегу Тверцы у деревни Василёво на территории Музея деревянного зодчества. Вход — платный, что справедливо. Все-таки были задействованы различные городские службы, для которых организация праздника была работой. Тем не менее кто очень хотел — мог попасть на территорию музея и просто так. С гостей праздника, которых встречали у входа принаряженные в яркие народные одежды новоторки, требовали исполнения какого-нибудь номера, например, песни, или стиха, или просто шутки. Особо важным гостям преподносили традиционные хлеб да соль: только что испеченный, золотистого цвета каравай. Наконец-то и я — впервые в своей жизни — удостоился такого внимания.

До этого я наблюдал подобное чествование лишь на экране телевизора. Вспомните, как какой-нибудь важный гость сходит по трапу самолета, или выходит из поезда на перрон, или высаживается из лимузина, а его уже встречают красавицы в народных костюмах и с поклоном преподносят каравай. И эти высокие гости вели себя как-то неловко, почему-то терялись, нервничали... Сначала осматривали каравай, потом, неуклюже наклонившись, откусывали от него или отщипывали кусочек своими не приспособленными для этого дела руками и клали в свой начальничий рот. А иные, особенно высокомерные, не делали даже и этого: просто брали у красавиц каравай и передавали помощникам или охране, считая для себя невозможным прилюдно жевать. И каравай, только что бывший в фокусе всеобщего внимания и находившийся в эпицентре события, в одно мгновение уходил даже не на задний план, но вообще переставал для всех существовать. А между тем мне интересна судьба этого недоеденного каравая: что с ним происходит после того, как символический акт гостеприимства уже совершен? Куда его девают после торжественной церемонии? Может, высокий гость затем спохватывается: мол, куда дели каравай? Или, может, охрана съедает его тут же за углом?

В отличие от официозных и казенных каравай в Василёве предусмотрительно разрезали на кусочки, так что ни отщипывать, ни тем более откусывать его не пришлось, равно как и размышлять о том, что с ним случилось после церемонии: каравай вскоре был просто съеден.

Сразу же у входа в музей начиналась ярмарка. На ней были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, и я уже было направился к первому лотку с какими-то яркими и необычными игрушками, но тут мое внимание было отвлечено появлением необычного существа — искусственной лошади.

Этот забавный номер всегда пользуется успехом, и, наверно, многие хотя бы раз в жизни его видели. Не знаю точно, как это делается, но, кажется, сначала создается муляж лошади: с гривой, конской мордой, хвостом, уздечками и шорами, а затем все это надевается на двух артистов, которые, как могут, имитируют это умное животное, добавляя в его поведение немного человеческой дури.

Но здесь модель лошади была до предела упрощена. Обыкновенную мешковину натянули на двух самодельных артистов и туда, где должна находиться голова, пришили еще один мешок, в нем прорезали дырки для глаз и сделали некое подобие рукава, который при богатом воображении можно принять за вытянутую лошадиную морду. «Рукав» этот не был жестко приспособлен и потому свисал вниз, больше напоминая короткий толстый хобот, нежели морду лошади. Ни гривы, ни ушей, ни ноздрей у этого существа не было, так что где-нибудь в Африке оно вполне сошло бы за слона, а в Австралии — за кенгуру. Здесь же, в исконно русском крае, все прекрасно понимали: это лошадь.

— А может, не лошадь? — спросил я у сопровождавших меня организаторов праздника.

— А что же это, по-вашему? — ответили мне вопросом.

На гриву, ноздри и прочие конские детали, сказали мне, нужны большие средства, а поскольку денег выделено не было, то и лошадь оказалась соответствующей. Как говорится, чем богаты...

Артистов, как мне показалось, в эти мешки на время праздника зашили, чтобы они уже никуда не делись. Видимо, для большей красоты к туловищу описываемой лошади были пришиты красные, синие и зеленые лоскуты, так что настоящие кони, если бы увидели, шарахнулись. Но то кони, а народу нашему и особенно детям именно такое и нравилось. Лошадь все время норовили покормить, просовывая в условную пасть конфеты, булочки, печенье, а один гость праздника пытался засунуть в рукав целый шашлык и, когда кто-то из детей сказал с укором, что лошади не едят мяса, из пасти послышалось глуховатое: «Едят, едят!»

Нетрудно догадаться, что кормили и поили лишь первую половину условного животного — следовательно, того артиста, который был спереди. Второму, видимо, не доставалось ничего, а поменяться местами они не могли ни по техническим причинам, ни из-за большой разницы в росте: в этом случае выделялась бы не голова, а задняя часть лошади. Наверное, поэтому к концу праздника эта наугощавшаяся половина едва вполчила ноги, в то время как задняя часть животного была в полном порядке. От этого лошадь уже больше походила на айболитовского Тянитолкая.

Теперь, отвлекаясь от этой диковинной лошади, я хочу рассказать о тех изделиях декоративно-прикладного искусства, которые были выставлены на обозрение. Не обо всех, но лишь о тех, которые я успел увидеть.

Вот принаряженные девушки показывают всевозможные тканые изделия — вышивку крестом и филейную гладь: полотенца, скатерти, накидки на подушки, салфетки, покрывала, занавески, скатные одеяла. Все это демонстрируют девушки-мастерицы из Твери, из акционерного общества «Лучинушка» — Оля Ковалева и Клава Смирнова.

Рядом — работы членов акционерного общества «Оберег» при школе-интернате № 2. Возглавляет это общество Константин Анатольевич Котовский. Он на празднике со своими работами.

Старича была представлена Центром русской культуры. Изделия показывали и продавали вышивальщицы Лидия Михайловна Карасева и Тамара Козакова. Кроме работ вышивальщиц, были представлены мягкая игрушка, плетение из бересты, расписные разделочные доски и матрешки...

Эти матрешки здесь были настоящими, в виде полноватых крестьянских девок, а не засунутых друг в друга горбачевых, ельциных, сталиных, лениных или брежневых, какими торгуют на Арбате или в других столичных местах, привлекая иностранцев. Из этих, кстати, только матрешка-брежнев действительно похожа на прототипа, потому что именно в том месте, где обычно идет расширение шеи у матрешки, шло расширение и у Леонида Ильича. Так совпало! У других же советских деятелей такого сходства с матрешками нет: ни головами, ни туловищами, ни прочими частями тела они под наши матрешки не подходят, и потому выглядят эти деревопродукты просто уродливо. Но все равно их делают, а иностранцы — покупают.

Далее мое внимание привлек прилавок с куклами. Изготавливает их торжокский умелец Эмма Александровна Васильева. Шьет им костюмы, рисует лица, делает парики и прочее. Она сама и ее продукция в Торжке известны. В местном Доме культуры есть даже выставка ее «кукольных портретов» — политиков и деятелей культуры, но только персоны эти не общероссийского, а районного масштаба. Говорят, что никто Эмму Александровну делать кукол не учил, она сама каким-то образом всему научилась. Вообще на ярмарке куклы были самые разные: сказочные персонажи, клоуны, звери... Особенно привлекают полуметровые Баба Яга с длинным крючковатым носом и такого же размера ее извечный товарищ по темному ремеслу — Кощей Бессмертный.

Сейчас, с проникновением к нам западной кино- и телепродукции, в наши дома ворвались чуждые нам монстры и чудовища, всевозможные киборги, терминаторы, вурдалаки и еще невесть что. Кричат, визжат, брызгают слюной, бряцают клыками и челюстями! А жаль. Ведь у нас самих много чего есть достойного, не менее страшного и прожорливого. Еще неизвестно, как бы повел себя хваленый заморский терминатор, увидав летающую в ступе бабушку с крючковатым носом, пытливым взглядом и увесистым помелом... А ведь есть еще у нас Змей Горыныч «о трех головах», затаившийся в листве соловей-разбойник, есть леший, ведьмы разные, чудища поганые и еще многое прочее, что незаслуженно забыто и высокомерно оттеснено на задний план. Пусть страшные, ничего что поганые и злые, но зато свои, родные, домашние...

На нескольких лотках расположились всевозможные деревянные поделки: разного размера черпаки, братины — большие чаши, куда наливали брагу или пиво, пу- скали по кругу, поочередно пили и тем самым братались; небольшие ковши, из которых тоже угощали гостей, кроме того — подносы, ложки, половники...

— А что это такое? — спрашиваю у девушек, представляющих товар.

— Это черпаки, — отвечают мне.

— А что же ими черпать?

— Как что? Вы купите и сразу найдете что черпать, — отвечают, улыбаясь, девушки.

— Так ведь нечего черпать, — говорю я, разглядывая небольшой черпачок, который мне чем-то понравился. — Купить просто так, для декоративного оформления интерьера, нехорошо. Вещь должна использоваться по назначению. Вот Лувр в Париже — огромное здание, а не декоративное: французы нашли ему применение. Черпачок же этот вроде бы совсем крохотный, а куда его?

Тем временем вокруг нас уже собралось несколько человек.

— Ну, что значит «нечего черпать»? Не может такого быть, чтобы в хозяйстве ничего не надо было черпать, — сказал какой-то мужчина.

— Знаю, — отвечаю я, — но вот думаю, напрягаюсь изо всех сил и никак не могу представить: что в нашей жизни можно черпать? Если надо, скажем, из кастрюли налить суп, то пользуемся половником. Дальше для супа нужна ложка, а потом, для второго, — уже вилка или просто руками, но чтобы черпать?.. Просто нечего черпать, — отчаялся я, но черпак из рук не выпускаю.

— Да зачем выяснять? — сказала принимавшая участие в обсуждении проблемы женщина. — Лувр какой-то выдумал... Купите, поставьте дома, и пусть стоит, вещь-то вон какая красивая! С ручкой, резьба уникальная, это же произведение искусства!

Купил я все-таки этот черпак. Ведь действительно иной раз хочется чего-нибудь зачерпнуть — и нечем. Так теперь хоть будет чем.

Из деревянных игрушек я обратил внимание на небольшую скульптурную композицию, изображающую начальную сцену одной известной драмы: стоит, виновато потупя очи и облокотившись двумя руками на посох, чтобы не свалиться, несчастный старик; перед ним — разбитое корыто, а по другую сторону этого корыта — старуха, в непреклонной позе, засунув обе руки в рукава и скрестив их на своем старушечьем животе, да с такой страшной и недовольной рожей, что не приведи Господь!

Уж не знаю, с кого умелец вытесывал эту старуху, но, видимо, где-то в глухих тверских лесах или на болотах обитают такого рода особи. Так ведь надо их найти, уговорить позировать, как-то объяснить, зачем все это нужно. А вот золотой рыбки в этой сценке нет. Но, может, это вовсе и не начало драмы? Может, как раз наоборот, это финал, и уже вся эта история заканчивается? Что толку гадать, итог-то один — разбитое корыто.

Скульптурную композицию я покупать не стал, но вот деревянную игрушку, которая живо напомнила мне детство и которую я уже, наверное, лет тридцать не держал в руках, — купил не задумываясь. Что же это за игрушка?

Это небольшой кружок фанеры, расписанный узорами — ромашками с зелеными лепестками на красном фоне. На дощечке стоят четыре деревянных курочки и один петух с поднятым вверх большим хвостом. Птицы, как и сама дощечка, тоже разрисованы в ромашку. Так вот, туловища этих куриц (и соответственно петуха) жестко прикреплены к фанерному кружку, но голова и вытянутая шея свободно болтаются на тоненьком штырьке. К каждой из этих куриных шей прикреплена своя отдельная нитка, которая затем пропускается вниз через небольшое отверстие. Там нитки соединяются и к ним прикрепляется груз в виде деревянного шарика. И когда начинаешь это все вращать, то куры (и соответственно петух) ударяют по фа-

нерке головами, словно молоточками, изображая клевание зерна. Интенсивность такого клевания зависит напрямую от скорости вращения кружка. Игрушка почему-то называется «Куры авторские». Иногда, втайне от всех, я не спеша вращаю эту игрушку: куры клюют зерно и постукиванием успокаивают нервы, расшатанные суматошной Москвой.

По такому же принципу устроено еще несколько деревянных игрушек, главный персонаж которых — медведь: он и по наковальне стучит молотом, и руки моет под умывальником, и даже работает на компьютере. Но мне больше понравились именно клюющие курочки.

Среди деревянных игрушек я заметил также Емелю-дурака, нарумяненного и почему-то с очень тонкой талией. В одной руке этот Емеля держал ведро, а в другой — только что пойманную щуку. Бедная щука была выгнута дугой, больше напоминающая небольшое коромысло. Был здесь и воин-богатырь, за доспехами которого было невозможно разглядеть, есть ли у него руки, и очень интересная игрушка — леший.

Этот леший представлял собой обыкновенный лесной пенек, поросший мхом и грибами-поганками, и из пенька торчала смешная, болтающаяся на пружине голова, как и пенек, обросшая мхом. Кроме головы, из этого пенька выглядывали большущие лешачьи руки с ногтями, выкрашенными в зеленый цвет. На голове у лешего отстраненно сидела маленькая птичка, тоже почему-то зеленая, но не попугай. Вроде очень смешно и забавно. Но это здесь, среди бела дня, на ярмарке, где много народу и есть даже милиция. А попадись такое ночью где-нибудь в лесу или на болоте — вмиг зайкой станешь.

Еще я купил две маленькие расписные глиняные игрушки — петушка и коровку. Петушок этот классический, гордый, стройный, с поднятой кверху головой, сразу видно, что делал этого петушка опытный мастер. А вот коровка попалась странная. Она, во-первых, меньше петушка; во-вторых, взгляд у этой коровки какой-то удивленный, а на голове между рогами — кудрявый красный чубчик и еще в носу — большое синее кольцо; кроме того, у коровки почему-то всего две ноги, а вместо туловища идет к хвосту простое сужение организма, как это устроено у тюленей или моржей, и все заканчивается маленькой дырочкой, в которую нужно дуть, потому что коровка, как мне подсказали, — это еще и свистулька. И петушок, оказывается, тоже. Любопытно, но коровка, несмотря на то что меньше петушка, издает, как и положено корове, звук низкий, а петушок пищит довольно высоко. Была там еще такая же глиняная игрушка-козел, с большими желтыми растопыренными рогами и с коричневой в белый горошек бородой, но козла я почему-то покупать не стал и теперь очень жалею: была бы у меня еще и свистулька-козел.

Несколько слов об этих самых свистульках надо обязательно сказать. Если кто-то считает, что их придумали для пустой забавы, лишь для того, чтобы люди свистели от нечего делать, то он глубоко ошибается. Древние славяне с помощью этих свистулек прогоняли нечистую силу перед пахотой. Выходили в апреле толпой в чисто поле и давай свистеть что есть мочи. Шум вокруг Торжка поднимался невообразимый, зато злые духи пугались и уходили туда, где не свистели. Но там, где не свистели, народ наш древний дико кричал; а где не кричал, топал ногами, трещал трещотками и хлопал хлопучками — словом, отовсюду старался злых духов прогнать подальше. Вот и оставались для несчастных лешего, Бабы Яги и их гонимых друзей лишь непроходимые лесные чащи да болота. А поживи-ка на болоте месяцок-другой среди лягушек, головастиков, водорослей вонючих и прочей гадости — еще и не таким злым станешь.

Кроме того, что народ в эти свистульки свистел, он еще и закапывал их под порог своей избы. Опять-таки чтобы в дом не проникла нечистая. Поэтому археологи часто находят свистки именно под порогами древних строений. Мне говорили, что и сейчас иной новоторец не прочь подложить под свой порог какого-нибудь свистящего козла или петуха.

Выглядели эти глиняные свистки очень просто. Они не разукрашивались, что лишний раз доказывает их сугубо деловое предназначение. Игрушками свистульки никогда не считались, как не считается игрушкой и свисток постового или футбольного судьи.

Прошли столетия, и урожай стал зависеть не от свиста, а от плана. Свистки забылись и уже мало кого интересовали, но нашлась женщина (опять тверская!), которая увидела в таких вот свистульках нечто большее, чем средство спасения от нечистой. Оказывается, стоит только всех этих козулек, петушков, лошадок и коровок разукрасить, как сразу те превращаются в живых персонажей сказок, побасе-

нок, преданий и могут явить собой иллюстрацию истории и культуры края. Нужно только суметь найти цвета, орнамент, сочетание красок; надо знать историю местности, традиции своей земли, любить и чувствовать природу, и не только местную; надо понимать характер народа, который живет в этих местах, чтобы уловить его черты... — словом, надо знать и уметь очень многое. Еще ко всему этому необходимо добавить трудолюбие и усердие да еще робость перед Господом. Лишь тогда можно выразить в невзрачном кусочке глины сущность окружающего тебя мира. А чтобы этот необозримый мир созданное тобою не отверг, надо суметь маленькой фигуркой доказать свою любовь к нему. Не пустыми признаниями, но творчеством. Вот задачка!

Галина Алексеевна Климовская — торжокский самородок, исследователь традиций, быта и искусства края, учитель, художник, поэт, скульптор, ученый-краевед.

Родилась в Торжке в семье с богатой и славной историей. Она прямой потомок знаменитых торжокских фамилий — Пожарских и Шитаревых. Владение искусством поделок получила по наследству: изделиями из глины занимался дед. Свою первую фигурку Галина Алексеевна слепила еще до войны. В 1958 году ее и таких же комсомольцев забросили в тайгу, где они расчищали площадку под строительство Братской ГЭС и города. Там же Климовская получает профессию лесоруба — пятого (!) разряда. В 1961 году возвращается в Торжок.

Ее дочь Надежда вспоминает, что мама привезла из тайги множество впечатлений и сюжетов о медведях, о природе Сибири, о жизни строителей. У нее тогда были написаны стихи и рассказы, которые печатались в местной торжокской газете. До 1974 года Галина Алексеевна работала директором Торжокского дома пионеров. А легкой серьезно начала заниматься в 1968 году. Как активную комсомолку, ее убеждают в необходимости открыть мастерскую по глиняной игрушке, и она выполняет партийное поручение. Но уже через год уходит из мастерской в педагогическое училище, где до самой пенсии преподает изобразительное искусство.

Днем Галина Алексеевна в аудитории, а ночью создает сказочный мир глиняной игрушки. И достигла она в этом высокого мастерства и признания. Ее игрушки видели на выставках в Москве, Ленинграде, Мурманске, Архангельске, Суздале и даже за рубежом. В 1994 году она полтора месяца провела во Франции, демонстрируя свое искусство.

Г. А. Климовская окончила два института, участвовала во множестве научных экспедиций, увлекалась серьезно астрономией, археологией, историей и краеведением. У нее хранятся рукописи двух написанных ею книг: о золотном шитье и история Торжка. Кто хочет ознакомиться со степенью профессионализма и компетентности Климовской, может прочесть ее статью о золотном шитье в журнале «Тверская старина» № 2 за 1995 год. Более серьезного и скрупулезного материала о золотном шитье я еще не читал. Представляю, какова ее книга!

Кроме того, Климовская была страстным туристом. Вдвоем с мужем они перешли Кавказский хребет. Она даже ходила в связке через ледники. В море заплывала за горизонт. Летом ее нельзя было застать в Торжке, потому что Галина Алексеевна путешествовала и жила в палатке. Любила она также и рыбалку. И не только летнюю...

20 декабря 1995 года, в стужу, она отправилась на рыбалку, на озеро близ деревни Борисцево. В семь утра она шла вдоль железнодорожного полотна. Навстречу двигался снегоочиститель. Каким-то образом этот снегоочиститель своим скребком зацепил Галину Алексеевну. Спустя несколько часов она скончалась.

Галина Алексеевна Климовская похоронена на кладбище, в двухстах метрах от дома, в котором жила.

Несчастный случай — проклятый снегоочиститель.

Счастье для земляков, для нас всех — явление Галины Алексеевны, с ее талантом, трудолюбием, подвижничеством и красотой. Вечная ей память!

Далее мне встретился лоток со знаменитым торжокским золотным шитьем... Что же это за чудо! Даже не знаю, есть ли у нас в России еще что-либо подобное, столь же безоговорочно прекрасное. Может, только природа наша да древнерусские храмы...

Когда-то Пушкин, проезжая через Торжок и, конечно же, понимая ценность местного золотного промысла, купил вышитые золотом пояса и подарил их княгине Вяземской. И что вы думаете? Княгиня кокетливо отругала Александра Сергеевича: «Как можно так легко обращаться со своими прекрасными стихами и так сорить деньгами?»

Об этом промысле мы поговорим отдельно и не спеша, а пока я мог наблюдать,

как совсем юные начинающие золотошвей демонстрировали расшитые золотной и серебряной нитью полотенца, салфетки, варежки и еще много чего, в том числе разноцветные бархатные шкатулки, записные книжки, на обложке которых золотые узоры; и, конечно, женские украшения — серьги, броши, пояса...

Представляли весь этот товар милые и улыбчивые девушки, ученицы Торжокского училища золотного шитья. Выслушав мои восторги, они пригласили меня в свое училище и музей, в котором, по их словам, находятся подлинные шедевры этого древнего промысла.

Мы договорились о встрече во второй половине дня, и я, увлекаемый потоком нарядных гостей, направился дальше.

...Здесь, дорогие читатели, я должен вам рассказать о том, что произошло со мною в последующие несколько минут. Неожиданно я был буквально выключен из окружающей меня действительности и перенесен в совершенно иную реальность. Виной тому обыкновенные частушки и даже не частушки, а лишь один куплет, который внезапно запела какая-то резвая исполнительница, да так громко, что и без того быстроходная Тверца метнулась в сторону Волги. В некоторых местах обнажилось дно с оглушенными рыбами и пятившимися в сторону Прутни раками. При этом народная исполнительница так размахивала руками, что было страшно за гармониста. Как человек впечатлительный, я был поражен, и люди с развитым воображением меня поймут. Частушка была такая:

У меня на чердаке корова отелилась.  
Я сама не знаю, как она туда забилась.

Дальше шли другие куплеты, с характерным подвизгиванием и прикрикиванием, но их я уже не слышал, и судьба гармониста меня больше не волновала. В моей голове все отчетливее вырисовывалась удивительная картина: обыкновенная деревенская изба с огромным чердаком; там, на чердаке, на корточках сидит измученная родами корова, которая вместо радости от деторождения виновато смотрит в глаза каждому, прося помощи; рядом с нею еле-еле держится на ножках и шатается только что родившийся теленок, который вообще не понимает, что происходит; вот хозяйка стоит ни жива ни мертва, только всплескивает руками да охает; старик хозяин мечется от сарая к избе в поисках какого-нибудь спасительного для ситуации решения... А вокруг уже собираются люди, соседи и даже жители окрестных сел; все они что-то обсуждают, разводят руками, вздыхают, качают головами, некоторые молча крестятся; а вот уже кто-то несет доски, чтобы соорудить хоть какое-то приспособление и снять с чердака корову с теленком; кто-то предлагает вызвать для этого пожарную команду... При этом никто не смеется. Дело серьезное: корова в предродовых схватках каким-то образом забралась на чердак деревенской избы, там счастливо разродилась и взывала о помощи. Бедное животное, усевшись от содеянного, могло только тихонько мычать, потому что даже и шевелиться особенно было нельзя: изба в любой момент могла рухнуть под ее тяжесть.

Вне всякого сомнения, в основе частушек лежит действительный эпизод из сельской жизни тверского края...

Были на празднике и другие забавные частушки, но запомнилась только еще одна, которую очень радостно пела старенькая бабушка, одетая в народный костюм и окруженная возбужденной праздничной толпой:

Свет погас — это не шутка.  
Раз на ферме случай был,  
Что впопыхах осеменатор  
Аж быка осеменил.

Уже мое воображение принялось было рисовать и эту картину, но тут сопровождающие привели меня в чувство и мы двинулись к тому месту, где проходил детский фольклорный праздник.

Детские фольклорные коллективы из тверских городов, сел и деревень выступали на поляне, возле церкви Спаса-на-Сози, и это была, несомненно, самая трогательная и искренняя часть праздника. Здесь просто нельзя было остаться равнодушным и безучастным. Посмотрите, какие названия у детских ансамблей: «Жерелочки», «Веночек», «Колядки», «Петрушка», «Зернышко», «Журавушка», «Егорка», «Вечорки», «Колокольчик», «Распев», «Ладушки». Произнесите эти названия вслух и услышите в них столько добра, тепла, гармонии...

Я бросился фотографировать одетых в народные костюмы детей, они меня окружили, и завязался разговор. Оказалось, окружили меня «Колядки» — детский

фольклорный коллектив из Торжка. Детишки веселые, открытые, разговорчивые. Впечатление, что мы знакомы уже давно.

Бесценный руководитель и создатель «Колядок» — Елена Алексеевна Зуева. Окончила институт и приехала работать в Торжок. В 1992-м пошла в торжокский Дом школьников и предложила создать детский ансамбль, ее поддержали, и она из третьих классов набрала группу — двадцать человек. Сегодня у «Колядок» областная слава, поскольку они не только участвуют в различных конкурсах, но и побеждают в них. Муж у Елены Алексеевны — боксер. Мастер спорта, тренер. Тоже занимается с детьми.

— А не поет? — спросил я на всякий случай. — Синтез кулачного боя с народными песнями очень органичен и на русских праздниках был всегда уместен.

— К сожалению, не поет, — ответила, улыбаясь, Елена и уже серьезно продолжила: — Эта работа — вся моя жизнь. Не представляю себя на другом месте. У меня совсем недавно умерла бабушка. И в последние дни, когда она уже безнадежно болела, я старалась быть рядом, часто навещала и записывала с ее слов песни. Как же так? Я ходила по селам, деревням, искала песни, записывала их, а под боком жил близкий человек, и я ничего не знала...

В. Ф. Кашкова говорила, что в каждом доме имеется свой архив. Но есть еще самое ценное — наши старшие близкие. Пока они рядом, нам кажется, что это навсегда. И, хотя многое нам дают наши бабушки, дедушки, у кого есть — няни, сколько же мы упускаем из-за своего невнимания к ним. А ведь стоит только приглядеться, прислушаться, быть может, это единственная ниточка, связывающая нас с прошлым семьи, родительского дома, родного края, села, деревни...

Вспомним пример Александра Сергеевича и его няню — Арину Родионовну Яковлеву. Кем она была для него, простая крепостная женщина, получившая вольную в год рождения Пушкина и отказавшаяся от нее, чтобы нянчить маленького Сашу? Что скрывается за этой сухой фразой: «отказалась от вольной»? И когда узнаешь ответы на эти вопросы, задаешься новым вопросом: о роли этой скромной женщины в истории русской литературы.

Поразительно! Как будто самим Господом она была послана Александру Сергеевичу да и нам всем. Ведь мы с детства знаем, что сюжеты сказок Пушкин взял из рассказов няни, что это она прививала ему любовь к народным песням, былинам, она рассказывала ему «предания старины глубокой», от нее он впервые услышал народные слова и выражения, повести и сказки о разбойниках, привидениях, домовых, русалках. Арина Родионовна сумела передать, а Пушкин — уловить необычайно глубокий смысл и потаенную особенность русских народных сказок и преданий.

Няня Пушкина вскормила и всю нашу русскую литературу. Согласитесь, есть в этом чуде и справедливость, и добрый смысл.

Давайте же внимательно присмотримся к тем, кто рядом, кто заботится и печалится о нас. Будем запоминать, а лучше — записывать их рассказы, биографии, жизненные истории, случаи, приключения, кто знает, чем отзовутся они в нас спустя годы или даже десятилетия. Так мы сможем сохранять память, восстанавливать столь недостающую России связь времен и уже не будем ощущать себя временщиками «без роду и племени». Ведь догадайся раньше Елена Алексеевна, с кем живет и кто рядом, сколько бы она смогла сберечь и передать своим воспитанникам, а поющие дети рассказали бы всем остальным...

Тем временем подошла очередь выступать «Колядкам», они сразу же стали серьезными, сосредоточенными, ведь здесь где-то стоят и ждут их выступления родители, бабушки, дедушки, друзья, и, конечно, им стало не до меня. Настоящие артисты!

Я отошел чуть в сторону.

Сменяя друг друга, дети пели, плясали, разыгрывали забавные сценки и старинные обряды. Оторваться от их лиц и особенно от их глаз было невозможно... Я отснял всю оставшуюся фотопленку и ужасно жалел, что не взял с собой еще.

— Откуда же в вапгах края столько милых девочек? Вообще почему новоторки такие красивые? — не выдержал и спросил я у организаторов этого масштабного гуляния после того, как у меня закончилась фотопленка.

Мне с гордостью объяснили, что, мол, это факт общеизвестный и вовсе не удивительный, а для того чтобы у меня не возникало и вовсе никаких сомнений, рассказали известную среди местных жителей легенду, которая, впрочем, вовсе не легенда, а чистая правда.

Оказывается, некогда Екатерине Второй было преподнесено уникальное и не-

вероятной красоты платье, расшитое руками новоторжских золотошвеек. Нигде в целом мире больше не сыскать таких мастериц, и, конечно же, царственная Екатерина пришла в неописуемый восторг от своего наряда. Говорят, что императрица вертелась в этом платье перед зеркалами несколько часов, совершенно позабыв про свои царские обязанности. Трудно в это поверить, но в жизни Екатерины это было единственное платье, в которое она нарядилась дважды!

(А я, зная причуды женщин, думаю, что где-нибудь в своих потайных будуарах она еще не раз надевала это платье и позировала в нем перед зеркалами, примеряя к нему свои самые дорогие украшения, а придворная челядь, выглядывая из-за комодов и шкафов, шептала императрице:

— Ой, как вам хорошо, матушка!

— Сама фишу, что корошо! — кокетливо отвечала Екатерина с отчетливым немецким акцентом, не отрываясь от зеркала. Давно такого с нею не было...)

И вот, восхищаясь новоторжским платьем, императрица якобы потребовала немедленно доставить к себе во дворец ту самую девушку-мастерицу, вышившую необыкновенной красоты узоры, которые, казалось, даже и не вышиты, а отлиты из драгоценного металла — так плотно были прижаты друг к другу тончайшие золотые нити.

Слово императрицы — закон. Это сейчас дело бы утонуло в волоките, интригах и демократических процедурах, а тогда уже через два-три дня во дворец привезли крестьянскую девушку и, соответственно проинструктивровав, представили пред высокими очами Екатерины Великой. И та, взглянув на крестьянку, была поражена, сколь некрасивой оказалась эта девушка, и ужаснулась всевластная императрица тому, сколь велика была разница между девицей и сотворенным ею золотошвейным шедевром.

О, видели бы вы в этот момент взгляд Екатерины! Как она повела своими царственными бровями, как сверкнула очами! Страх Божий! И вот, поблагодарив и поцарски одарив крестьянскую девушку, Екатерина будто бы повелела собрать со всей империи двести самых красивых и статных крестьянок и направить их жить в Торжок, и не просто жить, а обучаться золотошвейному ремеслу, потому что, рассуждала императрица: «Красивые вещи должны делать красивые люди».

Вот, сказали мне организаторы праздника, откуда новоторки такие красивые и милые.

Легенда действительно забавная и, учитывая нравы наших российских самодержцев, правдоподобная. Могли, могли наши властители сотворить и такое.

И все же я (вот скверный характер!) почему-то засомневался в реальности такого события и решил проверить, как же было (и было ли?) на самом деле. Я обошел многие музеи и архивы, встречался с самыми искусственными специалистами и старожилками, подробно расспрашивал их, поднимал всевозможные исторические документы, записки, мемуары и, наконец, докопался до истины, о чем и спешу поведать вам всем, включая и самих новоторов, для которых мои открытия могут оказаться неожиданными.

Действительно, Екатерине Второй однажды подарили расшитое в Торжке платье, и это платье действительно было ею надето дважды, и на самом деле императрица, придя в восторг от него, потребовала к себе во дворец мастерицу. Но далее было совсем не так, как мне рассказывали в Торжке. Было, оказывается, как раз наоборот. Девушка, которая предстала перед Екатериной Второй, была необыкновенной красоты. У нее были огромные голубые глаза, длинные ресницы, светлые волосы, заплетенные в длинную косу, а щеки румяны от великого смущения и робости, которою была охвачена совсем молоденькая крестьянка перед лицом матушки-императрицы. От волнения руки у девушки были беспомощно сжаты в кулачки и скрещены на груди, так что Екатерина, желая разглядеть пальцы умелицы, вынуждена была сама их разжать.

— И что, — обратилась императрица к Потемкину, не выпуская из рук ладони девушки, — у них там фсе такие?

Князь Потемкин, большой знаток данного вопроса, утвердительно закивал головой.

И тогда Екатерина, немного поразмыслив, повелела отобрать двести новоторжских крестьянок-красавиц и направить половину из них в Москву, а другую половину — в Петербург и выдать их там замуж, для того чтобы и в столицах наших появились такие же красавицы, такие же умелицы, какие в изобилии были в этих краях.

— Там они еще нарожают, — сказала Екатерина, подозрительно посмотрев на Потемкина и на подошедших к тому времени братьев Орловых.

— Нарожают, нарожают, матушка, — хором ответили вельможам верноподанные, лукаво переглядываясь.

Вот какие исторические открытия удалось свершить мне после того, как я по-

бывал на празднике в Василёве. А вы, уважаемые читатели, если увидите на улицах Москвы и Санкт-Петербурга длинноногих красавиц, знайте, откуда они взялись и кому своей красотой обязаны.

Несколько раз я упоминаю в нашем очерке словосочетание: «народный костюм» или «народная одежда», и у читателя, вероятно, появляется уже некоторое раздражение: «Что значит «народный», почему об этом не рассказать?»

Но как расскажешь о народной одежде? Она столь разнообразна, что только на описание этих разнообразий потребуется отдельная экспедиция и многолетние исследования. Ведь не только в каждом уезде тверского края, но и в каждом селе и даже в каждой деревне у народной одежды свои особенности и детали.

С мужской одеждой еще как-то разобраться можно: косоротка туникообразного покроя, которая подвязывается поясом, да на праздник белая рубаха с вышивкой на груди. Много ли мужику надо?

А вот с женским нарядом просто беда!

Тут и рубахи разные: «жальные», «сенокосные», «венчалные», «спальные», «купальные»... и все обязательно с искусно вышитыми подольниками; и яркие сарафаны поверх рубах, да так, чтобы сарафаны эти были непременно с нарядной вышивкой, с всевозможными «обкладками», «плетеньками», «нашивками» и еще Бог знает с чем; и пояса с различным орнаментом и расцветкой, желательно золототканые или на худой конец шитые из позумента; и головные уборы — все эти девичьи повязки и «ленты», женские платки, нарядные ряски, кокошники, какие-то «сороки», причем разных видов, и есть еще «шлыки с рогами» (значит, есть «шлыки без рогов») и «позатыльники». И все это не просто так, а подавай с блестками, с жемчугом, расшитое золотной или серебряной ниткой, — словом, чтобы блестело и сияло. А еще добавьте сюда обувь, и тоже, желательно расшитую золотом или серебром; да надо еще надеть всевозможные «обереги» — цепочки, янтарные ожерелья, браслеты из жемчуга, кольца с камнями, перстни и прочее, что противодействовало бы всякому «яду и чародейству».

Представьте, что все это тверские женщины требовали с тверских мужиков. И не только в молодом возрасте. (Вон на «Троицких гуляньях» полно старушек и все они в новеньких народных костюмах!) А куда прикажете деваться мужику? Здесь мелочиться — себе дорожке будет. Не купишь жене какую-нибудь «сороку», не подаришь вовремя «позатыльник» или «оберег» из жемчуга, не дашь денег на «шлык с рогами» — того и гляди, сам с рогами ходить станешь...

Знаете, я прочитал несколько книг по истории тверской народной одежды, и ни в одной из них даже словом не обмолвились о мужских портках. Не о том, какого цвета они или фасона, но вообще имелись ли они у здешних мужиков?

Ответ очевиден, когда узнаешь, с какими расходами сталкивались тверские мужчины, чтобы приодеть своих ненаглядных.

Изучению народной одежды тверского края люди отдают годы и десятилетия, как, например, Людмила Эльмаровна Калмыкова, посвятившая народному искусству тверской земли всю жизнь. Проще уж направить читателя к ее книгам и исследованиям. (См. «Народное искусство тверской земли». Тверь, 1995.)

...Тут меня, размечтавшегося о чем-то великом и значительном, находившаяся рядом Валентина Федоровна осторожно взяла под руку и сказала, что пора ехать в Митино обедать, потому что в училище нас уже ждут торжокские золотошвеи, а после них надо идти в гости к местным поэтам. «Троицкие гулянья» еще продолжались вовсю, а я вынужден был спешно удалиться.

Покидая праздник, я неожиданно увидел Режиссера. Он с кем-то беседовал. Мы перемигнулись, но подходить к нему я не стал, тем более что мы должны будем вскоре встретиться за обедом.

На выходе, у самых ворот, уже знакомая нам старенькая исполнительница продолжала без устали петь:

Развалилась поленица  
Пятнадцати кубов.  
Не развалится Россия —  
Это же не куча дров.

## РЕЖИССЕР И НОЖНИЦЫ

Чем кормили на обед, пересказывать не буду, потому что единственное, чем он отличался от завтрака, — это наличием первого блюда. Да еще, пожалуй, более оживленным видом разносчиц. Правда, народу в столовой почти не было. Советские пожарные уже закончились, и они благополучно разъехались.

После обеда у меня еще оставался час до встречи в училище золотного шитья, и мы с Режиссером, скрывшись в тени, могли поговорить.

— Ну, как вам «Троицкие гулянья»? — спросил я.

— Замечательно! Сколько людей! И лица у всех добрые, приветливые, давно такого не видел. Что особенно хорошо — очень много детей. А как эти дети поют, как пляшут!.. Поразительно! Все-таки мы в Москве ничего не видим и не знаем. Страны своей не знаем. Все что-то пишем, вещаем, пытаемся кого-то учить, а надо бы самим поучиться, присмотреться.

Я тоже высказал восхищение увиденным и услышанным, но меня никак не оставлял вопрос: какое это все имеет отношение к Пушкину? Понимаю, что Пушкин дорог каждому, что он наш самый великий поэт и этого достаточно, чтобы чествовать его до скончания века. Но меня интересовала не символическая, а буквальная связь народного праздника в Василёве с поэтом. Существует ли она? Я спросил об этом Режиссера.

— Как это «какое отношение к Пушкину»? Еще надо подумать, кто к Пушкину ближе — эти люди или мы с вами... Когда я был таким молодым, как вы, мне попалась книжка, изданная в конце прошлого века, и там интересный факт приводится, во всяком случае, многозначительный. Когда Николай Первый помиловал Пушкина и разрешил ему покинуть Михайловское, то за Александром Сергеевичем приехал в деревню офицер, чтобы срочно увезти его в Москву, где находился тогда царь. И это оказалось для всех, включая Пушкина, полной неожиданностью. Арину Родионовну и всех его близких охватил ужас. Им казалось, что его у них отнимают, что он исчезнет навсегда... У нас представление, будто Пушкин — это такой фронт в цилиндре, с бакенбардами, во фраке, с тростью, куда-то все глядит вверх... Посмотрите, каким его изображают. Эдакий столичный светский лев. А он ведь был другим. Конечно, он «переболел» всей этой героикой, Байроном, Бонапартом, но вот поездил по России, побывал на юге, на Кавказе, посмотрел, прислушался, на многое стал смотреть иначе... И потом он открыл для себя Шекспира... Пушкин тогда говорил, что у него после чтения Шекспира кружится голова.

— Что же он открыл для себя?

— То, что великий поэт просто так, ни с того ни с сего не появляется. Его, условно говоря, «готовят» не одна эпоха и не одно поколение. Идущие из глубины веков предания, легенды, былины, сказки, всевозможные летописи, сказания, а еще — песни, поговорки, пословицы, то есть весь культурный пласт, который накапливается в народе, в его сознании, традициях и привычках. Когда этого накопится достаточно, появляется литература — поэты, драматурги, писатели, но это еще только предтечи будущего великого поэта. Шекспир, например, был высшей точкой целой плеяды драматургов, он смог уловить, услышать то, что было до него, и понял, как может быть после. То же и Пушкин.

— Вот отчего у него закружилась голова!

— А у кого бы не закружилась! Но это головокружение не от успеха, а от величайшего самостоятельного открытия. От того, что он услышал свою страну, увидел ее просторы и, что еще важнее, ее скрытый от поверхностного взгляда, вероятно богатый, накопленный многими веками творческий смысл. От этого — «Борис Годунов» и радостный крик: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» И вот Пушкин бросается собирать русские песни, поговорки, сказки, былины... Он начинает всерьез заниматься изучением истории. Ссылка его в Михайловское — это, конечно, наказание для него, но... Вот он в Святых Горах одевается по-крестьянски: белая рубаха, широкие мужицкие портки с бахромой, на ногах берестовые поршни, вроде глубоких калош; подпоясывается красной лентой, которую закидывает через плечо, а на голове большая с широкими полями соломенная шляпа... Такой бы памятник ему поставить...

— Пушкин в соломенной шляпе? — Мне это трудно представить.

— И в таком виде он появляется на ярмарке или на базаре, ходит среди народа, толкается, слушает речь, записывает меткие выражения, необычные фразы, песни, и сам тоже поет. Много раз его видели среди слепых рассказчиков или певцов. А сколько сказок он записывал, легенд, историй! И не только в Михайловском, но и в Болдине. Там столько преданий сохранилось, легенд, связанных с Пушкиным. В Болдине есть хор бабушек, который до сих пор поет те самые песни, которые слушал и записывал Пушкин. Представляете! А вы спрашиваете: «Какая связь?» Пуш-

кин — это великий собиратель. Ведь Русь полна сказок и преданий. В каждом районе, уезде, селе — что-то свое, неповторимое.

Вспомните: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». Это Пушкин-то, царскосельский лицеист, называет свое образование «проклятым»! А все потому, что открыл для себя нечто очень важное. Может быть, самое важное. До него это тоже интуитивно понимали Радищев, Карамзин, Жуковский, но — здесь уже Божий Промысел — надо было родиться Пушкину. Вот луч света ударяет в призму, а уже из нее исходит многоцветием. Так у нас Пушкин. Счастливым он господин, очень счастливым!

Режиссер замолчал, а я решил рассказать о своем вчерашнем разговоре с Валентиной Федоровной, о том, как восстанавливалась память о Пушкине в Торжке. Режиссер не особенно был увлечен моим рассказом — чем его удивить? — но, услышав слово «реанимация», сразу же отреагировал:

— Да какая «реанимация»? Господь с вами! О чем вы говорите? Слово-то какое подобрали... все мы никак не успокоимся, все нам надо заниматься «реанимацией», «реабилитацией»... Что за страна такая! Хоть кол на голове теши... Это нам надо реанимироваться, а не Пушкину. Это мы помрем без него, а не он без нас. У него-то — слава Богу! — все в порядке. Он жил счастливо, узнал настоящую любовь, столько дал своей стране, нам всем.

Я виновато молчал, а Режиссер погрузился в раздумье, расстроенный моим дурацким и неуместным словом.

— Пушкин был к тридцати годам очень мудр. Он понял, кто творец культуры и где ее искать. Проза жизни — вот где должен вестись поиск. Он там и искал. И вся великая литература наша находилась в этом поиске. А уйдешь от этого в сторону, соблазнишься на какую-нибудь, как сейчас говорят, «эксклюзивную» тему — и все. Может быть успех, признание, но вскоре от этого ничего не останется. И, посмотрите, простые люди считают Пушкина своим... Мы вот часто говорим «простые люди». А для Пушкина простых людей не было.

Режиссер привстал со скамейки, и я мог наблюдать, как он не спеша прогуливается. И пока он это делает, дорогие читатели, самое время рассказать о нем и его деле, чтобы у вас не возникло представления, будто Режиссер мой лишь прогуливается, немного о чем-то размышляет, да еще спит, хотя именно для того он и поехал со мною в Торжок.

Я уже рассказывал, что он очень известный режиссер и создатель знаменитого московского театра. Настолько знаменитого, что мы даже не уточняем, какого именно, тем более что для нашего очерка это совсем неважно. Важно другое. Режиссер мой всю свою жизнь связан с Пушкиным. Он поставил несколько спектаклей, которые имели большой успех у зрителей и критиков. Но из всех его пушкинских работ я видел лишь «Бориса Годунова», да и то лишь после настоятельных рекомендаций моих друзей, считающих этот спектакль выдающимся.

Дело в том, что я редко бываю в театре, а если и прихожу, то с трудом выдерживаю до конца спектакля. Почему-то я никак не могу увлечься представлением, даже если в нем заняты выдающиеся артисты. Сам театр с закулисьем и внутренней беспокойной жизнью мне гораздо интереснее его продукции, которая кажется беднее и скучнее, несмотря на то что украшена декорациями, яркими костюмами, париками и прочим художественным оформлением.

Я больше люблю репетиции. Там бывает интереснее, потому что присутствует то, что называется «творческим процессом». Все же актер — это профессия повтора. Можно, конечно, вносить в роль что-то свое, вкладывать эвристический смысл в уже существующее, всякий раз находить новые движения, выражения лица, оттенки, нюансы. Но в действительности надо неукоснительно следовать тем установкам, которые сформулированы режиссером. Поэтому на репетициях происходят самые настоящие драмы, ломки характеров, нервные срывы и даже истерики. Артисты на режиссера могут обижаться, сердиться, даже тайно ненавидеть его, но протестовать?.. Не нравится — ищи другой театр, другого режиссера. Правда, когда спектакль, наконец, поставлен, сыграна премьера, зал рукоплещет, раздаются «браво!» и зрители дарят цветы — актер забывает обиду, готов сознаться в собственной ограниченности и прочих недостатках, и уже виновато, даже с благодарностью поглядывает на режиссера... Но назавтра новая работа, новые репетиции, а значит, новые драмы.

Итак, поскольку я нечасто бываю в театрах и мало разбираюсь в тонкостях театрального искусства, то не могу вполне оценить и деятельность моего Режиссера. Соглашаясь с многочисленными оценками и характеристиками, которые обычно

бывают в превосходной степени, сам я не в состоянии понять все его значение. Мне Режиссер интересен без театра, сам по себе, хотя иногда он и говорит мне с некоторым упреком: «Ну вы хоть придите посмотрите спектакль. Там все-таки тексты неплохие и актеры стараются».

И несколько раз я был на его спектаклях, даже сидел рядом, и должен сказать, что был увлечен Режиссером больше, чем происходящим на сцене. Обычно в начале спектакля он «заводит» артистов своим фонариком. При этом Режиссер машет руками, делает специальные знаки, помогая артистам лучше сыграть. Если у них не получается, Режиссер злится, ругается и даже апеллирует к небесам. Поразительно, но он еще успеваешь следить за тем, чтобы технические работники театра исправно закрывали двери, если кто выходит или входит в зал.

Представляю, каково артистам! Они на сцене, перед публикой и видят, как из глубины зала Режиссер без конца мигает фонариком, подает какие-то сигналы... Я бы сошел с ума. А актеры — ничего. Говорят, что так им даже легче играть.

— Это они так говорят, а на самом деле только и мечтают, чтобы я куда-нибудь исчез,— признался как-то Режиссер.— А как исчезнешь? Только выйдешь из зала — они начинают свое городить. У нас ведь все желают творить, все хотят самостоятельности, или, как его... «суверенитета». А в итоге — разваливают спектакль.

Итак, однажды я пошел на «Бориса Годунова», а перед тем специально прочел пушкинскую трагедию и таким образом подготовился к спектаклю.

Режиссер присутствовал в зале первые пятнадцать минут, мигал фонариком на все четыре стороны, а затем незаметно исчез. Таким образом от спектакля меня больше ничто не отвлекало. Артисты играли вдохновенно. Видно, что они любят играть этот спектакль. Я вышел из зала минут за десять до конца. Весь оставшийся вечер и даже всю ночь у меня в ушах звучали песни из спектакля, а голова была занята мыслями об увиденном.

#### ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА:

Человек живет, как трава растет.  
 Человеческий век, яко травный век.  
 Поутру трава растет-цветет —  
 Со вечеру опадет.  
 Человеческий ум, яко дым, ветром несет.  
 Со вечеру человеке во беседе сидел —  
 Поутру человеке — преставился.  
 Он и очи зажал, и устами замолчал,  
 И свои древние руци ко своему сердцу прижал.  
 Соходилися соседи его сродственники.  
 Они стали человека водою омывать...  
 — Вы почто меня водою омываете?  
 Не омыл я свои грехи горячими слезьми.  
 Они стали человека землею осыпать...  
 — Вы почто меня землею осыпаете?  
 Не рассыпал я грехи пред духовным пред отцом...

На смертном одре русский царь Борис Годунов принимает от патриарха обряд пострижения в монахи.

ЦАРЬ:

Благослови меня, святой отче.

ПАТРИАРХ:

Желаешь ли быть причислен к лику монашествующих?

ЦАРЬ:

Да, если поможет Бог.

ПАТРИАРХ:

Вольною ли твоей мыслию приступаешь ко Господу?

ЦАРЬ:

Да.

ПАТРИАРХ:

Не каким-либо принуждением или насилием?

ЦАРЬ:

Нет, святой отче.

ПАТРИАРХ:

(бросает ножницы)

Возьми ножницы и подай мне их.

(Царь поднимает и подает ножницы. Патриарх снова бросает их на пол.)

ПАТРИАРХ:

Возьми ножницы и подай мне их.

(Царь подает. Патриарх снова бросает ножницы.)

ПАТРИАРХ:

Возьми ножницы и подай мне их.

(Царь подает. Патриарх начинает пострижение.)

Вот этот обряд пострижения в монахи умирающего Бориса Годунова и запомнился мне особенно. Не скрупулезностью и точностью соблюдения его, не томительным напряжением, в котором в это время пребывают артисты и зрители, а... обыкновенными ножницами, теми самыми, которые были трижды брошены наземь патриархом и которые трижды поднимал с земли царь Борис.

Посмотрите при случае внимательнее на безобидные ножницы! «Два кольца, два конца — посередине гвоздик». Но, кроме этого, скрепленные между собою в одном месте две прямые линии, безобидные и незатейливые. Расходящиеся и сходящиеся по мановению чьей-то десницы, эти линии стремятся навстречу, пересекаются и тут же расходятся. Но расходятся уже не безобидно, не безопасными колечками, как в своем начале, а остро заточенными и обращенными лицом к лицу лезвиями. О, как опасен момент их скользящего соединения! Какой ни с чем не сравнимый звук от соприкасающихся плоских лезвий и какой динамизм в движущейся смертельной точке этого соприкосновения! (Не оттого ли цирюльники, прежде чем отрезать клочок волос, любят пощелкать ножницами над ухом клиента?) Соединенные между собой и обращенные навстречу, опасные лезвия как будто нейтрализуют друг друга и тем гасят агрессию ножниц, превращая их в обычный бытовой предмет. Но попробуйте разъединить эти заточенные лезвия...

Видели ли вы когда-нибудь половинку ножниц? Обратите внимание, сколь угрожающе выглядит она. Если и захочешь, эту половинку никак не возьмешь лишь двумя пальцами, как это мы запросто делаем с ножницами. Взять ее можно, только зажав в кулак. И тогда у вас в руках опасное и готовое ко злу оружие.

Ножницы — инструмент более сложный, чем, например, гильотина. Там, не смотря на «техническую премудрость», — одинокий нож. Он максимально откровенен, его движение предопределено и находится в жестких рамках. Нож гильотины — единственный и очевидный виновник содеянного, иное дело — ножницы. Здесь два ножа, две режущих плоскости, и, лишь соединяясь, они способны резать, разделяя ответственность за совершенное: разберись, которая из двух половинок разрезала...

И, когда задумаешься над этим, становится понятно, для чего мой Режиссер ввел в спектакль столь подробный ритуал посвящения царя в иноки с троекратным бросанием ножниц. Вовсе не только для того, чтобы напомнить современной театральной публике сокровенные таинства пострижения. Что-то еще хотел он сказать. Скорее всего пытался обратить внимание на какие-то особые линии пушкинской трагедии, которые движутся друг другу навстречу, сходятся в одной точке и тут же расходятся вновь. Что же это за драматические линии?

Патриарх бросает на пол ножницы и требует, чтобы царь подал их.

«Ох ты Россия, мать Россия, мать российская наша земля...»

Бедный и безвестный черноризец твой в монастырской затемненной келье мечтает о том, чтобы владычествовать над тобою и твоими народами. Ради этого он готов оставить монастырь, предать монашеский обет, готов предать и тебя саму, и Бога и идти по кровавому пути насилия, чтобы голову и сердце твои отдать в руки чужеземцев. Море крови, неисчислимые бедствия, братоубийство... Этим умощен путь к московскому престолу.

Кровь Русская, о Курбский, потечет!

Вы за царя подъяли меч, вы чисты.

Я ж вас веду на братьев; я Литву

Позвал на Русь, я в красную Москву

Кажу врагам заветную дорогу!..

Знает себе цену самозванец! Но знает и то, что он лишь половина роковых ножниц. Оттого и говорит уверенно:

...Но пусть мой грех падет не на меня —  
А на тебя, Борис-цареубийца! —

«Эх ты Россия, мать российская наша земля.

Ей да ой вот и мать российская наша земля...»

Твой государь, всех христиан самодержавный царь, владыка и повелитель неделимой и необозримой земли «от моря до моря», чья державная власть держится на диком произволе, насилии и лжи, чей путь к власти усеян интригами, изменами, оговорами и, конечно, трупами, горами трупов, потому что не может утвердиться по-другому самодержавная власть в России, перед ликом смерти своей спешит каяться, торопится принять монашеский обет и сменить царскую тогу на клобук:

Ударил час, в монахи царь идет —  
И темный гроб моею будет кельей...

Отчего государь всяя Руси Борис стремится прийти туда, откуда столь же неистово торопится удрать молодой монах Григорий? И почему монах так страстно желает участи того, кто перед смертью счастлив успеть покаяться?

Есть ли ответ на эти вопросы и есть ли способ остановить это неотвратимое встречное движение двух опасных режущих плоскостей? Наверное, ответ есть. И не один. Известно лишь, что точка их соприкосновения — жестокая битва, где пресытившийся русской кровью победитель цинично провозгласит: «Довольно: щадите русскую кровь!»

#### САМОЗВАНЕЦ:

На войне кто не бывал, тот и горя не видал.

#### ХОР:

На войне кто не бывал, тот и горя не видал.

Кто бежит без руки, кто лишился ноги,

кто изрезан, кто исколот, а кто плавает в крови.

Кто изрезан, кто исколот, а кто плавает в крови.

Есть только одно средство, могущее предотвратить это смертельное движение, и лишь одна сила, способная остановить губительный порыв, — любовь.

Второй раз бросает наземь патриарх ножницы, и вновь поднимает их царь... Еще две стремящиеся навстречу линии пушкинской трагедии сходятся вместе, чтобы тут же разойтись: любовь и власть.

Трудно уловить момент их пересечения.

Здесь точка соприкосновения едва видимая, а часто не видимая вовсе. Обе половинки «ножниц» не только не уживаются, они настолько противоположны, что вообще исключают какие-либо компромиссы.

Если, дорогой читатель, перед тобою встанет «неразрешимая» дилемма: любовь или власть? — успокойся. Выбора у тебя уже нет. Задавший себе такой вопрос знает ответ. Он выбрал власть.

Кто не стремится к власти? Пусть не к верховной, не заоблачной, не царской, но к власти, хотя бы небольшой. Кто не хочет повелевать, командовать и управлять? Да еще если к тому есть серьезные основания, или, как говорят, предпосылки. Попробуй уклонись, откажись, отвергни выпавший жребий. Только ступишь на этот путь, едва добьешься видимых успехов, как само Провидение уже шепчет тебе: «Не жребий это, а судьба твоя. Повинуйся ей». И ты, только что бывший хозяином своего желания и потаенной мечты, — уже их раб. И нет ничего, через что нельзя было бы переступить. Где оказываются те цели, ради которых ты ступил на путь, ведущий к власти? Где слова и дела, которые должны были украсить этот путь? Осталось ли что-нибудь от твоей души, от твоего сердца, от глаз, от голоса, от жестов? Ничего не осталось, потому что путь к власти не оставляет в стороне ничего, ни одной твоей клетки, ни одного атома. Так красивый и хищный морской цветок поглощает зазевавшуюся рыбку: плавно и грациозно. И вот уже в то же зеркало смотрит совсем другое твое «я». И что бы ни делал ты, что бы ни говорил — в ушах твоих все время раздается малиновый звон колоколов и ласковый, непорочный голос мальчика:

Царю небес, везде и присно сущий,  
Своих рабов молению внемли:  
Помолимся о нашем государе,  
Об избранном тобой, благочестивом  
Всех христиан царе самодержавном.  
Храни его в палатах, в поле ратном,  
И на путях, и на одре ночлега.  
Подай ему победу на враги,

Да славится он от моря до моря.  
 Да здравием цветет его семья,  
 Да осенят ее драгие ветви  
 Весь мир земной — а к нам, своим рабам,  
 Да будет он, как прежде, благодатен,  
 И милостив, и долготерпелив...

Конечно, не обязательно это — звон колоколов, далеко не всегда голос мальчика. Могут быть и другие зазывные мотивы, иные голоса — все в том, о каком уровне власти идет речь. Но если трижды тебе снится сон, что лестница крутая ведет на башню, и с высоты видится Москва, а внизу народ кипит что муравейник... Тогда непременно колокольный звон и обязательно голос мальчика.

В этом случае остается лишь один шанс спастись от губельного соблазна.

Писать о том, что такое любовь, нет особой необходимости, потому что все равно ничего нового здесь открыть нельзя. Просто вдруг случается так, что все вышеперечисленное, включая цели и средства, планы и прожекты, оказывается лишенным всякого смысла, более того — становится глупым, мелким и непотребным.

И вот идущий на царский трон и для этого ведущий за собою легионы войск в одночасье готов от всего отказаться, согласен даже презреть свою цель, только что казавшуюся непоколебимой и вполне достижимой. Власть как высокая и благородная цель исчезает, она любви не нужна:

Что Годунов? Во власти ли Бориса  
 Твоя любовь, одно мое блаженство?  
 Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно  
 На трон его, на царственную власть.

Самозванец, замахнувшийся на трон и свершивший чреду предательств, вновь готов стать ничем:

Твоя любовь... что без нее мне жизнь,  
 И славы блеск, и русская держава?  
 В глухой степи, в землянке бедной — ты,  
 Ты заменишь мне царскую корону,  
 Твоя любовь...

Вдруг царские палаты расступаются перед хрупкими васильками в чистом поле, корона меркнет перед сплетенным из полевых ромашек девичьим венком, а царский жезл и держава уступают щебетанию птиц, мирному жужжанию насекомых и ветру, доносящему какие-то далекие звуки. Человек останавливается, и уже нет в нем агрессии, нет стремления покорять и подчинять, есть умиротворение, желание покоя и лишь одна цель: чтобы любимая была рядом. Вот когда мы близки к Богу.

Но что же! Чем отвечает самозванцу его любимая на готовность жертвовать царством, а возможно, и жизнью?

В сцене у фонтана любовь и власть пересекаются, линии расходятся острыми лезвиями, обращенными друг против друга, и уже самозванец ведет полки на Москву не ради трона, но ради любви к Марине. Высокая цель — московский престол — становится лишь средством: только в этом случае любимая отдаст ему свою руку.

Но власть, как и любовь, не знает компромиссов, не терпит соперничества. Она как средство долго существовать не может, и вот она уже цель и не прощает временной слабости.

...Довольно, стыдно мне  
 Пред гордою полячкой унижаться.  
 Прощай навек. Игра войны кровавой,  
 Судьбы моей обширные заботы  
 Тоску любви, надеюсь, заглушат.  
 О как тебя я стану ненавидеть,  
 Когда пройдет постыдной страсти жар!

Где теперь оказываются милые сердцу полевые ромашки и васильки? Где тот теплый и ласкающий лицо ветерок, что доносил знакомые звуки, и где сами эти звуки? Что осталось в душе от трепета? Где та сияющая улыбка на безмятежном лице?

Все исчезло. Ритм привычной жизни восстановлен. Река вошла в свой берега. Лишь где-то в глубине души затаились редкие укорительные воспоминания о былой «постыдной страсти»!

#### ХОР ПЛАКАЛЬЩИЦ:

Ой, моя родимая матушка.  
 Ой, куды деваться, родимая?

Ой, милый мой жених, прекрасный королевич.  
 Ой, не мне же ты достался, не своей невесте.  
 Ой, моя родимая матушка.  
 Ой, куды деваться, родимая?  
 Ой, да в темной могилке, на чужой сторонке.  
 Ой, никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.  
 Ой, моя родимая матушка.  
 Ой, куды деваться, родимая?..

И в третий раз брошены ножницы наземь. И еще более повелительно патриарх приказал царю: «Поддай мне их». И в последний раз новообращенный монах поднял ножницы и подал патриарху.

Это вековые скрещивающиеся линии — нашего народа и нашего государства. Здесь можно размышлять бесконечно. Тема эта столь же неисчерпаема, сколь неисчерпаемы горе и несчастье от вечного противостояния народа и власти в России.

ГОДУНОВ:

Ой, Россия ты Россия,  
 мать российская наша земля.

ХОР:

Ох, да вот и мать российская наша,  
 ой, да ты, земля.

ГОДУНОВ:

Много горя приняла.

ХОР:

Ох, да вот и много горя,  
 ой, да приняла.

ГОДУНОВ:

Ой, и много крови пролила.

ХОР:

Ох, да вот и много крови,  
 ой, да пролила.

В чем здесь первопричина бед? В государстве ли, порожденном многовековым безумством народной стихии и гнева и устроенном так, чтобы сдерживать потоки людской ненависти? В народе ли нашем, который безжалостно уничтожался этим государством во все времена и во все эпохи, а всякое вольнодумство пресекалось каленным железом и дыбой, плетью и ГУЛАГом? Кто и когда в этом разберется?

«Народ безмолвствует». Но это здесь, у стен Кремля, в центре Москвы, на Лобном месте. А в пяти верстах в сторону? А в сотне верст? А в тысяче?..

Безмолвствует народ наш, безмолвствует, а потом как затянёт, только держись:

САМОЗВАНЕЦ:

Ох, да растворите вы мне темную темницу.  
 Дайте мне сиянье ярко-белого дня.

ХОР:

Ой, да чернобровую да ну девицу,  
 сивогривого да ну коня.  
 Конь гуляет да он в чистом поле.  
 Без узды скачет и он на воле.  
 Резво скачет, а он гривой свищет.  
 Хвост по ветру а он распушил...

Что это за безудержная и бесшабашная песня отзывается из глубины, из наших синих далей? Это рвущий душу вопль отчаяния или хмельное упоение слышатся из бескрайних просторов?

Стоит у окна в высоком кремлевском тереме царь-государь, самодержец, монарх и прочая, прочая... И что слышит?

Кто поймет? Ведь для того, чтобы понять, сколь тяжела шапка Мономаха, самому надобно ее надеть. Хоть на мгновение, на миг. Только чтобы надеть ее.

Посмотри на брови, на губы, на нос, взгляни на походку, на жесты, движения, послушай, какой голос... Как ощутить, что ты полновластный хозяин того, у чего нет ни начала, ни конца? Как вести себя, если даже первый из первых вельмож государства — всего лишь твой холоп? Каким мерилом измерить власть твою, если нет в природе ничего такого, что не зависело бы от тебя и за что бы ты не был в ответе перед последним из последних? Какое чувство скрывается в душе твоей, когда знаешь, что нет такого, кто не желает плюнуть тебе в лицо, не говоря уже о смерти твоей, коя желанна для всех и вся, потому что рабский народ твой всегда жаждет перемычки в надежде на очередное «улучшеньице»?

Посмотрите, во что превращается еще вчера цветущий и пышущий здоровьем

человек. В уродливого монстра, без чувств, без сердца, без всего человеческого... Ну какой артист сыграт вам русского монарха?

ГОДУНОВ:

Я иду, иду, иду, собаки лают на беду.

ХОР:

Я иду, иду, иду, собаки лают на беду.

А народ наш? Отыщется ли такая напасть, которую бы он не стерпел и с которой бы не смирился, уповая на Бога? Есть ли предел его рабскому покорству обстоятельствам? Кажется, нет предела, потому что, как только он настает, начинается беспредел, и тогда становится еще хуже, еще ужаснее, и еще беспощаднее время, и больше льется крови, и неисчислимо бедствия.

— Спалили усадьбу и вместе с нею старинные книги, бесценные рукописи, уникальные иконы... Варвары! Чернь! Быдло!

— Да как же не спалить, когда в этой деревне пять веков пороли крестьян и часто до смерти?

Вот и вся наша российская дискуссия.

В помощь беспощадному государству — реформаторы.

В помощь обезумевшему от произвола народу — революционеры. Ими расходятся и сходятся вновь острые лезвия бесчувственных ножниц. И нет ничего, что устояло бы перед их неотвратимым встречным движением. Где здесь место гению?

Пойду выйду да на вулицу  
да разыграю в харавод.  
Э-ой, лё ли, лё ли, ля,  
да разыграю в харавод,  
а я у милова варот.  
Э-ой лё ли, лё ли, ля.  
А я у милого варот,  
а у моего у милого.  
Эй лё ли, лё ли, ля...

Помню, я вышел тихо из зала. Спектакль еще продолжался. Актеры пели «Вечную память»: отпевали Бориса. Через полчаса в театре не будет ни души.

Ай да Режиссер! Ай да... молодец! Каково придумал с ножницами!

### ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ

Нельзя всерьез говорить о Торжке и избежать при этом тему золотного шитья — главного творческого промысла в этом древнем городе, его визитную карточку. Тут золотой нити в умелой руке искусной новоторки уступает все, в том числе и пожарские котлеты, рецепт которых, между прочим, оставил какой-то заезжий француз. (Вроде бы у него не было денег заплатить за ночлег, и хозяйка гостиницы, госпожа Пожарская, известная своими объемами, содрала с французца рецепт котлет.) Так вот, золотошвейному промыслу в Торжке много веков, и если честно, то даже никто не знает, сколько именно. Только установят, что вышивают здесь с XIII века, как тут же найдут какую-нибудь туфельку XII века. Запишут в справочники и путешественники, едва успокоятся, как какая-нибудь бабушка принесет вышитую золотом подушечку XI века, и снова все справочники и путеводители приходится переписывать. А недавно мне рассказывали, будто археологи нашли в раскопках невзрачный лоскуток. Помыли его, почистили, пригляделись — а там знаменитый «кованый шов». Да не просто «кованый шов», а специальный, называемый «ягодкой». Еще пристальнее пригляделись — оказалось, лоскуток-то IX века!

— Так ведь тогда еще не было Торжка! — взбудоражились ученые историки.

— А как же лоскуток? — ответили им вопросом невозмутимые археологи.

— Да, помилуйте, откуда же «кованый шов», да еще «ягодкой», в девятом веке? — почти в истерике забились историки. — Это если бы шов был «корзиночкой» или «копытчиком», еще куда ни шло, а «ягодкой» или «денежкой» — такого в девятом веке быть не может!

— Как же не может быть «ягодкой», когда вот он перед вами? — отвечают археологи и показывают историкам расшитый золотом древний лоскуток. — Видимо, какая-то мастерица взяла специальные деревянные распорки, запялила в них материю и вышила золотой ниткой неведомую зверушку, что ж тут такого? А уж почему ей вздумалось вышивать «ягодкой», а не вашим «копытчиком», так кто ж ее, девицу, поймет? Это уже вопрос психологам, — заключил один уважаемый археолог, пряча уникальную находку в нагрудный карман.

— Не может такого быть! — настаивали историки и краеведы.

Страсти продолжают бушевать, а я это рассказываю для того, чтобы вы, уважаемые читатели, имели представление о том, какое значение имеет этот легендарный промысел для новоторов. Поистине, мы говорим «Торжок» — подразумеваем «золотное шитье», а как только разговор заходит о золотном шитье — сразу же перед глазами встает этот тысячелетний многострадальный русский городок.

Раз уж мы коснулись истории, то стоит остановиться еще и вот на чем.

Мы все говорим «новоторы», «новоторки», а не мешало бы объяснить читателям, что это за название, откуда взялось?

Давным-давно, когда на бескрайних просторах русского севера процветала могущественная Новгородская республика и вместе с нею — торговля, Торжок назывался Новым Торгом, а его жители соответственно новоторами, характер которых древние летописцы отождествляют с новгородскими: «Беша бо человеци суровы, непокорови, упрямчивы, непоставни (неудержимы)...»

Представляете! Взойдешь на пригорок у излучины Тверцы, окинешь взглядом посад, а там... от горизонта до горизонта идет сплошная торговля всем, что только есть на белом свете. Шум, гам, сутолока и, конечно же, ворье шарило по карманам честного народу так, как нигде в другом месте. Видимо, это дало повод В. И. Далю, автору знаменитого «Толкового словаря», заметить: «Все новоторы — воры». И, знаете, новоторы на Даля не в обиде. Во-первых, потому что он добавил к сказанному: «...и осташи — хороши» (это про жителей соседнего Осташкова), а во-вторых, назовите, кто у нас на Руси в этом смысле не «хорош»? Тут скорее всего сам Даль и виноват. Надо было за вещичками-то следить и народ наш слабонервный не искушать.

Войны, набеги, грабежи, пожары, революции, реформы изничтожали Новый Торг, и в конце концов дошло до того, что осталось от него лишь несколько лавок, за которыми стояли бабки и продавали что-то вроде семечек. И все. Больше уже ничего тут не было. Какой же это Новый Торг? Поэтому в народе город стали все чаще называть уменьшительно — Торжок и даже Торжочек.

Но если название «Торжок» прижилось, то жители города так и остались новоторами. Женщин здешних в миру зовут новоторками, а совсем молоденьких девочек — новоторочками. Что-то, согласитесь, привлекательное в этом есть.

Правда, люди несведущие называют жителей Торжка по-разному: торжоксами, торжковцами, новоторжцами... И уже бывает, что сами жители не знают, кто они и как их правильно называть. Но в последние двадцать лет все же больше склоняются к новоторам.

Есть у местных футурологов предположение, что с подъемом отечественной экономики торговля в этих краях вновь расцветет, опять потянутся сюда заморские караваны и Торжок снова превратится в Новый Торг. Тогда уже вопросов — что это за новоторы такие? — не возникнет ни у кого.

Итак, если помните, на «Троицких гуляньях» я был приглашен девушками-мастерицами в Торжокское училище художественной вышивки для того, чтобы познакомиться поближе с этим древним промыслом.

На начало 1997—1998 учебного года в училище числилось 115 девушек. В основном из Торжка и Твери, но есть девочки и из других городов России. Парней в этом училище нет, но мне сказали, будто два самонадеянных молодых человека сюда как-то поступили, но вскоре сбежали. Стипендия, которую получают будущие мастерицы, от тридцати до пятидесяти тысяч рублей\* в месяц. Зато училище бесплатное и в нем может учиться каждый. Платная только одна группа, в которой обучаются будущие художницы-вышивальщицы. За получение этой профессии надо платить шестьдесят тысяч рублей\* в месяц.

Здание училища обыкновенное. Ничего изысканного или особенного в нем нет. В коридорах представлены рисунки лучших учениц.

К сожалению, никого из золотошвей я в училище не обнаружил, потому что все они уже разъехались на летние каникулы, а учителя — в отпуск. Зато удалось побывать в музее училища и увидеть уникальные образцы древнего промысла.

Музей располагается в одной большой комнате. Видимо, это специально приспособленная аудитория. Едва начав осмотр экспонатов, я был сразу же сражен фантастическим, невероятно красивым черным меховым костюмом, расшитым золотной ниткой. В этот костюм входили душегрейка, рукавицы, зимняя шапка-боярочка и серьги-клипсы. И, хотя в музее были представлены другие шедевры, оторваться от костюма я уже не мог. Мне представлялась невысокого роста девушка, с

\* Теперь надо оговориться: в старом исчислении.

длинными и немного завитыми черными волосами, с большими карими глазами, очень подвижная, даже чуть пританцовывающая и лукаво улыбающаяся. Она в длинном черном трикотажном, облегающем стройное тело, платье, в модных сапогах на квадратном каблуке, и уже сверху на платье надет этот удивительный, неповторимый золотошвейный шедевр. «Только где же такую найти?» — думал я. «Да если и найдешь, на этот костюм никаких денег не хватит. Но если даже и деньги будут...»

— Куда же у нас выйти в таком костюме? — спросил я.

— Как «куда»? Костюм называется, между прочим, «Зимой по Невскому», — ответили мне.

И далее мне рассказали, что этот костюм демонстрировали не то в Риме, не то в Париже, на престижном международном конкурсе, в жюри которого входил знаменитый модельер Пако Рабан. И все были восхищены костюмом, аплодировали и дали ему, как мне с гордостью сообщили, семь баллов из десяти. (А я думаю, что ни черта этот Пако Рабан вместе со своим жюри ни в чем не понимает, если такому костюму не дали все десять. Этот шедевр сам кого хочешь аттестует.)

Словом, ушел я из училища и восхищенный, и воодушевленный, и озадаченный. Вот только настоящего разговора о будущем знаменитого промысла не получилось. Его пришлось отложить на три месяца, до того, когда в Москве в киноконцертном зале «Октябрь» проходила выставка-ярмарка изделий народного промысла.

Торжокское золотное шитье было представлено на этой ярмарке довольно скромно, потому что каждый метр площади в центре Москвы стоит больших денег. Но выставленная на обозрение шаль «Райский сад», дипломная работа торжокской мастерицы, была едва ли не самым красивым и притягивающим экспонатом на всей ярмарке, и многим хотелось эту дивную шаль приобрести.

На выставке мне удалось встретиться с Мариной Владимировной Пугаевой, преподавателем художественной вышивки в торжокском училище. Живо и заинтересованно реагирующая на самые неожиданные вопросы, Марина оказалась прекрасным собеседником.

Прошрое и настоящее золотного промысла мы уже в очерке затрагивали, а о будущем почти не говорили. Вот что рассказала Марина:

— Девушки идут в училище, но из них лишь немногие хотят заниматься этим промыслом. Детей, которые пришли не случайно и притом прекрасно рисуют, мало. Девяносто девять процентов все же случайные.

— Почему?

— В училище нет вступительных экзаменов и не надо платить за учебу. Уже этого достаточно для притока случайных детей. Пять лет назад образовалась творческая группа, отстоять которую стоило больших трудов. Поскольку группа была платной, то можно было нанимать высокопрофессиональных художников из Москвы и Санкт-Петербурга. Прошло пять лет, все было успешно, великолепная программа, а сейчас все летит неизвестно куда. В прошлом году мы такую группу не набрали. Дети все понимают, все знают, и на них это очень отрицательно действует. Они перестают надеяться и верить, что золотошвейный промысел кому-то вообще нужен.

— А действительно, что будет с ними потом?

— Они будут многое уметь.

— Но где они смогут применить свое мастерство?

— Мы нацелены на то, чтобы наши лучшие ученицы поступали дальше в институты.

— Но если талантливая девочка вышивает так, как больше никто в целом мире, то, может, ей этим и следует заниматься? Зачем ей институт? Может, и толкать их туда не стоит?

— Я в первую очередь пытаюсь сделать из них художников. Преподаю им рисунок, живопись, композицию. Может, я не права, все-таки они учатся в вышивальном училище, но они, три года проучившись, становятся больше художниками...

— И перестают вышивать, уходя из уникального промысла.

— Но с вышивкой где им работать? Только если уж сильно повезет.

— Для вышивки им не надо ни института, ни академий, ни, простите, большого ума. Надо нечто другое, может быть, большее. Нужны сердце, душа, желание и трудолюбие, разумеется, золотые руки.

— Они, когда поступают, сами порой не знают, кто они больше — вышивальщицы или художники.

— Вот редкой красоты экспонаты вышиты золотом. Есть ли место, где занимаются только этим?

— В Торжке есть золотошвейная фабрика.

— Какой процент из училища попадает на фабрику?

— Они вообще перестали сейчас брать у нас выпускников. Там всех сократили. Теперь на фабрике закрыты все цеха, вышивальщиц распустили, и фабрика на грани закрытия. Работает лаборатория, причем в ней остались лишь два художника из восьми. А главный художник вообще не знает, что будет с фабрикой.

— Значит, вас становится все меньше и меньше.

— Да. На фабрике сокращения, мы в училище в этом году набрали всего тридцать человек — такого никогда не было! Просто стыдно. Учителя от нас уходят. И детям это настроение передается. Впервые в жизни я от них услышала... Пришла на урок и спросила: «Девочки, как у вас дела?» И вдруг они говорят: «Ужасно!» Как? Отчего? Сентябрь! Солнце светит! Мы сейчас, говорю им, рисовать начнем... А они: «Мы не можем, все так ужасно!»

— Они душой, сердцем чувствуют, что это умирающий промысел?

— Они понимают непрочность своего положения, видят, что уходят в никуда лучшие педагоги. Они в отчаянье.

— А вы сами ощущаете, что промысел умирает?

— Я надеюсь, что он все-таки не умрет. И на фабрике, и особенно в училище работают великолепные мастера. Люди, которые золотному шитью посвятили всю свою жизнь.

— Но ведь уходят. А если прекратится финансирование училища? Если уйдут все преподаватели?

— Они будут сидеть дома и выполнять заказы. Ремесло не пропадет.

— Для заказа нужны деньги. Мало того, нужно, чтобы человек, имеющий деньги, обладал еще и тонким вкусом. Если Екатерина Вторая заказывала платье или Александр Сергеевич «поясы», то это были люди с высоким уровнем культуры. А из нынешних кто будет у вас заказывать? Посмотрите на тех, у кого водятся деньги.

— Да, нам сейчас, чтобы жить, приходится шедевры продавать за бесценок. Знаете, как мы об этом жалеем... У нас произошел случай, который я никогда не забуду. Приехали американцы, а иностранцы вообще-то к нам часто приезжают, и вдруг, смотрю, уносят из музея уникальное панно, вышитое настоящими золотыми нитками. Я вся затряслась, когда увидела. Боже мой! Неужели продали? Бегу узнать. Продали! За сколько? За семьсот тысяч рублей! Я чуть не потеряла сознание.

— Что за изделие?

— Это было панно «Русь». Там разными коваными швами был вышит храм Василия Блаженного, и на фоне этого храма старорусским шрифтом вышито слово «Русь». Повторить такое просто невозможно. Я знаю. И пусть панно небольшое, но оно как будто отлито из золота — такое качество вышивки. И всего за семьсот тысяч рублей! Это все делается от нищеты. Я плакала, а меня успокаивали, говорили: «Мы еще повторим, когда нужно будет». Да как же такое повторить? Бывают такие образцы, которые при любом умении и желании повторить невозможно. Туда человек всю душу вкладывает. Это панно повторить нельзя. Ведь почему этот американец его купил? Он прикоснулся к нему и почувствовал тепло, ощутил вложенную в изделие душу. Иностранец оказался умнее нас. Мы-то все свое продаем.

— А черный меховой костюм? — восторженно спросил я. — Кажется, «Зимой по Невскому»? Где он? Что с ним? Его кому-то продали?

— Нет, — успокоила меня Марина, — костюм еще висит. Пока.

— Что нужно сделать, на ваш взгляд, чтобы промысел не погиб?

— Нужно, чтобы дети приходили учиться. Надо вселить в них надежду, уверенность, что это нужно людям, стране, России. Раньше выпускали по шестьдесят человек. В 1995 году был выпуск — восемьдесят пять человек. Восемьдесят пять дипломных работ — и все гениальные! А в этом году всего двадцать выпускников. И о том, что будет завтра, даже не хочется думать.

«Золотая нить, послушная руке вышивальщицы, — это прозрачная нить памяти, традиции, культуры, ведущая в глубь столетий...», — говорится в красочной брошюре, посвященной золотному шитью...

Откуда много веков назад пришло к нам золотное шитье? С Востока? Из Средней Азии? Из Индии? Появилось ли оно лишь благодаря желанию копировать чужеземные роскошные одежды, сверкающие заморские наряды? А может, в этом стремление самим как-то отличаться — блеском и роскошеством? Или золото у нас не в цене, так давай его на одежду, на обувь, на пояса, мол: вот мы, русские, какие!

Нет, не в том главный вопрос, откуда пришел этот промысел. Мало ли попадало к нам модных заморских чудес! Пошумим, повосторгаемся... да и забудем. При-

шло и ушло. Главное в другом: почему этот промысел прижился у нас на века, отчего стал своим, родным, каким образом вобрал в себя нашу русскую особенность, неповторимость, почему так органично впитал в себя наш природный орнамент и сумел отразить в себе чаянья нашей беспокойной души?

Вот секрет золотошвейного промысла!

А может, и не секрет никакой?

«...Как бы ни были прекрасны другие цвета, все-таки золото полуденного солнца — из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него «чин». Перед ним исчезает синева ночная, блекнут мерцание звезд и зарево ночного пожара. Самый пурпур зари — только предвестник солнечного восхода. И, наконец, игрою солнечных лучей обуславливаются все цвета радуги, ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье источник — солнце.

Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг «солнца незаходимого». Нет того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней божественной славы. Но из всех цветов один только золотой, солнечный обозначает центр божественной жизни, все прочие — ее окружение. Один Бог, сияющий «паче солнца», есть источник царственного света. Прочие цвета, Его окружающие, выражают собою природу той прославленной твари небесной и земной, которая образует собою Его живой, нерукотворный храм...» (Евгений Трубецкой, Два мира в древнерусской иконописи.)

Окиньте взором наши бескрайние поля, на которых колышутся налитые золотом пшеничные колосья; вспомните наши пышные золотистые караваяи; посмотрите на золотые косы русских девушек; взгляните на золоченые купола наших древних храмов, на сияние золотых крестов, венчающих их; всмотритесь в золотые лики наших святых, чудотворных икон; наконец, полюбуйте нашей золотой осенью — сказочной порой и временем наивысшего вдохновения для солнца русской поэзии — Александра Сергеевича Пушкина.

Разве не отзывается все это, самое ценное, дорогое и значительное, что только есть у нас, в золотисто-солнечном узоре, искусно вышитом на бархате или шелке? Неужели не слышим в этой симфонии голоса любви, добра, надежды и разве не видим в вышитых фигурках птиц, зверей, фантастических животных, в волшебном растительном орнаменте удивительный, бескрайний и сказочный мир — нашу Россию? Поистине этот древний промысел еще и Промысел Божий! И как же нам, народу по преимуществу северному, которому всегда так нехватало тепла и солнца, добра и правды, должны быть по-особенному дороги свет и тепло, исходящие от искусной золотой вышивки!

Но что происходит! Тысячелетний, истинно русский промысел, сочетание высокого искусства и кропотливого подвижнического труда, умирает?

Соединение трепетного сердца, отзывчивой души и нежных женских рук — никому не нужно?

Этими вопросами задаются сегодня, сейчас лишь тверские девочки-золотошвей, да их учителя, бесценные носители многовекового опыта и традиций.

Кто из сильных мира сего услышит эту робкую, едва слышную тревогу? Кто из преуспевающих и провозглашающих: «Время жить в России!» — обратит внимание на эту опасность? Чего будет стоить «обустроенная» и оцивилизованная Интернетом держава без сказочной золотой фигурки, вышитой на бархате искусной новоторжской девушкой? И как эта держава будет называться?

### **В ГОСТЯХ У ПОЭТОВ**

Отчего люди пишут стихи?

Великие поэты пишут от Бога, и с этим, кажется, все ясно. Нечего разбираться и выяснять. Но вот отчего пишут стихи поэты невеликие? Что движет ими, когда они сидят и рифмуют строчки? Или не сидят, а ходят-бродят вокруг дома, дерева или скамейки в парке, потом хватаются за карандаш, и... стихотворение готово. А иной поэт любит сочинять на природе. Например, в лесу. Идет и видит гриб! И вот уже буквы складываются в слова, слова в строчки. Бывает, что человек творит на своем рабочем месте. Поработает-поработает и напишет что-нибудь. Про ту же работу. Один мой знакомый любил писать стихи в городском транспорте. В час пик. Втиснется в троллейбус или трамвай, приспособится кое-как и пишет. Потенциальные читатели толкают его локтями, а он от этого такое выдает! Я не помню точно, но стихи получались хорошие: про Вселенную и бесконечность. Особенно радовало, что они были короткими.

Еще пишут стихи от тяжелой жизни, невыносимой обстановки и окружающей социальной несправедливости. Иной человек, увидав таковую, лишь выругается или, хуже того, сделает вид, что не заметил, а поэт постоит, подумает, достанет блокнот и сочинит какую-нибудь драму, отражающую пороки общества и власти.

Однако, бесспорно, самым сильным чувством, вызывающим желание писать стихи, является любовь. Уже, кажется, все написали про нее за тысячи лет и нет ничего такого, что выглядело бы оригинальным, а все равно — про любовь пишут, пишут, пишут...

Но вот стихи написаны, перепечатаны на пишущей машинке под копирку в пяти экземплярах. Что дальше? Куда их нести? Кому доверить сокровенное? С кем поделиться болью или радостью? Это директора спиртзавода чувствуют и понимают при жизни. А поэт для лучшего понимания должен сперва умереть. И лучше, если трагически. При жизни кому поэт нужен? Разве что таким же, как и сам, поэтам, которые выслушают и доброе слово скажут.

Так появляются объединения людей, сочиняющих стихи и прозу. Им вместе становится хорошо, весело, и нет в России такого уголка, где не существовало бы подобное сообщество. Возьмите какой-нибудь российский городок наугад, поезжайте туда и обязательно встретите там поэтов, собирающихся раз в неделю, читающих друг другу стихи, поющих под гитару и обсуждающих состояние поэзии.

— А чего это все возятся с Бродским? Есть ведь поэты покрепче, — говорит уверенно один из участников литвстречи.

— Кто же это «покрепче»? — с укорочком спрашивает его другой.

— Тот же Коля Рубцов, Царство ему Небесное, пожалуй, посильнее писал, — отвечает первый.

— Зачем же их сталкивать? И тот наш, и этот наш, — старается аргументировать третий участник.

— Вот именно «ваш», а Коля все-таки наш, — спокойно, чуть даже распевно, с характерным «оканьем» заканчивает спор первый. После этого переходят к другой теме...

Но если даже в каждом заштатном городке есть поэты, то что говорить о древней тверской земле, столь восприимчивой ко всякого рода душевным проявлениям, вдоль и поперек изъезженной известными поэтами, писателями, музыкантами и другими творческими личностями. Да что «другими» — самим Александром Сергеевичем Пушкиным! Всего лишь два века назад и даже меньше того. Да здесь, в этих чудных местах, на берегах Волги или Тверцы, просто невозможно не писать стихи. Тут живешь и сам не замечаешь, как стал поэтом. Вот отчего захотелось проникнуть в эту неведомую мне поэтическую среду именно на тверской земле, причем непременно в Торжке, где, мне кажется, мог бы находиться один из центров современного российского стихосложения.

Возьмите «Новоторжский вестник» и увидите, что нет номера, в котором бы не было стихов. Конечно, какой-нибудь эстет упрекнет меня, мол, это не настоящая поэзия, призовет не путать Божий дар с яичницей и тому подобное. А мне такие стихи — нравятся. И тем, кому они адресованы, — тоже. (Помню, в конце семидесятых я некоторое время работал плотником-бетонщиком в каком-то поселке под Сургутом, так, поверьте, яичница там была Божьим даром!)

Итак, из Училища художественной вышивки я направился к стоящему неподалеку пятиэтажному общежитию на встречу с торжокскими поэтами. Литобъединение «Тверца» занимает комнату на четвертом этаже. Само общежитие описывать не стану, потому что каждый может себе представить, что значит у нас «жить сообща». Бросились в глаза только дико орущие дети разного возраста, сносимые со всех этажей на первый полиэтиленовые мешки с мусором, да еще пожилая вахтерша посреди всего этого.

Комната литобъединения ничего необычного собой тоже не представляет. Простые коричневатого цвета обои, такая же обычная из четырех лампочек люстра, при этом одна из лампочек не горит.

На одной стене висят три небольших портрета: в центре Пушкин, слева от него Есенин, справа — Блок. Рядом — несколько акварелей с видом Торжка. Стена напротив увешана неким подобием стенгазеты, со стихами, шуточными посвящениями и рисунками, содержание которых я, к сожалению, не припомню. Но по названию стенгазеты — «Копытом Пегасов!» — можно предположить, что она имеет отношение к литературной критике. На этой же стене висит живописный портрет Высоцкого с гитарой и пробегающим у него за спиной табуном воспетых им лошадей.

Посреди комнаты большой квадратный стол, за которым уже собрались поэты.

На столе, покрытом цветастой полиэтиленовой скатертью, — самовар чашки и блюда, сахарный песок, на двух тарелках аккуратно уложены крупно нарезанные помидоры и огурцы; кроме того, на столе печенье, сухари, конфеты-карамель, варенье нескольких сортов и еще пирог, испеченный специально к нашей встрече. Кто-то принес большую кастрюлю с только что приготовленным пловом, правда, несколько необычным, потому что вместо кусочков мяса поверх горки риса лежала неестественно большая куриная нога. Сразу же оговорюсь, что за время нашей беседы никто к этой еде не притронулся. Поэты не пили даже чай.

— Вот закончим работать, — сказал строго руководитель объединения, обращаясь к коллегам, — тогда пожалуйста.

И все согласились.

После знакомства с участниками встречи я сообщил о намерении поближе познакомиться с жизнью и творчеством поэтов российской провинции.

— У вас, — сообщил я, — не должно быть секретов от читателей, которые хотят знать, что движет сегодня творческими людьми, в частности, поэтами, о чем они думают, откуда черпают вдохновение и вообще чем живут.

Первой, к кому я обратился, оказалась Людмила Павловна Толмачева. Она уже на пенсии. До этого тридцать пять лет проработала в туберкулезном санатории, где было не до стихов. В Торжок приехала из Таджикистана, и здесь, на тверской земле, ее так тепло приняли, что «как-то рифмы сами стали посещать». До этого она никогда не то что стихов, двух слов зарифмовать не могла, двух строчек сочинить, а сюда попала — и, как она говорит, «полилось, полилось»... Уже около пятидесяти стихов написала.

— Как получается? По-разному. Вот вы сегодня были на празднике и в разговоре с людьми назвали наш Торжок жемчужиной тверского края. Я там была, услышала, и у меня сразу все в душе зашевелилось, завертелось, и...

— Я назвал?! Да я такого не говорил. Как я мог такое сказать? В моем словаре и слов-то таких нет.

— Как же не говорили, когда сказали, — настаивала Людмила Павловна. — У меня все записано в блокноте. Дословно. Эти ваши слова послужили толчком к стихотворению.

«А может, действительно я сказал что-нибудь в этом роде? Мало ли чего можно наговорить в перевозбужденном состоянии! Вот ведь: сказал и забыл, а чуткий слух поэта мои слова не пропустил», — с этими приятными мыслями я обратился к другому торжокскому поэту — Василию Рысенкову.

Это имя известно в творческой среде Торжка, потому что Василий, как и его брат Михаил, часто публикует свои стихи в местной газете. Кроме того, братья-близнецы — постоянные участники литературных встреч, на которых читают стихи, а Михаил их еще и поет.

Родились братья в 1966 году. Вместе учились в школе села Берново Старицкого района Тверской области, а в тех местах до сегодняшнего дня живут рассказы и легенды о приездах А. С. Пушкина, передаваемые от поколения к поколению. И, конечно же, эти легенды сопровождали детство будущих поэтов. Вероятно, отсюда многие мотивы их творчества. Оба закончили Тверской сельскохозяйственный институт и получили специальности агрономов. Но если Михаил с деревней не расстался и стал фермером, то Василий свою жизнь изменил круто. Он уже три года преподает литературу в Торжокском политехническом колледже.

На мой вопрос, что он читает, Василий ответил, что, помимо классики, которую перечитывает по роду деятельности, читает в основном литературу Серебряного века, в частности, так называемое новокрестьянское направление — то, что сейчас совсем не в моде. По словам Василия, он прочитал все, что только было у нас издано.

— Вот недавно, — рассказывает Василий, — прочел Клычкова «Князь мира» и «Чертухинский балакирь». Замечательные, оригинальные вещи, и вообще это направление стоит особняком в нашей русской литературе. Мало исследований, имена почти забыты. Кто сейчас помнит Клычкова? Его читать без словаря обычный человек уже не сможет, а мне все, о чем он пишет, близко и интересно. Но говорить мне вам об этом трудно, потому что вы этой литературы не читали, — не упустил возможности пристыдить меня Василий. — Давайте я лучше прочту что-нибудь из своего нового. — Выдержав паузу, Василий прочел:

Глотать этот воздух, привычный, свой —  
Последняя Божья милость.  
Пусть солнце отрубленной головой  
С небесной плахи скатилось.

И кажется: нет никакой судьбы  
 За тысячей лет, я знаю,  
 Лежит неподвижный, тяжелый быт  
 И мягкая тьма ночная...

Николаю Богомолу сорок лет, родился в Волгограде, сейчас работает младшим инспектором (охраняет больницу) и учится заочно в Московском юридическом институте.

— Почему вы, Николай, пишете стихи? Что вас, младшего инспектора охраны госучреждения и будущего юриста, подвигает на такое лирическое сочинительство? — спрашиваю.

— Ну, как сказать... Среди такой прозы живем... Мы ведь с чем сталкиваемся? С нелюбимой работой, с неудобствами в жизни, с грубостью и хамством, да что перечислять... Я получаю удовольствие от того, что пишу стихи и таким образом волеваюсь во что-то высокое...

— Стихи пишутся везде: по дороге в школу, из школы, иногда даже на уроке, — рассказывает Наталья Смехачева.

Она учитель истории в училище художественной вышивки, где мы с вами уже побывали. Родилась и выросла в Торжке. Окончила Тверской университет. Живет в небольшой двухкомнатной квартире с двумя дочерьми (одна из них, Марина, присутствует здесь же) и бабушкой.

— Как «на уроке»? — удивился я. — Сидят ученики, учительница рассказывает о вторжении Тохтамыша или о каком-нибудь восстании... И вдруг у нее рождаются стихи?

— Да! Бывает и так.

— Вы учеников сразу же отпускаете на перемену?

— Бывает, что ждешь конца урока, а иной раз ученики говорят: «Наталья Алексеевна, вы запишите строчку, а мы тихонько посидим».

— То есть идут навстречу. А как реагирует директор? — полюбопытствовал я.

— Так ведь у нас школа не простая. У нас училище золотного шитья. Любое творчество приветствуется.

Далее я продолжил очень нелюбимую поэтами тему их материального существования и даже, набравшись смелости, спросил, что поэты едят по утрам, когда собираются на работу. Наталья глубоко вздохнула:

— Второй ставки в этом году в училище нет. Придется ее искать в другом месте, а это значит — будет беготня. Чтобы зарабатывать триста сорок тысяч в месяц, надо отработать семьсот двадцать часов в год, а у меня получается только пятьсот. Просыпаюсь в шесть утра, без будильника. Ухожу раньше всех на работу, потому что в училище надо быть к восьми часам. Выхожу в семь. До училища минут сорок пешком...

— А почему пешком?

— Потому что в автобус можно и не сесть. Он битком набит. А иногда потому, что карман пустой. Бывает, и этой тысячи нет. Тысяча — туда, тысяча — обратно. В месяц набегают много. Лучше уж пешком. А что едим? Макароны, картошка, каша, молоко. Мясо, скажем прямо, бывает редко. Дом наш держится на всех понемногу. Моя бабушка получает пенсию, мама практически тоже с нами живет, только ночевать уходит к себе, а иногда и у нас остается. В доме — одни женщины. Так и живем, еще и стихи пишем. Это же потрясающая вещь! Утром иногда завтракаю, иногда нет, выбегаю из подъезда и по дороге что-нибудь вслух произнесу — Фета, например: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» — все! У меня целый день хорошее настроение. Я себя стихами защищаю.

— Какие мечты? Планы? — спросил я Наталью.

— Что касается меня... Мне сорок три, так что уже «мечтов» нет никаких.

— Как, в сорок три года и не иметь мечты? — удивился я.

— С такой зарплатой какие мечты? Надо детей как-то выучить, хоть что-то им дать.

— Покупаете ли книги?

— На книги денег не хватает. Но если появляются, то одежде и туфлям я предпочитаю книги. Отказать себе не могу, особенно если это стихи, да к тому же хорошо изданы. Что поделаешь, чудачки мы, наверно.

— Наверно, — согласился я.

Еще один поэт — Татьяна Большакова. Она родилась в 1946 году и детство провела на Крайнем Севере, где тогда работали ее родители. Много ездила по стране: северная Обь, верховья Камы, Кузбасс, Подмосковье... Работала наборщиком и печатником в маленьких районных типографиях, литсотрудником в районной газете,

сельским библиотекарем, ткачихой и даже служила в армии. Татьяна Павловна закончила Литературный институт имени Горького. Печаталась в газетах, альманахах, сборниках. Сейчас работает в музее.

— Я люблю ездить. Особенно в деревни, ведь каждая поездка дарит интересных людей, судьбы которых входят в мои стихи. Почти все стихи написаны от первого лица, каждое имеет прототип, а то и несколько. Но главная тема — извечная женская доля: нянчить, провожать, ждать...

Татьяна Павловна коротко пострижена, на ее лице нет макияжа, одета в темно-синее с ромашками ситцевое платье, на плечах белый искусно выстроченный платок, серьги из янтаря и такие же янтарные бусы.

Поскольку стихотворение Татьяна Павловна прочла религиозное, то я спросил, что значит для нее религия и как она считает, Россия религиозная страна или все же атеистическая.

— Один умный человек сказал: религия — это когда вера человека соединяется с его делами. Россия очень религиозная страна. Я работаю в музее, и у меня есть возможность ездить с этнографами по деревням, видаться и разговаривать с разными людьми. И тогда чувствуешь, что корни наши в глубокой религиозности. Христианство пришло к нам не на пустое место. У нас уже была религия, и она была светлой. Поэтому-то Русь и приняла именно христианство. Сейчас люди многое забыли, но все же тянутся к Богу. Посмотрите, у нас в Торжке две церкви восстановлены руками людей, на свои деньги. Это наша Дальняя Троица и церковь Иоанна-Богослова на Богословском кладбище. И если бы в свое время женщины, далеко не молодые, не взялись восстанавливать эту церковь, у нас бы сейчас и монастыря в городе не было. Ведь монастырь возник потому, что основа его уже была, и монахам было куда прийти. Торжок наш стоит на очень намоленном месте. У нас из раскопок достают древние предметы — XV, XIV, даже XII века, — и, когда к ним прикасаешься, чувствуешь тепло, вложенное теми, кто их создавал, кто ими пользовался. Это не исчезает бесследно — передается нам. По предмету чувствуешь, какой человек его делал.

— И я смогу почувствовать? — с сомнением спросил я.

— Не бывает таких, кто не почувствует... — Голос Татьяны Павловны тихий, мягкий, певучий, совсем без напряжения. — У нас в Торжке какое-то особенное соединение жизни и смерти, единство и близость живых с теми, кто от нас ушел. Это то, что в христианстве называется «жизнь после смерти». В нас живет память многих поколений. В ком-то звучит громче, в ком-то тише или пока молчит, но она есть. А ведь здесь еще и старoverы живут, те самые, с никоновских времен. Когда-то монастыри окружали Торжок, словно крепости. На восьми основных дорогах, проходящих через город, стояли восемь монастырей. Они были разобраны во время литовского нашествия. А вот Борисоглебский устоял и сейчас оказался в центре города. Монахи восстанавливают монастырь день и ночь. Работают вручную, потому что монастырь очень старый, и если по совести, то надо строить новый. Но как, если каждый кирпичик — памятник и история. Ведь Борисоглебский монастырь — ровесник Киево-Печерской лавре и Новгородскому Юрьевскому монастырю.

— Как, по-вашему, Пушкин был религиозным? Успел открыть для себя Христа?

— Нам надо его внимательнее читать, и тогда такого вопроса не возникнет. Христос для Пушкина существовал всегда. В его произведениях, в письмах чувствуется глубокая религиозность. Если решал он что-то в своих религиозных поисках, то окончательно нашел после создания «Бориса Годунова». Помните, как он ликовал, окончив трагедию? И если у кого вопрос об отношении Пушкина к Христу возникает, то надо сто раз перечитать, как он прожил свои последние часы, как умирал, как прощался с женой, с детьми, с друзьями, с окружающим миром...

После этих слов Татьяна Павловна замолчала, ушла в себя. Затихли и все остальные, мысленно перенесясь в последние январские дни 1837 года в Санкт-Петербург, на Мойку, 12, где, окруженный ближайшими друзьями, умирал смертельно раненный Пушкин...

Из письма П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову: «...Данзас, желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна? «Требую, — отвечал он ему, — чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христианином».

(Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Лк.: 22.50—51)

Из письма Жуковского к Л. С. Пушкину: «...Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки за голову. — Сердце изнывает!»...

(Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. Мф.: 26.38)

В. И. Даль: «...Пушкин положительно отвергал утешения наши и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» — отвечал: «Нет; мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо!»

(Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты. Мф.: 26.39).

Из письма А. И. Тургенева к А. И. Нефедьевой: «...Теперь я опять входил к нему; он страдает, повторяя: «Боже мой, Боже мой! Что это!» Сжимает кулаки в конвульсии».

(...Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Мф.: 27. 46)

И. Т. Спасский: «Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял: «Морошки, морошки». Наконец, привезли морошку. «Позовите жену, — сказал, — пусть она меня накормит». Он съел 2—3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал: «Довольно», — и отослал жену...

(И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить. Мф.: 27. 48)

В. И. Даль: «Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он, вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» — «Жизнь кончена», — ответил он внятно и положительно».

(...совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Ин.: 19. 30)

Жуковский: «Минуты через две я спросил: «Что он?» — «Кончилось», — отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое свершилось перед нами во всей умиленной святине своей.

Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Всмотриваясь в него, мне хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную, смерть без покрывала».

И еще одно воспоминание В. И. Даля: «Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти».

Вернемся после этих трагических, скорбных, но все же торжественных в своем величии часов и минут обратно в Торжок, к нашим поэтам, за их гостеприимный стол.

Среди них своей внешностью выделяется Татьяна Мchedlishvili. Я решил спросить у нее, у грузинки, о национализме: есть ли таковой в Торжке и если да, то в чем он выражается? Не беспокоят ли ее из-за внешности?

— Всю жизнь беспокоят. Наверное, так народ наш устроен. Не нравится ему моя внешность. В Грузии я почти не была. Только в детстве. Мы прожили там лишь полгода. Нас не приняли родственники из-за того, что мама у меня — русская. С тех пор мы живем в Торжке. Но и здесь я часто сталкивалась с оскорбительным отно-

шением к своей фамилии, к внешности. Это было и в школе, и в институте. Сейчас здесь вроде много, как о нас говорят — «лиц кавказской национальности», но все равно я испытываю к себе особое отношение. И в автобусе, и в магазине, и в больнице.

— Может, Татьяна, это лишь мнительность?

— Какая же это мнительность? Прямо так и говорят. Еду в автобусе, а меня спрашивают: «Ты кто? Армянка?» Это когда была война в Нагорном Карабахе. Кажется, хотят выкинуть из автобуса. Или в больнице спрашивают: «Ты кто такая? Зачем сюда пришла?» Стою в гардеробе, хочу взять пальто, подаю номерок, а мою руку отшвыривают и обслуживают других. Я оторопела, думаю, случайно, спрашиваю: «Почему вы не берете мой номерок?» А мне: «Езжай к себе и там возмущайся». Вот как! Мой отец уже умер, но я помню, сколько раз он приходил со слезами на глазах оттого, что его оскорбляли, унижали, называли спекулянтлом. Я себя в душе считаю истинно русской, по-грузински даже говорить не умею. Но в моих жилах течет и грузинская кровь, и, когда я смотрю грузинские танцы, слушаю песни, мне хочется запеть, но... я не знаю языка.

— Радуйтесь, что вы не негр,— успокоил я Татьяну и вспомнил, как недавно встретил в Москве на одной из бензоколонок чернокожего парня, который там подрабатывал.

Он родом из Сенегала и был даже не черным, а скорее синим. Работал очень расторопно, добросовестно, был вежливым. По-русски говорил хорошо, и я спросил, не достают ли его наши люди. Парень ответил, что отношение к нему просто невозможное. Такого, говорит, он нигде не встречал: оскорбляют, стараются унижить, посмеиваются, бьют, швыряют деньги прямо на землю... Но, что поделаешь, он учится в институте, а денег на жизнь не хватает. Хозяин заправочной станции, как мне объяснили, большой любитель экзотики и с удовольствием принял на работу чернокожего для привлечения клиентов. И действительно, как показала практика, клиентов прибавилось. Оказывается, среди нас много таких, которые любят, чтобы их обслуживали негры. У наших людей вдруг обнаруживается какая-то особая гордость за себя лично и за всю белую расу, преимущество которой они в этот момент ощущают. Так почему бы за те же деньги, что тратишь на других заправочных, не получить еще и удовольствие? Не случайно у входа в некоторые московские рестораны и гостиницы стоят именно темнокожие. Мелочь, а нашему человеку приятно. И это в Москве, где, кажется, ко всему привыкли. А попади такой негр в глупинку, в тот же Торжок...

Бывает, вдруг человек захочет ощутить себя русским, украинцем или грузином. Не просто так, что называется, по паспорту, а в полном смысле этого слова. Вот как, например, Татьяне Мчедlishvili иной раз хочется по-грузински запеть («Голос песен грузинских приятен»). Ну, так пой, если умеешь. Подбери песню, сочини наконек и спой. Или станцуй! Да так, чтобы не только твой, но и другие народы прислушались, присмотрелись и разделили твою любовь. Поймут песню или танец — поймут остальное. Или, если ты украинец, что мешает идти по пути Тараса Шевченко? Но нет. Песни, танца, стихов здесь, оказывается, недостаточно. А что мы, русские? Сколько раз на дню слышим: «великая страна», «мировая держава»... Чем подкрепляем мы эти самонадеянные и обольстительные словосочетания? Количеством боеголовки? Бескрайней, но уже сужающейся территорией? Историей нашей, в коей действительно много великого? Или воинственными предками, которые, жертвуя миллионами жизней, оставили непутевым своим потомкам могучее государство? А может, масштабами своих бед, которым и в самом деле трудно подыскать аналог?

Почему же национальное самоутверждение человека или даже целого народа так часто происходит за счет унижения, оскорбления, растаптывания других? Почему на, казалось бы, очевидный вопрос до сих пор нет ответа, хотя уже тысячи лет об этом говорят, над этим думают, к этому равенству призывают мировые религии и мировые культуры? Отчего вновь и вновь заводится в человеке этот позорный червь ненависти, почему разъедает изнутри и не дает сосуществовать с «не такими», как сам?

Скорее всего — от собственного ничтожества и дикости.

А если представить, что этот унижаемый и оскорбляемый сенегальский паренек чем-то привлечет русскую девушку, ту же кассиршу из автозаправочной (случается ведь подобное!), они поженятся, затем появится на свет симпатичный ребенок, уже не совсем черный, а спустя двадцать лет и у него, в свою очередь, тоже будет ребенок, и вообразите, что он может оказаться талантливым, а то и во-

все гениальным, и, как знать, вдруг он нам такое выдаст, такое оставит после себя, что и спустя столетия потомки наши будут им восторгаться и называть нашим национальным достоянием. Или уже не было этого с нами?

«Смуглое лицо, африканские губы, белые крупные зубы, блестящие бакенбарды, мелкие кудри, темные глаза под высоким лбом...» — узнаете?

...А я, повеса вечно праздный,  
Потомок негров безобразный,  
Взращенный в дикой простоте,  
Любви не ведая страданий...

Назовите, кто за всю историю нашу был более русским, чем он? Кто еще сумел так выразить нас и так за всех нас, русских, сказать?

Так кого же мы унижаем и оскорбляем? Кого гоним и почему так легко идем против рожна?

И вот здесь, в Торжке, за гостеприимным столом собрались поэты и среди них русская грузинка Татьяна. Ее самое светлое воспоминание — детство, три счастливых года, которые она провела в русской деревне Сорокино у «единственной и любимой» бабушки. И сегодняшние переживания Татьяны, ее бесконечные тревоги и печаль, как это бывает не только у поэтов, вызывают тоску и удивительные мечты об ушедшем прошлом. Впрочем, для нее не ушедшем.

Снова память вернет дорогу мне  
В старый дом.  
Загорелое, босоное  
Детство в нем.  
Где котенок на солнце жмурится,  
Грея бок.  
Где вприпрыжку спешу на улицу,  
За порог.  
Там, с глазами небесно-чистыми  
Ото льна  
И с колосьями золотистыми,  
Есть Страна.  
А в речушке волна игристая  
Бьет хитро.  
Из-под ног уплывает быстрое  
Серебро.  
И вкусны караваи хлебные  
Из печи,  
И блины золотисто-медные  
Горячи.  
Мед пчелиный — смолой яичною  
на столе...  
Все там сказочно-необычное,—  
В той Стране.

Кто из нас хотя бы на миг не «убегал» в эту солнечную Страну от окружающих напастей? Кто не вспоминает при этом глаза своей бабушки — мудрой и доброй феи нашего детства, хранительницы духовной чистоты и добрых нравов, нередко единственной защитницы нашей, способной понять, выслушать, приласкать? Кому, как не своей бабушке, мы жаловались на то, что нам плохо, тревожно, неудобно? Перед кем еще мы так игриво хвастались и задавались, понимая, что бабушкам нашим и этого будет недостаточно, — так глубока, беззаветна и даже эгоистична их любовь к нам. И ведь бабушкам ничего не надо от нас взамен. Ничего! Только бы мы были сыты, тепло одеты да не уходили далеко от дома. Вот и маленький Саша Пушкин, когда взрослые своими настойчивыми требованиями допекали и терпению приходил конец, убегал к бабушке — Марии Александровне Ганнибал. А домик няни в Михайловском или имение П. А. Осиповой-Вульф в Тригорском — не есть ли это та самая Страна, где всегда ждали близкие сердцу люди и куда так стремился «спрятаться» беспокойный Пушкин?

Счастлив тот, кто сохранил для себя такую Страну, пусть в мечтах, в воспоминаниях, а с возрастом — увы — еще и в дорогих сердцу могилах, которые не каждый день навещаешь и о которых не всякий час думаешь...

Наконец заговорил руководитель объединения «Тверца» Василий Миронов, которого я по нашим писанным и неписанным правилам попросил подвести итог встречи.

— Ну какой может быть итог? — сказал он. — Важно понять смысл нашего

объединения. Сюда приходят филологи, музыканты, инженеры, которые только постигают азы поэзии. Сказать, что я живу лишь поэзией, нельзя, ведь я не большой поэт и не выдающийся писатель. Объединение нужно для того, чтобы я знал, для чего живу. Работаю в сельском хозяйстве, где зарплату платят один раз в год. Поработав там неделю, один вечер провожу здесь, со своими товарищами, друзьями. И такой зарядки мне вполне хватает на следующую неделю.

— Кем же вы работаете? — спросил я Василия.

— Заведующим родильным отделением на ферме. И меня это нисколько не смущает. Многие спрашивают, как я до такой жизни докатился. Но мне это интересно. А когда я, например, вхожу в автобус, кто мне скажет, что я зачуханный колхозник?

И действительно, глядя на руководителя объединения «Тверца», так не скажешь.

— И кто, простите, там на ферме рождается? — спросил я руководителя торжокских поэтов.

— Телята. Меня воспитали так, что могу работать где угодно. Мой брат был и журналистом, и председателем колхоза, сам я был председателем сельсовета и вообще прошел через многое. Но эта работа помогает поддерживать больную маму: я работаю по ночам, а днем могу за ней ухаживать. Остальное время — для творчества. Рядом с коровами прекрасно пишется.

По словам Василия, объединение он возглавил вынужденно, после того как умер молодой поэт Владимир Струков — основатель и первый руководитель «Тверцы». Его фотография висит на стене, на почетном месте. Никто за это дело братья тогда не хотел, потому что, кроме хлопот, оно ничего не приносит. А Василий взялся и не жалеет. Он пишет стихи, прозу, но более всего удаются пародии.

— Торжок, конечно, город провинциальный, — говорит Василий, — но послушайте наших поэтов, наших поющих девушек, посмотрите на нашу Валентину Федоровну Кашкову, которая так великолепно говорит и пишет о Пушкине. Мы-то знаем, что Торжок никакой не заштатный город и мы не последние поэты.

Все наконец-то стали пить чай и есть, что было на столе, в том числе и плов с огромной куриной ногой, которая при известных обстоятельствах выдержала бы на себе небольшую избушку. Сейчас же эту ногу все почему-то отказывались есть, причем в мою пользу.

Поэты продолжали чаепитие, а я, сославшись на усталость и занятость, попрощался с ними и вышел на улицу. Было еще светло. В Тверском крае в июне ночи почти белые. Меня вышел проводить Василий Васильевич. Еще и поблагодарил за встречу...

Это вам спасибо, дорогие торжокские поэты, за то, что вы пустили меня к себе, напоили чаем, накормили пловом, а еще — за то, что доверились и целый вечер читали свои стихи, делились сокровенным. Я далек от поэзии и не могу судить о качестве ваших стихов, не решусь точно сказать — кто пишет лучше, кто хуже, но могу сказать искренне: мне близки ваши мысли, ваши переживания и ваши тревоги. И если когда-нибудь выйдет томик современных торжокских поэтов, я его обязательно приобрету и хранить буду рядом с томами Александра Сергеевича Пушкина. И он, и вы — наши добрые русские поэты.

Я возвращался в санаторий «Митино». Ехал по вечернему Торжку, как и накануне, медленно, уставший от впечатлений...

Вот ведь что-то люди делают, как-то живут, и не хлебом единым: пишут стихи, вышивают золотом, что-то лепят, строгают, танцуют, поют, пишут книжки... И, посмотрите, всегда рядом с ними Пушкин.

Впрочем, почему «с ними»? Правильнее сказать — «с нами». Почему же все-таки к нему тянемся? Сами, без всякого подгона. Люди религиозные и, кажется, далекие от религии. Мы, конечно, несовершенны, хуже того — плохи. Но что было бы без него? И сам Пушкин тоже был всяким, бывало, говорил и писал такое, что неловко читать. Но люди-то что помнят? Только доброе. Все недоброе отбрасывается. Вот он написал непристойность об Анне Керн в письме к Соболевскому. Это не тайна. Об этом знают. Желаящие блеснуть такими «знаниями» обязательно вам об этом напомнят. Ну и что? Сохранилось-то в памяти народной об Анне Петровне Керн только возвышенное и чистое. Почему?

Наверное, потому, что с самого раннего детства, когда мы искренни и открыты, еще прежде всех учений и наставлений, мировоззрений и наук мы входим в Мир пушкинских сказок. И возвратиться, покинуть этот Мир уже нельзя. «Руслан и Люд-

мила», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»... Нас окружают не только герои, но и пушкинский язык, его интонации, музыкальность, а главное — события, в которых добро непременно побеждает зло, и мы, пока дети, в это безоговорочно верим. Но вот чудо! Вырастая, мы не оставляем этот Мир, берем его с собой во взрослую жизнь. И вновь вопрос: почему? Почему не оставляем, хотя с годами и сердце черствеет, и память слабеет? Да потому, что вместе с этим пушкинским Миром нас окружают и те, кто нам этот Мир открыл, кто донес его до нас, кто нам, только-только делающим первые шаги, подарил его. Это значит, что вместе с пушкинскими сказками в нас звучат голоса наших родных и близких, их интонации, передается их тепло. Забыть это уже нельзя. Вот почему оставить пушкинский Мир сказок невозможно. Оставить его — значит забыть себя.

С годами к сказкам присоединяются пушкинские стихи, его лирика, потом драматические поэмы, проза, наконец письма, и все это ложится на уже подготовленную в детстве почву, наполняет ждущую все новых и новых свиданий душу, и уже кажется, что без этого жить нельзя. Наверное, не столько Пушкин с нами, сколько мы с ним.

### ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА В ПРУТНЮ

Вечером мы встретились с Режиссером и решили, несмотря на усталость, прогуляться. В июне в этих краях смеркается лишь на два-три часа.

Мы вышли из санатория, прошли мимо гуляющей публики, обошли танцплощадку, откуда на всю округу разносилась однообразная мелодия, вышли за ворота и направились в сторону Прутни. Дорога здесь проходит через лес, и навстречу нам попадались небольшие группы отдыхающих. Но вскоре мы остались одни, и беседовать уже никто не мешал.

Режиссер какое-то время любовался лесом, наслаждался прохладой и тишиной, затем неожиданно произнес:

— Вот бы моим артистам выбраться сюда. Походили бы по пушкинским местам, посмотрели, помолчали... Может, хоть о чем-то задумались бы. А они только орут. А чего орать-то? Я им говорю: «Поспокойнее надо работать. Вы же, говорю, не в лесу, а в театре, на сцене, вас зритель пришел послушать...» Нет! Орут — и все. Хоть кол на голове теши! Они думают, что криком можно что-то объяснить или кого-то в чем-то убедить. Вообще у нас в стране все привыкли орать... А ведь зритель просто устанет и больше не придет в театр.

Режиссер говорил тихо, спокойно, казалось, он сейчас не здесь, под Торжком, а у себя в театре, на репетиции.

— У них одно на уме, — продолжал Режиссер, — лишь бы куда-нибудь смотреть, лишь бы не работать. Мне уже вон сколько — и ничего, вкальваю, а им лишь бы дурака валять. Чуть отвернешься, они уже пляшут, скачут, визжат... За границей актеры работают, там дурака не поваляешь, режиссер сразу скажет: «До свидания, господа», — и все. А здесь у них тысяча причин: то одно, то другое, то третье... Начинаешь им высказывать: «Господа актеры, так же нельзя работать!» — огрызаются, хамят, паясничают... Наверное, думают: «Вот старый дурак привязался! Хоть бы помер скорее».

— Ну что вы говорите! — не выдержал я напрасных сетований Режиссера. — Я же знаю, как они вас любят, как на вас смотрят... Как на Бога!

— Это они делают вид, что любят. Им же ничего не стоит скорчить рожу... Вообще профессия у них тяжелая. Актерский кусок хлеба тяжело дается. И денег ни черта я им не могу платить. — Неожиданно Режиссер стал говорить об актерах с сочувствием. — Так стараюсь вывезти их на гастроли куда-нибудь, подкормиться... Они ведь и спиваются от неостребованности. Им надо работать на сцене, а как сыграть роль, если нет денег? Или когда жить негде?

— А вот Александр Сергеевич, — решил я перевести каким-то образом разговор, — тоже мучился всю жизнь, страдал... Что вы об этом думаете?

Здесь мой Режиссер сразу же подобрел, лицо стало мягче, в глазах засветилась улыбка. Затем улыбка исчезла, ее тотчас заменил суровый, даже угрюмый взгляд, и, остановившись, он медленно, низким голосом прочел:

Нет! Не могу противиться я доле  
Судьбе моей: я избран, чтоб его  
Остановить — не то мы все погибли...

Режиссер улыбнулся:

— Ему говорят, мол, Сальери не виновен, а он: «Кто освистал «Дона Гуана» — мог отравить и его создателя» — и все! Удивительный тип Александр Сергеевич, какой-то залетный ангел.

Режиссер задумчиво помолчал, сделал несколько шагов и опять остановился:

— Вот у Шекспира — родители неграмотные, дети не умели даже расписаться. Откуда же взялся Шекспир? И Пушкин! Родители ничем не примечательны, брат и сестра — тоже, дети и внуки — ни одного серьезного сочинения... Откуда взялся Пушкин? Еще кто-то сомневается, есть ли Бог. А вот его Промысел! Очевидный, наглядный. Язык дал России! Всю ее зарифмовал. А письма! Перечитайте, что он писал Наталье Николаевне, друзьям... Светлая душа. Умел радоваться жизни, каждому дню ее, каждому окружающему предмету. Судьба у него, ох, какая непростая! Можно было запросто превратиться в какого-то брюзжащего, угрюмого и обиженного типа, а он оставался всегда светлым. Посмотрите, рядом с Пушкиным нет уныния, безнадёги, нет места мраку...

— Странно у него с Натальей. Кто-то ее ругает, обвиняет во всем, что с Пушкиным произошло...

— Он ее любил — и в этом все. Что ж тут скажешь? Сколько написал и для нее, и благодаря ей! Это же надо помнить, а чего здесь кого-то обвинять? Он ведь был натурой тонкой, очень чувствительной... да еще необычайно суеверной.

— А откуда такое суеверие?

— Тоже не на пустом месте. Он в молодости зашел вместе со своим приятелем к гадалке. И она им предсказала насильственную смерть. Причем Пушкину от руки «белокурого человека». Все бы ничего, наверное, обошлось бы и даже в памяти не осталось, но этого приятеля-офицера закололи на следующий день. С вами такое, не приведи Господь, случись, не стали бы суеверным? Пушкин был суеверным до смешного. И всегда боялся белокурых. Кстати, Дантес был белокур...

— У меня впечатление, что он был человеком тяжелым, в чем-то несносным. Чуть что — сразу на дуэль.

— А вы знаете, как он однажды предотвратил дуэль? — спросил Режиссер.

— Свою?

— Нет, приятелей. Это было на Кавказе в 1829 году. Там два офицера повздорили, и дело дошло до дуэли. Так получилось, что оба обратились к Пушкину с просьбой быть у них секундантом. Пушкин пытался их отговорить, а потом согласился, но у кого-нибудь одного, по жребью. Второго секунданта предложил выбрать самим. Они согласились и через какое-то время встретились на месте дуэли. Когда уже стали с пистолетами у барьера, Пушкин говорит: «Начинаю считать: «раз!» И в это время неожиданно заиграл оркестр, спрятанный в кустах, а друзья дуэлянтов выбежали с шампанским и стали между противниками. Тогда Пушкин вскричал: «Умоляю вас именем Бога и России — помиритесь!» И они помирились.

— Невероятно, если это правда.

— Конечно, правда. Но это надо было все так устроить, привезти оркестр, всех уговорить, убедить. «Именем Бога и России — помиритесь!» А мы сейчас деремся, убиваем друг друга, стреляем, и никто не скажет так, как сказал Александр Сергеевич.

Некоторое время мы шли молча.

— А самого от дуэли никто не спас. Говорят, если бы Пущин был рядом, то не допустил бы. Но он был в ссылке... — нарушил я молчание.

— Много чего говорят. Мы вот все замечаем, что он трудный был, «невыносимый характер»... Мы хотим, чтобы нас все устраивало. И вообще, — тут Режиссер почти разозлился, — у нас такой, как они сейчас любят говорить, «менталитет», будто нам все должны... Что за страна! Да никто нам ничего не должен! Появится талантливый художник или писатель — уже он что-то «должен». А каково ему с нами, со всеми, с окружающим миром?

— Кто же все-таки мог предотвратить дуэль?

— Только один человек — Наталья Николаевна, — ответил Режиссер, не задумываясь.

— Почему же не предотвратила?

— Почему не предотвратила? Тут можно гадать и многое придумывать, что и без нас давно сделали. Важнее другое: почему эта молодая и красивая женщина могла его спасти?

— У вас есть ответ?

— Ответа здесь может и не быть... — Режиссер замолчал, как-будто раздумывая, начинать эту тему или нет. Затем все же стал говорить: — Известно, что когда родился Пушкин, то матери показалось, что он черный, хотя при рождении все де-

ти немного темные. Вот ей показалось так, и она его невзлюбила. Такое бывает. Младшего любила, к дочери относилась хорошо, а к Александру — никаких чувств. До трех лет он на руках у няни и до семилетнего возраста был очень тихим, робким, маленьким. Родители думали, что у него с головой не все в порядке. Знаете поговорку: «В семье не без урода» — вот это такой случай. И когда на него взрослые кричали, ругали и было уже невмоготу, Александр Сергеевич убежал спастись к бабушке — Марии Алексеевне. У нее была такая большая корзина, куда она складывала пряжу или вышивку, и мальчик прибежал, прятался в эту корзинку и тихо сидел, смотрел на бабушку, как она работает. Представляете картину? Сидит бабушка, что-то рассказывает, а на нее смотрит эдакий маленький кудрявый мальчик. Он знал, что это его единственное убежище, а бабушка — надежная защитница.

— Позже такой защитницей для Пушкина стала няня?

— Арина Родионовна для него всем была. Вообще без знания детства нельзя понять и всего Пушкина. Он всегда будет искать себе убежище, вот эту самую «бабушкину корзинку». Потом родители отправили его в Лицей, а по сути — просто сбагрили. Сначала вообще хотели устроить куда-нибудь в религиозное закрытое заведение, но подвернулся Лицей. И вот, представьте, двенадцатилетний мальчик, да еще такой непростой, остался в одиночестве. Ведь Лицей — это не семья. Там были свои законы, правила, и они от домашних резко отличались. Главное, ребенок уже был волей-неволей самостоятельным и защищать должен был себя сам. Отсюда у Пушкина занятия физическими упражнениями, тяга к фехтованию... Вообще он после Лицея хотел идти в лейб-гусары, но из этого ничего не получилось. Потом начались великосветские кутежи в столице, всевозможные салоны. Это все была такая, как у нас любят говорить, «реакция на трудное детство». А ведь он еще и работал при этом. И работал неистово. Писал, сочинял. В двадцатилетнем возрасте он уже был известен всей литературной России и едва за свои сочинения не угодил в Сибирь. За него заступились и уговорили царя не наказывать строго. То есть уже и царь знал сочинения Пушкина. Его командировали на юг. На самом деле, — выслали. Следили за ним. Потом отправили в Михайловское... Казалось бы, опальный сын возвратился к родителям, его бы успокоить, обогреть... Вместо этого — открытая вражда. Родной отец за ним следит, докладывает по инстанциям. Прочтите письмо Пушкина Жуковскому. Я более горького и отчаянного письма у Пушкина не читал. Его пишет несчастный человек... Он взывает к Жуковскому: «Спаси меня!» Решает написать письмо царю и просить, чтобы тот перевел его в одну из крепостей.

— И он в это время скрывался у Осиповой-Вульф, — вспомнил я рассказ В. Ф. Кашковой.

— Да, он искал спасения, искал тепла в этом семействе и, слава Богу, нашел. Представьте, в двадцатипятилетнем возрасте выслан в деревню, без всякой надежды на скорое возвращение, — словом, пленник, узник, как хотите... И главное, очень одинок. Да, были друзья, были романы, увлечения, но, как сейчас модно говорить, «по большому счету» он был одинок. Перечитайте стихотворение «Зимний вечер».

...Наша ветхая лачужка  
И печальна, и темна...

Режиссер задумался, и мы опять какое-то время шли молча.

Что есть одиночество? Спроси — и такого наговорят! Но еще прежде спросят: «В каком смысле?» У одиночества, как кажется, может быть не один смысл.

Назовешь ли одиноким человека, не окруженного родными, друзьями, знакомыми, не обремененного обязательствами и ответственностью, не имеющего никакого дела, тем более призвания и таланта?

Назвать можно. Но одиночество, о котором говорим сейчас мы, совсем другое. Можно ли признать одиноким человека, случайно попавшего на необитаемый остров?

Конечно. Он действительно одинок и несчастен. Но его одиночество вынужденное. Он с радостью избавится от него при первом же случае, которого ждет и на который надеется.

Одинок ли инок, стоящий на коленях перед иконами в келье?

Физически — да. На деле — он разговаривает с Богом и от того, быть может, счастливей всех прочих, включая тех, кто привык служить Богу соборно. Значит, и здесь речь не об одиночестве, а скорее об уединении, состоянии радостном и желанном для всякой утонченной натуры.

Когда заходит речь об одиночестве Пушкина, то видится нечто совсем иное. Это то самое одиночество, которое довелось испытать очень немногим, лишь призванным. Когда Блез Паскаль утверждал: «Иисус одинок в этом мире», — он имел в виду именно такое одиночество. Это состояние изобразил Крамской в картине «Христос в пустыне».

Кажется, вот одиночество — ты есть, а вокруг — пустыня! На самом деле, одиночество как раз в обратном: не тогда, когда вокруг тебя пустыня, ты один и нет никого, а когда все есть, существуют, живут, пируют и даже рядом с тобою, но... ты сам как будто не существуешь для них. Ни для тех, кто рядом, ни для тех, кто далеко, ни для прочих. Ты не существуешь ни для кого! Ты есть лишь для себя и только для себя творишь, мыслишь и плодами своих творений даже можешь потешать ближних. Но сам для них не существуешь.

В этом смысле одиночество не отстраненность твоя от мира, а отстранение мира от тебя. Это состояние ужасное и в чем-то невыносимое, но оно может оказаться и счастливым, потому что позволяет открыто смотреть на окружающий мир, не страшась последствий сказанного или написанного. Это тот редкий шанс, когда призванный становится пророком и даже может судить мир! Тот самый мир, в который он явился, но который этого не заметил.

Единственное, что может привлечь внимание к тебе, — твоя смерть. В этом смысле смерть призванного — величайшее благо, желанный и представимый для него миг: «Совершилось!» Можно сказать, что смерть для призванного есть настоящая жизнь, потому что со смертью приходит конец одиночеству. Это и есть воскресение!

Когда я думаю об одиночестве Пушкина, мне видится запорошенная снегом по соломенной крышу небольшая избушка. К ней не подойти, не подъехать: темная ночь, мороз, метель, сугробы, все дороги заметены, да и где находится эта избушка — не знает никто. Но там, внутри, уютно, тихо, чисто и удивительно тепло. Горит огонь в печке, несколько свечей, полумрак... Сидит в кресле поэт. Немного в стороне — дорогая его сердцу няня, Арина Родионовна. Чем-то занята, рукодельничает. Единственное живое существо, которое рядом. Пушкин одинок, и она здесь для того, чтобы свидетельствовать о его одиночестве: если бы не няня, через кого бы к нам обратился поэт?

В стихотворении «Зимний вечер» отражается состояние глубокого одиночества поэта. Это, быть может, самое грустное из всех пушкинских стихотворений. В нем сокрыто гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд. Попробуйте прочесть его очень тихо, почти шепотом, поздним вечером и обязательно, когда останетесь одни.

...Спой мне песню, как синица  
Тихо за морем жила;  
Спой мне песню, как девица  
За водой поутру шла...

В таком одиночестве пребывал Пушкин до последних своих дней...

Но вот он на смертном одре...

Из письма Я. М. Неверова к Шевыреву от 28 января:

«Сегодня целый день перед домом Пушкина толпились пешеходы и разъезжали экипажи: весь город принимает живейшее участие в поэте, беспрестанно присылают со всех сторон осведомляться, что с ним делается...»

Пророк умирает... Заканчивается его одиночество.

Тем временем Режиссер продолжал:

— Вспомните, как Александр Сергеевич радовался приезду в Михайловское Пущина. Какие стихи родились от этого восторга: «Мой первый друг, мой друг бесценный...» Выбежал к другу босиком, полуодетый, обезумевший от счастья. Перечитайте об их встрече... Он взрослел и еще неосмысленно, призрачно, может, интуитивно, но уже ждал ту, которая могла бы вернуть ему тепло, которого он был лишен в детстве. Пушкин искал в этом спасение, и, конечно, никто, кроме женщины, такого сделать для него не мог.

— Керн тоже тогда появилась.

— Да. Пушкин влюбился в нее и ревновал страшно. Сочинял ей удивительные письма, какие чувства открылись в нем... Ну а про известные стихи и говорить нечего: кто еще из женщин таких удостоился?

Режиссер остановился, задумался, затем мы вновь не спеша двинулись вперед. Вот уже оказались деревянными избы, а за ними — старинная церковь и кладбище, на котором покоится А. П. Керн. Режиссер, глядя на церковь, трижды перекрестил-

ся, поклонился, но, поскольку было уже поздно, к самой могиле подходить не стали. Повернулись и пошли обратно.

— Но Анна Петровна Керн была еще не «та», — предположил я.

— Не «та». В 1828 году он написал стихотворение «Предчувствие»: «Снова тучи надо мною собралися в тишине...» Надо внимательнее читать Пушкина, — серьезно произнес Режиссер. — Там у него все есть, все написано, только сумеи услышать... Как раз в 1828 году он впервые увидел Наталью Гончарову.

— Можно ли сказать, что Гончарова была та, которую Пушкин ждал? — спросил я.

— У меня нет ответа. Пушкин ее любил, боготворил, какие письма писал! Значит, та. Но она его не спасла, не уберегла от смерти — значит, не та. Кто тут может выступить судьей? Только Господь Бог! Первому поэту России нужна была очень красивая женщина, может быть, самая красивая. Наверное, для самоутверждения. Сам он, известно, красавцем не был и это хорошо знал. Но ведь красивые женщины у него были и до Натальи Николаевны. Значит, что-то еще ему нужно было. Совсем другое. Думаю, он надеялся, что эта в меру избалованная и хорошо воспитанная женщина станет той самой, единственной, которой он сможет доверить свою слабость, а она сможет защитить его от окружающего мира. Он надеялся, что со временем она от чего-то напускного избавится, поумнеет, верил, что все лучшее для нее впереди, рядом с ним, Пушкиным, сильным и могучим, бесстрашным и сумасбродным, готовым ко всему, к противостоянию и борьбе хоть со всем миром, но для нее — тем самым беззащитным, лишенным тепла и ласки, одиноким ребенком, который в трудную минуту так стремится поскорее спрятаться в бабушкину корзинку...

Режиссер погрузился на некоторое время в раздумье, потом заговорил снова:

— Есть его письма к Наталье Николаевне, есть письма к друзьям и друзей к нему, сохранились воспоминания современников, многое есть, настоящее и придуманное, наконец есть его творения. Но было и еще нечто такое, чего не выдумаешь, — и это как раз самое важное. Были их разговоры — их и только их тайна. О чем они, счастливые, могли говорить, оставаясь вдвоем, ночью? Как они смеялись, плакали, страдали, наверное, о чем-то мечтали, строили планы? Этого уже не дано знать. Ни кому! И слава Богу! Потому что это мир не для посторонних, вроде нас с вами, как бы мы Пушкина ни любили. И вот этот тайный мир, даже не тайный, а потаенный пушкинский мир, не дает нам права никого из них двоих обвинять. Мы можем обвинять только этот жестокий мир, имя которому — Россия, в которой его, как Пушкин однажды в сердцах признался, «догадал черт родиться». Нам — на счастье, а ему — на беду. Но и Россию — как обвинять? Без нее, с ее бедами и несчастьями, без ее трагической истории — не было бы Пушкина... А вы, простите, когда-нибудь любили? — вдруг спросил меня Режиссер.

— Как вам сказать? — оторопел я от неожиданного вопроса и задумался, спешно перебирая в голове всевозможные свои романы, пытаюсь ответить самому себе: который из них можно было бы назвать любовью?

Мой друг сразу это заметил, сочувственно улыбнулся и произнес:

— Все с вами ясно. Пушкина нельзя понять, если не знаешь, что такое любовь. Хоть наизусть всего выучи. Можешь стать даже пушкинистом, а ничего в Пушкине не поймешь... Вот какой был господин Александр Сергеевич!

Какое-то время мы шли молча, затем Режиссер достал из кармана небольшой блокнот и попытался прочесть записанное. Однако не смог из-за отсутствия очков, к тому же уже темнело. Небо еще оставалось светлым, а здесь, у дороги, где густо росли деревья, были сумерки. Тогда Режиссер передал мне блокнот, и я смог прочесть:

Как поэту — мне не нужен никто.  
 Как женщине, т. е. существу смутному,  
 мне нужна ясность, —  
 и существу стихийному — мне нужна воля:  
 воля другого к лучшей мне.

— Кто это написал? — спросил я Режиссера.

— Марина Цветаева. Это из ее дневников, недавно опубликованных.

Мало что уловив, я прочел цветаевскую запись еще и еще раз.

— Понимаете? — стал объяснять Режиссер. — Она написала: «...мне нужна воля», затем уточнила: «воля другого к лучшей мне». Такую формулу нужно было найти, изложить. Сколько потерянных и несчастных судеб из-за того, что не смогли «открыть» ее для себя, своей души, сердца, может, этот «другой» был совсем рядом. Цветаева формулу нашла. Для себя и вот теперь для других. Но — увы — не

оказалось рядом с ней того, кто был сильнее, кто знал и ждал ее, «лучшую»... Марина Ивановна, Марина Ивановна! Сколько же она этими несколькими строчками мне объяснила... Жаль, что только сейчас, под старость, я это понял... Где-то здесь скрывается ответ на вопрос: почему Наталья Николаевна могла предотвратить гибель Пушкина?

— Пушкин не нашел в Наталье то, что искал? Был этим разочарован?

— Можно массу претензий предъявлять Наталье Николаевне, что и происходит. Представить, что она капризна, легкомысленна, не поняла, с кем имеет дело, чьей женой стала, какую роль ей уготовила судьба и прочее. Особенно ей достается от женщин... Я представляю, каково было Александру Сергеевичу. Он же не был, как мы сейчас говорим, бизнесменом. Пушкин вообще у нас первый, кто стал зарабатывать на хлеб писательским трудом. Но это же не бизнес. Просто лист бумаги и перо. У писателя больше ничего нет. Это нелегкий труд, которому удача или поражение могут сопутствовать попеременно, но одиночество — почти всегда. О деньгах думать некогда. А Пушкину надо было добывать деньги, и большие: на содержание квартиры, экипажи, штат прислуги, наряды первой красавицы. Он залезал в долги, все это его терзало, не давало спокойно работать. А ему надо было писать, сочинять, мыслить...

— А Наталье надо было еще кокетничать, танцевать на балах, кружить молодым людям головы, она ведь совсем была молодой, — присоединился я к критикам Натальи Гончаровой.

— Он думал: вот немного повзрослеет, остепенится, одумается, станет той самой... Время шло, а она не выростала. Он от этого сходил с ума. Делал ошибки. Но и ее тоже понять можно: молодая женщина, а все время на сносях. Один, два, три, четыре... Это же не просто.

— Он ее этим сильно ограничивал, может, хотел таким образом привязать к себе? Есть ведь такой способ...

— Кто знает? Но он только еще больше разжег в ней опасения стать птицей в клетке. Потом он вообще хотел в последнее время уехать в деревню и жить там. Он ведь творить мог только в состоянии душевного покоя.

— Опять в этот свой уголок.

— Да, он всерьез собирался расстаться с Петербургом и светом, который ненавидел. Он приехал в 1835 году в Тригорское ужасно скучный, утомленный... Осенью того года — а что значит для Пушкина осень! — он не мог творить. Это яму можно копать, или что-то перекладывать с места на место, или какое-то занятие шумное, публичное найти, но сидеть в темной комнате при свече и творить, когда сердце разрывается, нельзя! Вот он и пишет Плетневу: «Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен». Так до самой смерти он и оставался неспокоен. Даже внешне изменился.

— Я читал, будто у него даже волосы в последние месяцы жизни стали прямыми...

— Это правда. Пушкин уже ехал на дуэль, и на Дворцовой набережной встретила Наталья Николаевна. Она ехала в экипаже. Данзас ее узнал, и, как он потом писал, у него блеснула надежда: а вдруг?

— Значит, Данзас тоже понимал, что Наталья — единственная, кто может предотвратить дуэль?

— Судя по всему, понимал. Но... Пушкин смотрел куда-то в другую сторону, а Гончарова была близорука и ничего не заметила. Они разъехались. Мог что-то сделать Данзас или не мог? Мог ли повести себя, как когда-то Пушкин, когда предотвратил дуэль? Не знаю.

— А царь? Он что-то знал?

— Что царь? Мне гораздо интереснее Вревская (опять тверская женщина! — **Автор.**), которой мог довериться Пушкин. Он встречался с ней накануне дуэли, и она оказалась единственной, с кем Пушкин мог тогда быть откровенным. Я думаю, что он ей рассказал все, что в нем наболело. Это было нечто очень страшное, потому что сама Вревская была в ужасе от услышанного. Но опять же страшное не по каким-то шокирующим фактам, а по глубине переживаний. Исследователи все ищут какие-то письма, прочие материализованные доказательства, а ведь это все из области совсем иной. Страшное было в глазах, в голосе, в душе, в сердце, а не в документах и источниках. Пушкин был одинок, беззащитен, отчаянно искал выхода из своего положения, и никто ему не помог.

— И таким выходом могла стать для него смерть?

— Жизнь его после дуэли должна была круто измениться. Он говорил за три дня — всего за три дня до смерти: «Я только что перебесился, я буду еще много работать». Эта его фраза свидетельствует о многом. Впереди оставался один барьер... Как оказалось, роковой.

Мы уже подошли к санаторию и вошли в калитку, и тут Режиссер медленно, несколько монотонно, низким голосом прочел строки из «Езерского»:

Зачем крутится ветер в овраге,  
Подъемлет лист и пыль несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?..

Он грустно улыбнулся, как будто закончил выступление на сцене, и в тот же миг на нас закричали с балкона второго этажа разбуженные обитатели санатория. При этом честно предупредили, что, если тотчас не замолчим, бросят в нас чем-нибудь тяжелым.

— Вот вам, пожалуйста! — смеясь, произнес Режиссер. — Уже пора спать. Все-му свое время.

### Заключение

Благодаря Торжку я открыл для себя особого Пушкина. Пушкина, находящегося в пути, в дороге, в движении. Он проезжал через Торжок более тридцати раз! Тверской Пушкин — путешественник. И, знакомясь с таким Пушкиным, невольно задаешь вопросы: почему он бежал из обустроенных и уютных столиц в сельскую глушь, например, в тверскую? От чего и от кого убежал?

Может, от себя? Но куда же от себя убежишь?

Или от невыносимой жизни вокруг? Но где и когда она, эта жизнь, была выно-сима для таких, как Пушкин?

Тогда я обратил внимание на то, что и другие наши великие тоже постоянно куда-то «бежали»: вот колесит в своей кибитке Гоголь; едет на край света Чехов; куда-то уходит Толстой; путешествуют Достоевский, Бунин... Может, и они от чего-то убежали, от кого-то скрывались, прятались или, может, просто двигались, чтобы в движении обрести хоть какой-то покой? Только какой покой в движении?

И я понял, что ни от кого и ни от чего они не убегали, а, напротив, сами старались догнать, поймать, уловить...

Кого же?

Есть у нас, у русских, в характере одна особенность, не совсем нами же любимая и почитаемая: долготерпение к своим бедам. Этакое непротивление своему уни-зительному, рабскому и нищенскому существованию. Не «непротивление злу наси-лием», а просто: непротивление злу.

Откуда это?

Быть может, эта черта русского характера — в природе наших огромных, не-объятных пространств, куда русский человек, послав все подальше, мог безоглядно бежать? Ведь у него всегда был шанс спастись уходом или даже бегством и, значит, был выбор: стоять насмерть перед лицом беды или уйти от нее.

У какого еще народа был такой выбор?

Итак, безоглядное бегство как способ борьбы с напастями, как форма выжива-ния и возможность безнаказанного протеста. Русский человек бежал, его преследо-вали напасти, он снова спасался бегством, его вновь и вновь догоняли... и так без конца, потому что ни у пространства нашего, ни у наших невзгод конца нет. Мы и в самом деле кочевники, как уже о нас кто-то сказал. Но кочевники особенные: го-лодные и обездоленные, мы не преследуем добычу, а, напротив, бежим в вечной на-дежде его не стать.

...Помните картину «Смерть переселенца»? Вот и ее, в свою очередь, тоже на-писал передвижник...

Так вот, эта «разбегающаяся» во все стороны измученная страна, это вековое бегство, этот хаотичный, неорганизованный исход — без пророка, без пастыря, са-мочинно, в разные стороны, куда глаза глядят — выработали одну из самых очевид-ных черт в нашем характере: мы беспокойны! Мы как будто всегда в ожидании до-роги, пути, где главный смысл — все-таки в «ожидании».

Когда куда-то едем из своего дома, то не кажется ли, что гораздо больше ожидаем саму дорогу, чем цель нашего следования? Так же и обратно: дорога домой, ожидание возврата более трепетно для нас, чем сам дом, где очень часто нас поджидают лишь новые беды и тревоги.

Блуждающая, не сидящая на месте душа наша как будто еще при жизни оставила тело. Не оттого ли правильнее нас называть бездушными, чем «бездуховными»?

...Какой же путь надо успеть проделать тому, кто призван стать — Ловцом человек! Какие пространственные расстояния должен преодолеть и каких духовных высот достичь тот, кто взял на себя поиск живых, но не мертвых душ!

Только в движении, в бесконечном пути можно уловить эту видимую, но постоянно ускользающую нить народного характера. Вот почему наши великие — Скитальцы. Они не убегают — но догоняют, ловят, собирают... и от этого не могут никак стать нашими пастырями (поэтому и нет у нас добрых пастырей) — ведь они всегда в погоне за разбегающимися в разные стороны душами и, значит, всегда позади, в конце. Они — наши великие замыкающие.

Вот почему дорога — спутница жизни всякого ищущего сердца, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, первого из всех так близко подступившего к русской душе. Он и до сих пор путешествует неотрывно с нею. Так вцепился, так схватился, что скорее всего уже никогда эту душу от себя не отпустит. И, пока будет Россия, в каждой живущей здесь душе пушкинская строка отзовется добрым и бесконечным эхом.



### «Приблизиться к русскому идеалу искусства...»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРЕПИСКИ М. А. АЛДАНОВА

**Ж**урнал «Октябрь» в 1996 году напечатал четыре материала из архива М. А. Алданова\*. В кругу эмигрантов первой волны Алданов был центром притяжения — с ним дружили, советовались, переписывались люди разных возрастов и взглядов, писатели, художники, музыканты, политики. В завершающей цикл пятой публикации представлены фрагменты из переписки Алданова с видными деятелями культуры русского зарубежья: И. Е. Репиным, Г. В. Адамовичем, Б. К. Зайцевым, М. А. Осоргиным, Н. А. Тэффи. В зеркале переписки Алданов предстает человеком благожелательным, ровным, неизменно готовым прийти на помощь.

В мемуарах о нем постоянно повторяется выражение «европеизм». Со всеми корреспондентами был на «вы», причем писал «Вы», и ему отвечали тем же, неизменно с заглавной буквы. Собственных дел касался лишь мимоходом, как бы неохотно. К примеру, из его переписки не удалось почерпнуть никаких сведений о судьбе его братьев, даже узнать их имен. О деле своей жизни, литературной работе тоже сообщал бегло, информировал даже ближайших друзей о новых произведениях, как правило, лишь когда они уже были закончены.

Сразу же становился необычно эмоциональным, когда переходил к русской литературе. Интересны его суждения, порой спорные, о классиках, о современниках-эмигрантах. Россия оставалась до конца его дней самой большой любовью. И эту любовь разделяли все без исключения его корреспонденты.

В общей сложности в двух архивах Алданова в Москве (Библиотека-архив Российского фонда культуры) и в Нью-Йорке (Бахметевский архив Колумбийского университета) хранится до 20 тыс. писем писателя и ему адресованных\*\*. Относятся они почти исключительно к 1940—1957 гг. Алданов собирал архив всю жизнь, но в 1940 г. бумаги погибли в Париже в огне войны. Тогда он начал собирать их заново. В начале 1950-х годов Колумбийский университет согласился принять на хранение рукописные собрания русских эмигрантов. Алданов несколько ящиков с перепиской отдал бесплатно. «Условия для писем я поставил следующие: при жизни моего корреспондента и мой никто не может ни читать, ни печатать наши письма без нашего обоюдного согласия; после смерти одного из нас согласие должно быть дано вторым корреспондентом; а после смерти обоих правление архива может делать с письмами что угодно», — сообщал он 15 ноября 1954 г. Б. К. Зайцеву. Он отдавал себе отчет, что советская власть — отнюдь не на вечные времена, рано или поздно к эмигрантам в России возникнет общественный интерес. Письма дадут возможность по-новому понять их внутренний мир, раскрыть их судьбы.

Письма — как обращения к потомкам, и многое в них созвучно нашему времени. Если вы хотите узнать, каков был духовный облик «поколенья с сиренью и с Пасхой в Кремле», — прочитайте их.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, профессор МГУ

---

\* «Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова, № 1; «Этому человеку я верю больше всех на земле». Из переписки И. А. Бунина и М. А. Алданова, № 3; «Они служили своим идеям, и служили им с честью...» Из политической переписки М. А. Алданова, № 6; «Вековой заряд духовности». Две неопубликованные статьи М. Алданова о русской литературе, № 12.

\*\* Эта публикация стала возможной благодаря гранту американской корпорации IREX и разрешению, которое дало руководство обоих архивов. Автор публикации сердечно их благодарит. Знаком \* отмечены письма, хранящиеся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры.

**Б. К. Зайцев — Алданову, 11 января 1946 г.**

*Мы одиночки и, конечно, скоро умрем, но у нас великое преимущество: правда на нашей стороне. И это вечно. Тут ничего не поделаешь. Никакой Сталин, никакой Гитлер не смогут ее задавить. Так всегда было, так и будет. Правда относится к царству «не от мира сего», то есть к духовному миру, над которым никто из «этих» не властен.*

Самое раннее из дошедших до нас писем в алдановских архивах относится к началу 20-х годов. В Париже в 1921 г. Алданов опубликовал к столетию со дня смерти Наполеона свое первое художественное произведение, повесть «Святая Елена, маленький остров». Наполеон в ней изображен совсем иначе, чем у Толстого: он умудренный, хотя порою циничный, остролов, провидец, намечающий контуры будущих событий. Повесть сразу же была переведена на несколько языков, привлекла внимание, о молодом дебютанте заговорили как о мастере. Алданов получил в высшей степени лестное письмо от художника И. Е. Репина, интересовавшегося исторической темой в искусстве.

**И. Е. Репин — Алданову, б/д, 1920-е годы**

(Прочел повесть Алданова «Святая Елена, маленький остров».)

*Ах, что это за книга! Как жаль, что я не умею набрасывать образов из прочитанного. А главное, когда я вообразю, что этот набросок будете видеть Вы, то меня скует страх — робость, и я уже впадаю в полный идиотизм и безволие. Да ведь Ваши герои — это живые люди: они являются так неожиданно, в таких невероятных поворотах и таких неуловимых тонах, что схватить это — гениальное творчество, нет, это нам не дано. <...>*

*Ваш обожатель Илья Репин.*

Через несколько лет, когда вышел в свет роман Алданова «Чертов мост», Репин вновь написал ему и начал так: «Обожаемый Марк Александрович! Только Льву Николаевичу Толстому я писал «обожаемый», потому что действительно обожал этого божественного человека...» Конечно же, уподобление Толстому Алданова не могло не взволновать: Толстой всю жизнь был для него высшим авторитетом, он еще до революции опубликовал о нем книгу, а в самом последнем его романе «Самоубийство», публикация которого в газете завершилась уже посмертно, в 1957 г., герой, перечитывая Толстого, говорит: «Он был полубог».

В недатированном письме Репина, первые строки которого приведены выше, знаменательны и последние: «Вообще, между нами, но я серьезно удивлен — как это все же еще недостаточно гремит Ваше имя, и Вы такой скромный, молодой писатель?»

Перед тем как в Париж в 1940 г. вступили гитлеровские части, Алданов бежал из города. Погибли почти все собранные им архивные материалы, но уцелела тоненькая пачка репинских писем. Быть может, эту пачку как самую дорогую реликвию писатель взял с собой в новое изгнание.

Некоторые письма Алданова, относящиеся к периоду между двумя мировыми войнами, сохранили их получатели. Уже после того, как «Октябрь» напечатал переписку Алданова и В. В. Набокова, было получено разрешение Д. В. Набокова, сына писателя, опубликовать дополнительно алдановские письма Набокову 30-х годов, хранящиеся в фонде Набокова в отделе рукописей Библиотеки Конгресса США. Среди них два особенно значительны. В 1934 г., прочитав «Отчаяние», Алданов признает в Набокове громадный талант, предрекает ему достижение русской и европейской высот. В 1938 г. Алданов — восторженный поклонник «Дара», хотя он на частные вопросы писательского ремесла смотрит иначе, чем Набоков, это не мешает ему повторять: роман написан «изумительно, как никто другой написать не может»\*.

**Алданов — В. В. Набокову, 10 ноября 1934 г.**

*Дорогой Владимир Владимирович.*

*Искренно Вас благодарю за Ваш лестный отзыв о моем «Строганове»<sup>1</sup>. Хотя мне и неприятно тут же отвечать Вам тем же, но не могу не сказать, что Ваше ныне закончившееся печатанием «Отчаяние» поистине превосходно. Посылаю Вам статью Адамовича, которой Вы, вероятно, не видели. Я совершенно согласен с ним в том, что у большой публики эта книга будет иметь меньше успеха. Но*

\* Выражаю глубокую признательность за ксерокопии этих писем моему американскому коллеге, исследователю творчества Алданова профессору Николасу Ли.

*Вам это теперь и не так важно: Вы настолько признаны в качестве одного из первых русских писателей наших дней, что успех или неуспех у публики уже значит очень мало. Как видите, Адамович (Вы к нему в одном из Ваших писем ко мне были несправедливы) всецело «перешел на нашу платформу». Давно ли он был в числе тех, кто Вас не признавал. Я раза два говорил с ним о Вас — в первый раз он еще спорил, а во второй почти во всем был со мной согласен. С настоящей его статьей я согласен далеко не во всем. Но могу Вас уверить, что она в литературном Париже произвела впечатление исключительно лестной,— это я особенно почувствовал в разговорах с людьми, которые Вам завидуют, считая себя без всякого основания Вашими конкурентами! Только не сорвитесь, дорогой Владимир Владимирович, в чрезмерной работе — и один Бог знает, на какую высоту Вы подниметесь и в русской, и в европейской литературе. Кстати, о литературе европейской: я видел объявление о французском издании предпоследнего Вашего романа с фамилией Набоков-Сириг — по-моему, двойную русскую фамилию французам запомнить чрезвычайно трудно, думаю, что Вы сделали ошибку. <...>*

*О себе нового ничего сказать не могу. Кончаю «Пещеру» — вчера, как и Вы, экзаменовался по ней сразу в трех учебных заведениях: в «Последних новостях», в «Возрождении» и в «Сегодня»<sup>2</sup>. У Ходасевича получил передержку («выскажемся по окончании», но я ничего против этой формулы не имею), а у Адамовича и Пильского перешел в следующий класс с наградой. Искренно радуюсь тому, что экзаменоваться и рисковать единицей мне уже осталось только два: по выходе следующей книги «Современных записок» и по выходе отдельного издания. Иностранные рецензии в счет не идут: их много, никто из соотечественников их не видит, а у иностранцев в одно ухо влетает, из другого вылетает.*

<sup>1</sup> Письмо Набокова с «лестным отзывом» о сборнике очерков Алданова «Юность Павла Строганова и другие характеристики» не сохранилось.

<sup>2</sup> «Последние новости» и «Возрождение» — парижские русскоязычные газеты; газета «Сегодня» выходила в Риге.

#### Алданов — Набокову, 29 января 1938 г.

*Очередная часть «Дара» в «Современных записках» написана изумительно, как никто другой написать не может. Но, дорогой Владимир Владимирович, зачем же страницы об Адамовиче (и о Пильском)?! Зачем Вы это делаете? Разумеется, в редакции «Последних новостей» и везде в этом все, вплоть до дактилографки Ляли, тотчас признали Адамовича (я пытался отрицать, но никто и слушать не хотел), и не скрою, на Вас сердятся. Не мое это, само собой, дело — Вам виднее, — однако я искренно пожалел, что Вы это написали. Надеюсь, Вы на меня не рассердитесь, что пишу Вам это откровенно. Помимо всего прочего, Ваш роман рассчитан на очень долгую жизнь — то ж связывать его часть с рецензией, которая живет два дня?*

*Пьесы Вашей пока не читал. Они ее переписали только в двух экземплярах, и оба находятся у актеров. Слышал, что пьеса будет напечатана в новом журнале Милюкова<sup>1</sup>. Очень порадовался, тем более что и платит они будут, говорят, хорошо. Думаю, что пьеса поправит Ваши дела. Моя «Линия Брунгильды» принесла мне больше, чем я думал, хоть ни на один язык пока не переведена (да и не годится для этого) и хотя из нескольких стран я платы не получил. Оказалось, что русские театры не так уж мало. Большая часть их ставит пьесу один или два раза, но в Варшаве она уже прошла, кажется, раз двадцать (там ходят поляки), — впрочем, именно из Польши я пока денег не получил. При свидании, после первой постановки «События», передам Вам все адреса. Ведь Вы приедете на премьеру?*

<sup>1</sup> Пьеса Набокова «Событие» была опубликована в журнале П. Н. Милюкова «Русские записки» (1938, апрель).

Следующее письмо датировано августом 1940 г. Война. Наверху приписано для цензора «En gusse» — на русском языке. Алданов рассказывает писателю М. А. Осоргину о том, как бежал на юг Франции, о приключившейся с ним беде — потере неопубликованной рукописи. О другой беде — разграблении парижской квартиры и утраке огромного архива — Алданов еще не знает. Пишет из Ниццы, находящейся в «свободной зоне», где не было немцев. В тяжелый свой час продолжает заботиться о друзьях. Эпизод с анонимным жертвователем, о котором идет речь в письме, не только трогателен, но и показателен для нравов литературной эмиграции первой волны: выручка, взаимопомощь, моральная поддержка являлись нравственной нормой зарубежных россиян.

Алданов — М. А. Осоргину, 13 августа 1940 г.\*

*Дорогой Михаил Андреевич.*

*Я на днях получил письмо от Александра Абрамовича, он подробно мне сообщает о том, как Вы жили эти два месяца. Всем нам пришлось очень тяжело, но Вам да еще Сумскому хуже, чем кому бы то ни было<sup>1</sup>. О состоянии моей квартиры в Париже мне ничего не известно, сообщение о Вашей меня удивило, но не слишком: вероятно, так будет и с другими.*

*Мы с Татьяной Марковной<sup>2</sup>, ее матерью и няней (живущей у нас в доме 45 лет) проделали классическую дорогу: Париж — Бордо — Аркашон — Байонна — По — Марсель — Ницца. Теперь в Ницце обосновались, адрес «окончательный». Я подал просьбу американскому консулу в Марселе о визе в С[оединенные] Штаты, но едва ли удастся уехать: слишком много трудностей, в первую очередь денежных. Надо ли Вам говорить, что у меня нет ровно ничего и что я не зарабатываю ни гроша? <...> Я взял займы у родных, а что будет дальше — совершенно не знаю.*

*Поляков мне писал, что Ваше материальное положение совсем плохо, был чуть не голод? На этом основании я позволил себе нескромность. Встретив здесь одного нашего товарища по кадетскому корпусу, я сказал ему, что Вам очень трудно. Он немедленно и в высшей степени любезно передал мне 800 фр. с просьбой переслать Вам (он человек состоятельный). Я не уполномочен сообщить его имя, но, если Вы со временем будете в состоянии ему это отдать (разумеется, когда угодно), я Вам его и/или сообщу. Надеюсь, что Вы на меня не рассердитесь? В другое время я никогда себе этого не позволил бы без Вашего предварительного согласия, но теперь времена особые. Эти восемьсот франков находятся со вчерашнего дня у меня. Пожалуйста, подтвердите мне Ваш адрес, и я тотчас их Вам вышлю по почте. Не решаюсь выслать до Вашего ответа, так как отнюдь не уверен, что Вы остались или останетесь в этом Вашем городке<sup>3</sup>. Везде худо, но уж лучше — не в полном одиночестве.*

*Вещи мои все целы, за исключением главной: на Аустерлицком вокзале моя теща потеряла рукопись конца моей книги «Начало конца». Хотя она теперь никому не нужна и печатать книгу нигде и незачем, я был чрезвычайно расстроен и не знаю, удастся ли восстановить все по памяти. Если свое и восстановлю, то не могу цитировать по памяти чужое. А там у меня Вермандуа высказывает свои мысли по поводу разных редкостных книг, которые нигде, кроме Национальной библиотеки, достать нельзя. Для человечества, разумеется, потеря невелика, но автору, по человеческой глупости его, крайне досадно, тем более что он гордится (тоже по глупости): начал писать и печатать «Начало конца» (культуры и свободы) четыре года тому назад. Рукопись была в пальто, а на вокзале я, отправившись за билетами, отдал пальто теще. Сохранили ли Вы свое? Ведь рукописи возишь не в чемоданах.*

<sup>1</sup> Александр Абрамович Поляков и Сумский (Каплун), владелец берлинского издательства «Эпоха», вместе с Алдановым сотрудничали в парижской газете «Последние новости». Сумский погиб в 1940 г., Осоргин умер в 1942 г.

<sup>2</sup> Жена М. А. Алданова.

<sup>3</sup> Шабри.

Роман «Начало конца», о котором шла речь в письме Осоргину, сыграл в судьбе Алданова важную роль. Приехав с большими трудностями в США, писатель заново написал главу взамен утраченной, закончил книгу. На русском языке ему так и не удалось ее напечатать, но на английском она вышла в разгар войны (под названием «Пятая печать») и имела исключительный успех. Ее тираж в США превысил 300 тысяч, она была удостоена выбора национального Клуба книги месяца (такой же высокой чести был удостоен роман другого писателя-антифашиста, Томаса Манна, «Иосиф и его братья»). Впервые в жизни Алданов обрел материальный достаток.

В Бахметевском архиве хранятся черновики «Начала конца». Готовя роман к изданию, Алданов снял десятки страниц актуальной политической публицистики, не связанной с развитием сюжета. Снял вставную «рукопись от доктора Майера», своеобразную пародию на «Майн Кампф», исповедь нацистского политика-подлеца. Снял многие актуальные политические диалоги. Сами по себе они представляют интерес, но не литературный. В философских диалогах собеседников-единомышленников писатель затрагивает такие важные темы, как надвигающаяся война, перспективы демократии и диктатуры. Взгляды Алданова резко отличаются от взглядов тогдашних советских публицистов.

«— Представьте себе на мгновенье, что в 1870 году у нас взошел бы на престол какой-нибудь король или император, процарствовавший до наших дней,— истории известны столь долгие царствования. В активе этого короля было бы создание ве-

ликой колониальной империи, победа в мировой войне, возвращение Эльзаса и Лотарингии, огромные культурные заслуги — все это без казней, без террора, на началах свободы и равенства. Не думаете ли вы, что такой король перешел бы в историю с прозвищем Великого? Между тем Третьей республике всего этого в заслугу почему-то не ставят: говорят только о финансовых скандалах и о частой смене министров. Ваша аргументация бессильна против того факта, что в мировой войне победили страны свободные, а потерпели поражение правительств самодержавные или близкие к самодержавным.

— К несчастью, это лишь означает, что соотношение сил случайно сложилось в пользу стран свободных, которые вдобавок не победили бы без помощи России, государства наименее свободного из всех тогда существовавших в Европе. Если вы желаете знать мое откровенное суждение, то победили свободные страны не потому, что они были свободны, а несмотря на то, что они были свободны. В случае союза России с Германией и Австрией победили бы, уж конечно, не свободные государства. В силу общего закона истории культура народа, по мере своего роста, медленно и верно ведет этот народ в пропасть. Спартанцы побеждают афинян, римляне греков, варвары римлян. Добавьте к этому то, что обычно называют романтизмом человеческой породы — можно было бы найти и более сильное выражение. К несчастью, из существующих ныне социально-политических программ грандиозные — идиотичны, а сколько-нибудь разумные — убоги и мелки до отвращения. Но так как средний человек разумом увлечься не способен — разум ведь и сам по себе предохраняет от восторгов хотя бы в собственную пользу, — то победа неизбежно должна достаться программам грандиозным при своем несомненном и бесспорном идиотизме. Выбирая между планами Гитлера и повышением подоходного налога на пять сантимов, человечество должно предпочесть планы Гитлера». <...>

(О демократии.)

«Сюда входит и продажность, тоже во всех формах, включая и самую гадкую: продажное обличение продажности. Сюда входит министерский кавардак с кулуарными интригами, с торжеством невежества. Все это демократия, это ее свойства, которые, на основании исторического опыта, вплоть до новых исторических данных, мы вынуждены считать неотъемлемыми. Но сюда входит также личная неприкосновенность, свобода мысли, человеческая независимость. Это тоже демократия. Это тоже ее основные неотъемлемые свойства. Логически не исключена возможность такой диктатуры, которая уважала бы и личную неприкосновенность, и человеческую независимость, и даже свободу мысли. Но история таких примеров, к несчастью, не дает: тут еще одно, тысячное по счету, поражение логики и разума».

В нью-йоркском «Новом журнале» Алданов напечатал на русском языке окончание романа «Начало конца» (журнальная публикация началась до войны, во Франции), но три с небольшим заключительные страницы текста по каким-то причинам были опущены. Когда «Октябрь» в 1993 г. впервые опубликовал роман на русском языке полностью, пришлось эти страницы дать в обратном переводе с английского. В Бахметевском архиве мне посчастливилось обнаружить русский оригинал. Однако радость находки смешалась с горечью: самая последняя, четвертая страница, на которой было, судя по всему, лишь несколько строк, утрачена.

Заключительный эпизод романа очень выразителен и по-своему характеризует эпоху. Действие происходит в 1937 г. в Бельгии во время бала у короля. Встречаются советский посол и маститый французский писатель. Посол, только что переживший любовную драму, имеет задание из Москвы склонить своего собеседника поставить подпись под телеграммой в поддержку показательного процесса над «врагами народа». Алдановский текст намного выразительнее и перевода на английский язык, и тем более обратного перевода на русский.

«Кангаров-Московский сидел за столиком с Вермандуа и все не мог перейти к делу. Ему трудно было собрать мысли. Он все еще был точно оглушен ударом, обрушившимся на него почти неожиданно. После краткой беседы с королем он вышел в буфет, выпил там довольно много, перешел в зимний сад, беспрестанно обмениваясь приветствиями и любезными словами со знакомыми. «Да, теперь конечно, уж теперь все кончено, — беспорядочно, как в лихорадке или во сне, думал он. — Это твердое ее решение, я чувствую. И в том взгляде, который она на меня бросила, была ненависть, настоящая ненависть... А если так, то зачем мне жизнь?..» Встречные люди смотрели на него с некоторым удивлением и отходили, некоторые даже отходили поспешно. Затем он еще пил, меняя столы буфета, чтобы не обращать на себя внимание лакеев. Затем он попытался сосредоточить мысли. «Что же еще может оставаться в жизни? Карьера? Партия?» И, как у Нади, ему впервые в этот вечер пришли странные мысли. Он впервые с ясностью почувствовал, что партия для него тоже «не играет никакого значенья», что он никогда не служил партии, а делал карьеру, как громадное большинство людей, даже для себя прикрывая это идеями. Теперь и это не имело больше значенья, теперь отпал и спортивный интерес его ре-

месла. «Но что же делать? Буду продолжать до конца дней...» В эту минуту ему попался Вермандуа. «К нему было какое-то дело... Ах да, директива. Что ж, исполним директиву». И оттого, что он находился в таком состоянии, он выполнил директиву более грубо, чем обычно. Он сказал Вермандуа, что Госиздат очень хотел бы издать его произведения на русском языке. Не какое-нибудь отдельное произведение, а собрание его сочинений.

— Это прекрасная мысль,— с улыбкой сказал Вермандуа, поглядывая на своего собеседника с некоторым удивлением.— Мои книги выходили в России еще при старом строе, но далеко не все. И я, к сожалению, ничего за это не получал: Россия не присоединилась к Бернской конвенции.

— Наше правительство тоже к ней не присоединилось,— отрывисто сказал Кангаров,— но мы делаем исключения для друзей Советского Союза. Мы платим в этих случаях иностранной валютой, долларами. Эти исключения делаются только для наших искренних друзей.

— Вот как? — спросил Вермандуа, немного насторожившись. Первые слова посла очень его обрадовали: может быть, это было бы наградой судьбы за провал дела с антрепренером. «И без лекций, без разъездов, без идиотских речей. Ах, как это было бы хорошо!..» После двукратного замечанья о «друзьях» он немного насторожился.

— Вы, кстати сказать, дорогой друг, могли бы теперь оказать Советскому Союзу немалую услугу,— сказал Кангаров, явно терявший «дуатэ»\*. Все дело больше его не интересовало даже в спортивном отношении. «Конечно, и это такая же продажная сволочь, как другие... Все, все они одинаковы...» Он без переходов, без дипломатической маскировки, без того «дуатэ», которое в нем не без основания хвалил Эдуард Степанович, изложил дело о телеграмме. «Да, ее решение окончательно, она уедет, она уедет,— думал он, излагая дело, почти не глядя на собеседника.— Она выйдет за курносого!.. Тут все кончено... А если так, то зачем мне жизнь?» — думал он. Вдруг, встретившись взглядом с Вермандуа, он увидел, что тот побагровел... «Кажется, я не так сказал, как нужно»,— подумал он почти без сожаления.

— Так что, вы хотите купить мои сочиненья, если я пошлю телеграмму этому... Сталину? — спросил Вермандуа. Лицо его все больше наливалось кровью. «Вот кто внес в мир то зло, которое теперь его заливают. И террор в таком масштабе, и зверства, и подкуп они, они первые внесли в нашу жизнь. Гитлер только их ученик! Это они положили конец девятнадцатому веку, моему веку!..» Он вдруг почувствовал бешенство. Ему показалось, что в его лице нанесено оскорбление всей мысли, всей французской мысли, всей человеческой мысли. Ему показалось даже, что тени Декарта, Паскаля, Монтеня, Бетховена окружают его и ждут ответа. «Я знаю, что ответить этому господину!..»

— Меня не так поняли. Я говорил о двух разных делах. Ваши сочиненья одно, а... — начал равнодушно Кангаров и не докончил фразы. Вермандуа с перекосившимся лицом тяжело встал с кресла. Он сказал только одно слово,— сло...»

На этом текст обрывается. В более раннем варианте роман заканчивался следующим образом:

«— Я хочу сказать только одно слово, которое вы, надеюсь, поймете: merde...\*\* Только этим словом и можно вам ответить,— прошипел Вермандуа, вставая. Кангаров выпучил желтые глаза. Кто-то из проходивших по гостиной людей на них оглянулся. «Да, когда все, все гибнет, единственное, что еще можно уберечь,— это свое достоинство и независимость. И этому должно быть все принесено в жертву. Бедность? Нищета? Ну и пускай бедность и нищета! Я французский писатель!» С упоением, с подъемом, которого у него не было при отделке самых лучших его страниц, Луи Этьенн Вермандуа повторял слово, еще никогда, верно, не раздававшееся в историческом дворце королей».

Когда роман был удостоен престижной в США литературной награды, Алдана буквально засыпали поздравлениями. Эмигрант из России Б. Элькин 18 февраля 1943 г. писал ему из Англии: «Успех пришел, когда кругом все черно и душа не имеет ни минуты покоя. Но этот успех пришел — и это должно, должно дать Вам удовлетворение. Это *наш* писатель, *наш* Марк Александрович премирован, отличен». Ему вторил профессор Н. Вакар из Бостона, Массачусетс (письмо от 2 февраля 1943 г.): «Позвольте крепко обнять Вас. Не имея на то никакого права, я переживаю это совершенно как мой успех. Все-таки, что ни говорите, это — НАША ВЗЯ-ЛА!» Крупный американский критик Эдмунд Уилсон в письме Алданову от 24 марта 1943 г., поздравляя его, подчеркивал: «Это, вне сомнения, один из лучших социально-политических романов, написанных в последние годы в Европе» (оригинал письма на английском языке).

\* Чувство меры (*франц. doigté*).

\*\* Дерьмо (*франц.*).

В десятках газетных и журнальных рецензий роман получил высокую оценку. Особняком стояла рецензия в коммунистической «Дейли уоркер»: здесь критика Алдановым Сталина была названа прямым пособничеством нацистской Германии. Солидаризовавшись с этим взглядом, один из членов правления Клуба книги месяца, профессор Колумбийского университета Дороти Брюстер, вышла из правления. По поводу этого инцидента другой член правления, критик Кристофер Морли, 5 марта 1943 г. направил Алданову письмо, где поддерживал политическую концепцию книги: она направлена против тоталитарной идеологии, следовательно, против гитлеризма.

Алданов хотел было принять участие в дискуссии, написал письмо в редакцию, по-видимому, «Нью-Йорк таймс», но по неизвестным причинам не отправил его.

*Находясь вследствие болезни вне Нью-Йорка, я, естественно, лишь с немалым опозданием получаю вырезки из газет, относящихся к моему роману «Пятая печать». Не разрешите ли Вы сказать мне, что меня чрезвычайно удивляет политический шум, непонятным для меня образом связавшийся с этим романом. Сюжет моего романа связан с концом европейской континентальной цивилизации, которую я любил и которая, со всеми своими недостатками, была очень блестящей. Поэтому моя книга не могла быть особенно оптимистической и полной радости жизни, хотя я и надеюсь, что на смену этой ушедшей цивилизации придет со временем, после полной победы над Гитлером и его сателлитами, другая, быть может, не менее блестящая и, как я верю, свободная и демократическая. Но никакой политической пропагандой я не занимаюсь, не занимаюсь и антисоветской пропагандой, хотя никогда не скрывал и не скрываю своих антибольшевистских убеждений. Из выведенных мною советских людей все, по-моему, выведены в привлекательном и симпатичном виде за исключением одного, да и этого последнего я постарался сделать возможно более человечески понятным. Это было признано и многими критиками.*

*Некоторые критики, к моему удивлению, для доказательства «тенденциозности» романа приводят выдержки из мыслей того или другого действующего лица «Пятой печати». Я выскажу, думаю, довольно банальную истину, если скажу, что в романе каждое действующее лицо должно говорить и думать то, что ему (а не автору) полагается: «троцкист» должен думать и говорить как «троцкист», бывший царский генерал как бывший царский генерал и т. д. Если бы я принял на себя ответственность за все то, что говорят и думают выведенные мною лица, то я оказался бы одновременно «троцкистом», роялистом, социалистом, реакционером и анархистом! Я оказался бы даже уголовным преступником, так как один персонаж моего романа (не большевик и не русский) оправдывает и совершает обыкновенное убийство с целью грабежа.*

*Если не американским, то уж, во всяком случае, русским читателям хорошо известно, что с первого же дня русско-германской войны я много раз в статьях высказывал пожелание полной победы России над ее злусным и отвратительным врагом и пожелание максимальной помощи России со стороны ее союзников. Я горячо люблю Францию и бесконечно ей благодарен (как теперь Соединенным Штатам) за оказанное мне при Третьей республике гостеприимство — и падение Смоленска, Киева, Харькова было для меня таким же тяжким ударом, как падение линии Мажино. Я выражал также надежду, что под влиянием союза с великими англосаксонскими демократиями в России может создаться более свободный и гуманный строй. Быть может, в Кремле поймут уроки истории.*

*В заключение добавлю, что я совершенно согласен с теми критиками, которые не считают мой роман a great book: great books\* чрезвычайно редки. Тем более сердечно я благодарен тем критикам, которые лестно отзывались о «Пятой печати».*

*С истинным уважением М. Алданов.*

Споры вокруг «Начала конца» — «Пятой печати» продолжались и позднее. Глеб Струве, написавший на роман сочувственную рецензию для лондонской газеты «Обсервер», сообщил Алданову 31 декабря 1945 г., что, хотя книга и переиздана в Англии, ее в Лондоне было невозможно купить: «Не исключена, конечно, возможность, что ее скупило советское посольство: это ведь своеобразный вид бойкота!» Артист Михаил Чехов в письме Алданову от 30 января 1951 г. делился своей заветной мечтой: по этому роману можно было бы поставить интереснейший фильм.

Постоянная тема переписки Алданова военных лет — «Новый журнал». Алданов стоял у его истоков. Замысел создать новое ежеквартальное издание в Америке взамен закрывшихся в Париже «Современных записок» возник у него еще до переезда в Соединенные Штаты. Сразу же после переезда он стал искать деньги на это

\* Великой книгой: великие книги (англ.).

начинание. Представляет интерес его письмо известному меценату, промышленнику и ученому русского происхождения Б. А. Бахметеву: интеллигент-бедняк обращается за помощью к компатриоту интеллигенту-богачу. Письмо исполнено достоинства, аргументация убедительна. Задумано важное для всей русской эмиграции дорогостоящее дело.

**Алданов — Б. А. Бахметеву, 16 января 1941 г.**

*В Ницце мы с Буниним решили сделать все возможное для того, чтобы создать в Нью-Йорке журнал типа «Современных записок». Я знаю, что это дело нелегкое: журнал окупаться не может, как не окупались и «Современные записки». Он может образоваться только в случае финансовой поддержки, впрочем, не очень большой. Но, думаю, дело этого стоит. Русским писателям, как оставшимся в Европе, так и переехавшим сюда, больше на русском языке печататься негде: никаких изданий и издательств в Европе больше нет. Вы знаете, что «Современные записки» сыграли некоторую роль в деле русской культуры (я это могу сказать, так как не состоял в редакции): там было напечатано немало вещей, впоследствии переведенных на все главные иностранные языки. Лучшие вещи Бунина, давшие ему Нобелевскую премию, были напечатаны там. Теперь у Бунина есть несколько новых рассказов, и он впервые в жизни не знает, что делать с написанным. Я об этом говорил с графинями Паниной и Толстой — обе они чрезвычайно сочувствуют нашему плану. Бунин написал о том же Н. И. Ростовцеву, я переслал ему это привезенное мною письмо и от себя написал. Если Вы можете помочь нам советом, будем Вам чрезвычайно благодарны. Бунин, вероятно, переедет в Соединенные Штаты, а если не переедет, то будет из Грасса все нам посылать. Писать у нас могут и должны люди самых разных взглядов (в пределах отрицательного отношения к большевикам и национал-социалистам). Мы будем проявлять еще меньше тенденциозности, чем «Современные записки». Не будет журнала — нет больше и русской зарубежной литературы. Очень Вас просим помочь делу создания журнала: Вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете, как это делается в Америке.*

Бахметев охотно согласился стать спонсором.

Некоторые предлагали журнал назвать, как и парижский, «Современными записками». Алданов возражал: тот, прежний, выпускали другие люди. «Фактический их редактор В. В. Руднев скончался, его товарищ по редакции Бунаков остался во Франции (сидит в концентрационном лагере) — при этих условиях едва ли кто-либо имел бы право возобновить этот журнал, а я уж никак этого права не имею. Речь идет о создании нового журнала сходного типа. Называться он будет иначе, вероятно, „Новый журнал“» (из письма Алданова неизвестному лицу, Николаю Николаевичу, 24 сентября 1941 г.).

Первый номер «Нового журнала» — с прозой оставшихся во Франции И. А. Бунина, М. А. Осоргина, поселившихся в США В. В. Набокова, М. А. Алданова, со статьями А. Ф. Керенского, Б. И. Николаевского, Г. П. Федотова — вышел в конце апреля 1942 г. Имя Алданова на титульном листе не значилось, по американским законам он не имел права быть издателем или редактором, поскольку не имел американского гражданства. На деле же являлся главным редактором, отвечавшим за один из двух отделов журнала, за публицистику. (За другой отдел, беллетристику, отвечал М. О. Цетлин.) Редакционный коллектив состоял из нескольких человек, и на плечи редактора ложилась громадная нагрузка. Профессору М. М. Карповичу, позднее сменившему его на этом посту, писатель сообщал 1 мая 1942 г.: «Мы платим совершенные гроши: 1 доллар за страницу беллетристики и 75 центов за страницу всего остального. В денежном отношении писать у нас для автора — личная неприятность, тогда как для меня редактирование (бесплатное, увы!) — настоящая катастрофа: оно занимает почти все мое время, и я запускаю те статьи, которыми живу». Сохранилась небезынтересная для историка ведомость расходов по первому номеру.

Типография (набор, печать, бумага...)	746 долларов
Гонорар всем авторам	352,15
Рассылка циркулярных писем с оплаченным ответом тысячам русских в США с предложением подписаться на «Новый журнал»	46,82
Рассылка подписчикам	15,59
Рекламные объявления в газете	10
Покупка картотеки подписчиков, бумаги, конвертов, подписных бланков и пр.	9,21
Перепечатка материалов, написанных от руки	12
Оплата счетов за телефон, отправка заказных писем с рукописями, корректур авторам и в типографию	42,55

Аренда помещения редакции оплачивалась спонсорами. Цена одной книжки

для подписчика была 1,5 доллара, в розничной продаже — 2. От продажи, за вычетом коммиссионных, тиража в 500 экземпляров было выручено 585 долларов, то есть примерно в два раза меньше, чем на подготовку номера истрачено. Разница была покрыта пожертвователями. Над журналом постоянно витала опасность закрытия, тем не менее он существует и по нынешний день, уже пять с половиной десятилетий. Недавно увидел свет его юбилейный 200-й номер.

Г. П. Струве предлагал в «Новом журнале» отводить место переводам с иностранных языков статей и художественных произведений, представляющих интерес для русской диаспоры, в частности, настаивал, чтобы журнал печатал Оруэлла. С ним в редакции не согласились: единственный в мире толстый журнал на русском языке за пределами Советского Союза не может позволить себе роскоши печатать иностранных авторов, у русских писателей и публицистов нет другой трибуны.

Как указывалось в написанном Алдановым редакционным объявлении, журнал был задуман в качестве свободной трибуны тех, кто желает победы России в войне, но не считает возможным умалчивать о преступлениях советской власти в прошлом и настоящем. Предполагалось, что на его страницах будут сталкиваться различные мнения, нормой станут споры по широкому кругу вопросов.

В сравнении с предвоенными «Современными записками» в «Новом журнале» было значительно больше актуального политического, военного, экономического материала — публицистики. В этом несомненная заслуга Алданова. Неустановленный его корреспондент из Шанхая, рецензируя в письме от 21 января 1946 г. первые десять книжек «Нового журнала», отмечал: «Из всех толстых журналов, издававшихся в эмиграции, «Новый журнал» является самым актуальным. Конечно, здесь не только заслуга руководителей, но и влияние эпохи и, если хотите, даже влияние эпохи на руководителей. Та встряска, которой многие из вас подверглись в Европе, переезд в Америку, новая обстановка и пр. до известной степени оживила вас самих...»

В редакционной работе проявлялись дипломатические способности Алданова и его хороший вкус. Порой приходилось поступившие в редакцию рукописи сокращать или отклонять, и переписка с авторами становилась непростым делом. В Бахметевском архиве хранится, к примеру, такое письмо П. А. Берлина из Парижа от 29 апреля 1945 г.: «Появляться перед публикой с обрубленными частями может позволить себе Венера Милосская, но не моя статья». Много терпения, такта требовала переписка с графоманами — их тоже было немало. Алданов писал 12 октября 1951 г. некоей литературной даме, Марии Эдуардовне (фамилия неизвестна), по поводу ее романтической поэмы о любви в революционные годы «Руслан и Людмила»: «Скажу Вам правду: русская трагедия 1917—1918 гг. вообще не может быть предметом поэмы такого типа. Даже пушкинская поэма того же названия все-таки носит в некоторой мере полупуштинский характер. Тут же самый сюжет не подходит для такой поэмы». Оговаривался вежливо: «Со всем тем это лишь мое мнение. Вполне возможно, что я ошибаюсь».

В 1944 г. редколлегия приняла решение бойкотировать писателей, сотрудничавших с гитлеровцами, не печатать их и не рецензировать, избежать упоминаний их имен в обзорных статьях. Это решение оставалось в силе и в первые послевоенные годы. Его не одобряли многие в русской колонии во Франции. По их мнению, прожить несколько лет в условиях оккупации без средств к существованию и никак не соприкоснуться с нацистскими властями было почти невозможно. Но любой контакт мог быть истолкован как сотрудничество.

### Алданов — Г. В. Адамовичу, 6 марта 1946 г.

*Дорогой Георгий Викторович.*

*Сердечно благодарю Вас за лестный отзыв об «Истоках». Вы отлично знаете, что Ваше мнение имеет для меня очень большое значение. Точнее, мне во всей эмиграции по-настоящему интересно мнение шести-семи человек. Но Бунин и Сирин, боюсь, мне своего искреннего мнения и не сказали бы (как я не сказал бы, каюсь, и т., если бы мне их произведение не понравилось). Вы же критик и по профессии — самый смысл ее требует искреннего суждения,— и Вы, верно, раз навсегда себе сказали, что не будете считаться с «обидами» и т. п.? А так как знатоков искусства, подобных Вам, немного, то Вы легко поймете, как Ваше суждение для меня важно. Но вот, ей-Богу, мне трудно поверить, будто Черняков у меня изображен в непривлекательном свете (Кременецкий — другое дело). Нет, я его своей жертвой не считаю.*

*Теперь дело. Мы много раз просили Вас принять участие в «Новом журнале». Просили еще тогда, когда его редактировали Цетлин и я. Михаил Осипович умер. Я умолил профессора Карповича стать главным редактором. Он согласился. Я еще ему помогаю, но все решает он. Михаил Михайлович чрезвычайно Вас почитает. Позавчера он приехал из Кембриджа в Нью-Йорк. Я сообщил ему, что Вы предлагаете нам статью. Это очень его обрадовало. Тогда я сообщил ему сюжет, который Вы предлагаете: «Дом Мережковских». У Михаила Михайловича вытянулось*

лицо: Вы выбрали, кажется, **единственный неприемлемый сюжет!** Не знаю, попался ли Вам мой некролог Мережковского в одной из первых книг «Нового журнала». Я написал о нем как о большом человеке и писателе. Бунин и Сирин были **этим** недовольны по линии чисто литературной — это ничего. Но на меня ополчился весь Нью-Йорк по линии политической. Когда я писал этот некролог, мне (и никому другому) здесь не была известна политическая позиция Мережковских при Гитлере. И она всем стала известна вскоре **после того**, как эта книга журнала вышла. Мое мнение о ней (прогитлеровской их позиции) Вам известно — и, вероятно, не очень отличается от Вашего. Однако я человек терпимый и, хотя с большим напряжением, мог бы отделить политику от литературы — по крайней мере в известных пределах. Но, во-первых, согласитесь, «известные пределы» тут были перейдены. А во-вторых, не все так терпимы или так равнодушны, как я стал на старости лет. Появление хвалебной статьи о Мережковском и Гиппиус теперь здесь вызвало бы скандал — какие оговорки Вы ни сделали бы. Ее большой ум и талант всем известны. Тем не менее **эта** тема для «Нового журнала» не подходит. Карпович умоляет Вас дать что-либо другое. Я к этому присоединяюсь. **Говорю все это Вам конфиденциально.**

Не совсем понял Ваши слова о «конце литературы» в Париже. Надо ли понимать: **русской** эмигрантской литературы? Почему бы кончиться литературе французской? К ней пополнение может поступать правильно, как во времена органические. Следите ли Вы за литературой американской? Хемингуэй, Стейнбек и, по-моему, особенно Маркенд — писатели огромного таланта.

Пишете ли Вы что-либо большое? Грех Вам — если не пишете. Говорю это — не в первый раз — совершенно искренне.

Татьяна Марковна очень Вам кланяется — она тоже большая Ваша почитательница. Недавно говорила мне, читая американский литературный журнал: «А все-таки Адамовича у них нет». Это верно. Хотя есть прекрасные критики (Эдмунд Уилсон, например).

**Адамович — Алданову, 5 апреля 1946 г.**

О Мережковском я ничуть не собираюсь писать хвалебно, нет — скорее с удивлением, чем с восхищением. Увы, никак не могу согласиться, что он был «большой человек» (или писатель).

Но был человек удивительно странный.<...>

**Алданов — Адамовичу, 16 апреля 1946 г.**

Вы, как и Бунин и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с **Вами** это у меня больше спор о словах. Может быть, «большой» — слишком сильное слово («великих» писателей, по-моему, после Толстого и Пруста в мире вообще не было и нет, да и насчет Пруста еще «можно спорить»), но «Толстой и Достоевский» — вещь замечательная, и в самом Мережковском (как Вы, впрочем, признаете) были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал Горький. Как самоучка и самоучка, немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с **Вами** мы едва ли тут очень расходимся.

В первом письме после вызванного оккупацией четырехлетнего перерыва в переписке Б. К. Зайцев рассказывает Алданову, какие беды и невзгоды выпали на его долю; он находил нравственную опору в литературном труде, хотя не напечатал за эти годы ни строчки.

**Б. К. Зайцев — Алданову, 21 ноября 1944 г.**

3 апреля 1943 г. все стекла квартиры моей вылетели, комнаты были покрыты слоем мусора, щебня, битого стекла, все перебуровлено, точно враг побывал. Да, но при второй бомбардировке (15 сентября 43) Вера<sup>1</sup> сидела в подвале дома 122 В<sup>д</sup> Мират, рядом полыхал через улицу завод Рено (reit Renault), а мы с Наташей<sup>2</sup> (я у ней обедал на rue St. Dominique) из окна видели облака дыма над Булонью, и, зная, что Вера там, — можете себе представить, как себя чувствовали! С первым метром кинулись на rue Thiers. У подьезда нас ждала уже Вера. Был вечер, все красное от пожара. Увидав бегущую к ней Наташу (и за нею меня), Вера упала в обморок.

<...> Я давно вставил стекла, берегу кусок шпингалета, вылетевшего из окна и угодившего бы мне в лоб, если бы, завтракая, как обычно, я сидел в стороне на своем месте; все вычищено, выметено, книги мои целы, значит, надо еще Бога благодарить.

Я Его и благодарю постоянно. Подумайте, за 4 года, нигде не напечатав ни

*строки, я все же прожил: бедно, но за горло нужда не хватала, занимался же обычным своим делом. Кончил этой осенью 3-й (и последний) том «Глеба». Вел записи дневниковые, написал «Царя Давида», одну зиму посвятил окончательной обработке «Ада» Данте — это моя давняя работа, начата 30 лет назад. Слово за слово вновь сличил с текстом, много внес поправок (атомистических, для читателя и незаметных, но для меня важных). Все это было для меня тем же évásiôn\*, без которого трудно было бы жить. Теперь для меня таким évásiôn является увлечение Жуковским. Читаю, читаю, читаю. Собираюсь написать о нем книгу — типа «Тургенева».*

<sup>1</sup> Жена Б. К. Зайцева.

<sup>2</sup> Его дочь.

Одно из следующих писем Алданову связано с темой выступлений в оккупационной печати И. С. Шмелева. Зайцев находит для него оправдания.

### Зайцев — Алданову, 27 апреля 1945 г.

*Зашел ко мне Иван Сергеевич, как раз когда я писал начало этого письма. Ему 72 года! Но пишет он много, яростно, как бы проверяя 89-й Псалом («молитва Моисея»). Вы понимаете, что положение его сейчас нелегкое, — как раз это и располагает к нему более обычного (сам он давнее мое согбёе\*\*). Так вот он и просит Вас передать следующее («Практических целей не имею, но Марка Александровича уважа-ю и не же-ла-ю, чтобы он неправильно обо мне думал!!!»). «Печатал в «Парижском вестнике» и «Новом слове» свои произведения, возносящие Великую Россию, всегда имея ее перед глазами». Из пяти напечатанных фельетонов четыре были перепечатками прежних его вещей, в том числе отрывок из «Солнца мертвых». Все это, чем далее шло, тем более расходилось с пропагандными заданиями немцев и привело к тому, что последнюю его вещь просто зачеркнули. «В полтора года пять фельетонов не могли меня ни прокормить, ни заинтересовать материально», — интересовало его другое: он рассчитывал, что его голос, говорящий о России, дойдет до русских — ведь тогда чуть ли не половина России (европейской) была занята немцами. Печатающая все это, он полагал, что возвеличивает Россию, внушает к ней любовь и поклонение. Путь его оказался неправильным, этого он не отрицает, но намерения низкими никогда не были.*

*Теперь я, от себя: его можно любить или не любить — это необязательно, но для тех, кто пытается шельмовать его бесчестным, обязательно доказать, что это была не ошибка, а продажа и выгода. Этого доказать нельзя по причине неправды.*

<sup>1</sup> Русскоязычные газеты в оккупированной немцами Франции и в гитлеровской Германии.

У Алданова на эту проблему был другой взгляд. Дважды в письмах родственникам жены, Полонским, во Францию он в энергичных выражениях заявлял: «Ни с кем из сотрудничавших <...>, наживавшихся и т. д. никогда отношений поддерживать не буду — именно из уважения к памяти замученных немцами людей» (12 июля 1945 г.); «Я принял твердое решение порвать всякие отношения с людьми, сочувствовавшими немцам, активными и неактивными, идейными и продажными» (15 июля 1945 г.).

### Алданов — Адамовичу, 1 октября 1945 г.

*Я давно пишу в Париж, что пора бы Вам устроить суд чести из беспристрастных, спокойных и справедливых людей, который, хотя бы и без «приговоров» или решений, просто установил бы фактическую сторону дела в каждом отдельном случае (ведь таких случаев и вообще немало) <...>*

*Вы пишете: «Надо бы устроить торжественное чаепитие и в слезах и лобзаниях забыть общие грехи». Вероятно, этим дело и кончится. В Париже, быть может, это произойдет очень скоро. Нью-йоркцы год-другой подождут. Покойный Илья Исидорович<sup>1</sup>, наверно, на это всех благословил бы. Но он — с христианской точки зрения, я хочу сказать, с евангельской. А Вы с какой? <...> Мне один старик — публицист пишет о другом старике — писателе, будто он печатно вы-*

\* Здесь: побег от действительности (франц.).

\*\* Здесь: пристрастие (франц.).

ражал сожаление, что такой прекрасный памятник искусства, как Нотр-Дам, выстроен «в честь одной жидовочки». Это так хорошо, что даже и неправдоподобно. У меня со старым писателем были довольно добрые, хотя и отдаленные отношения. Звать ли и его на торжественное чаепитие? Со всем тем повторяю, оно наверно будет, и я против неизбежного не возражаю. Я только думаю, что не мешало бы немного повременить. И еще думаю, что для избегания тяжких несправедливостей (люди много перенесли, раздражены и не всегда беспристрастны) **необходим** суд чести из спокойных беспристрастных людей.

<sup>1</sup> И. И. Фондаминский (Бунаков), один из редакторов парижского журнала «Современные записки»; погиб в немецком концлагере.

Сразу же по окончании войны поэт Георгий Иванов обратился в нью-йоркский Литературный фонд с просьбой выслать ему продовольственные посылки: его жена И. В. Одоевцева и он страдают от недоедания. Фонд отказал, поскольку в период оккупации Франции Иванов был членом профашистского русского Союза писателей («сургучевского»). Уведомление об отказе было подписано Алдановым и Зензиновым.

Материальное положение Ивановых оставалось бедственным. 6 февраля 1948 г. Иванов вновь обратился к Алданову с просьбой о заступничестве. Ответное письмо Алданова, продолжавшего твердо стоять на позиции «никакой помощи коллаборационистам», — волнующий пример тактичной откровенности.

#### Алданов — Г. В. Иванову, 9 февраля 1948 г.

*Многоуважаемый Георгий Владимирович.*

*Получил сегодня Ваше письмо от 6-го. Разрешите ответить Вам с полной откровенностью.*

*Вам отлично известно, что я Вас (как и никого другого) ни в чем не «изобличал» и не обвинял. Наши прежние дружественные отношения стали невозможны по причинам от меня не зависящим. Насколько мне известно, никто Вас не обвинял в том, что Вы «служили» у немцев, «доносили» им или печатались в их изданиях. Опять-таки, насколько мне известно, говорили только, что Вы числились в Сургучевском союзе. Вполне возможно, что это неправда. Но Вы сами мне пишете: «Конечно, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, затем разочарований, тех, что не только в эмиграции, но еще больше в России, разделяли многие, очень многие». Как же между Вами и мной могли бы остаться или возобновиться прежние дружественные отношения? У Вас немцы замучили «только» некоторых друзей. У меня они замучили ближайших родных. Отлично знаю, что Ваши надежды, а потом разочарования разделяли очень многие. Могу только сказать, что у меня не осталось добрых отношений с теми из этих многих, с кем такие отношения у меня были. Я остался (еще больше, чем прежде) в дружбе с Буниным, с Адамовичем (называю только их), так как у них никогда не было и следов этих надежд. Не думаю, следовательно, чтобы Вы имели право на меня пенять. Мне говорили из разных источников, совершенно между собой не связанных и тем не менее повторявших это в тождественных выражениях, что Вы весьма пренебрежительно отзывались обо мне как о писателе. Поверьте, это никак не могло бы повлечь за собой прекращения наших добрых отношений. Я Вас высоко ставлю как поэта, но Вы имеете полное право меня как писателя ни в грош не ставить, тем более что Вы этого не печатали и что Вы вообще мало кого в литературе цените и признаете. <...>*

*Прекращение наших дружественных отношений не мешает мне быть готовым к тем услугам Вам, которые я оказать могу. Не так давно в Париже Вы мне написали, что хотели бы моей помощи в получении посылки Фонда. Как Вам известно, я тотчас послал пневматик Недошивиной и сообщил об этом Вам. Через шесть недель я буду в Нью-Йорке и лично поддержу ходатайство о помощи Вам в Фонде. <...>*

*Теперь книга Ирины Владимировны<sup>1</sup>. Я как раз на днях говорил и Бунину, и Даманской, что мой издатель Скрибнер не принял двух книг очень известных лиц (я назвал их Бунину), которых я ему рекомендовал, и даже был не слишком любезен, и у меня с ним теперь холодок. Из других американских издателей я еще знаю Кнопфа, который прежде издавал меня (и Бунину). Он не очень любит русских эмигрантов вообще. Поверьте моему опыту: рекомендация моя не может сама по себе иметь значения. Нет такого писателя, который не мог бы получить рекомендации от другого писателя, и американские издатели прекрасно это знают и на такие рекомендации не обращают внимания. Если рукопись не известного им автора представляется им по-английски, они читают ее сами со своими «эдиторами» (редакторами). Если она сдается им по-французски или по-немецки, то они ее дают для чтения «ридерам», которые получают от них жалованье и обязаны*

высказывать обоснованное суждение. Русские же «ридеры» есть только у некоторых издателей, как Харперс и Макмиллан. Другие почти всегда требуют от русских авторов представления рукописи (или хоть части ее) в переводе. <...> Советую И. Вл. через агента послать французский перевод в Америку и непременно приложить лестные английские рецензии о прежних ее книгах. Она может, конечно, сослаться и на меня: если тот или другой издатель ко мне обратится, я искренне скажу то, что думаю о ее таланте. Но именно поэтому я не могу читать ее рукопись. По двум причинам: 1) Вполне возможно ведь, что именно **этот** роман мне не так понравится или понравится, но покажется не обещающим успеха в С. Штатах. Между тем если я его не прочту, то добросовестно скажу свое мнение об ее прежних вещах; 2) Гораздо меньше ответственность, если говоришь о писателе вообще, а не о предлагаемой книге: книга всегда может не иметь успеха, даже превосходящая, — издатель же тогда не может обвинять того, кто дал рекомендацию.

Мне тяжело слышать, что Вы находитесь в таком трудном материальном положении. Я слышал, что И. Вл. имеет немалый успех в кинематографе. Думаю, что от парижских кинематографических деятелей, хорошо ее знающих и ценящих, много легче получить аванс, чем от американских издателей, которые по общему правилу не только аванс, но и ответ дают очень не скоро. Знаю по себе.

Преданный Вам М. Алданов

<sup>1</sup> Одоевцевой.

В начале 1950 г. в Париже проводился творческий вечер Георгия Иванова и был организован сбор средств в его пользу. Обратились к Алданову. Он не отказал, но поставил такое условие: его фамилия не должна быть названа в списке жертвователей.

Вскоре в парижском журнале «Возрождение» появилась отрицательная рецензия Георгия Иванова на роман Алданова «Истоки». Главными недостатками романа объявлялись симпатия автора к революционерам-народовольцам и изображение Александра II как «пустого малого». На этом основании Алданову даже было предьявлено обвинение в русофобии.

В русском зарубежье пользовался известностью роман монархического писателя П. Н. Краснова о 1 марта 1881 г. «Цареубийцы». Как в старинном романе, в нем персонажи разделены на злодеев и ангелов, царская власть дана в розовом свете, революционеры нарисованы густой черной краской. Замысел Алданова состоял в том, чтобы утвердить иной взгляд: в 1881 г. Россия имела последний шанс избежать революционного пути, достичь общественного согласия. В «Истоках» каждая из противоборствующих сторон наделена своей правотой, все желают России блага, но понимают его совершенно по-разному и не умеют, не хотят найти общего языка.

#### Алданов — В. А. Маклакову, 9 августа 1950 г.

Обвиняют в чем-то вроде русофобии, в желании опорочить русское прошлое, в частности, Александра II и его эпоху! «Истоки» до русского издания вышли на нескольких иностранных языках, и я не раз в иностранной критике встречал обратный упрек: упрек в том, что я идеализировал Александра II и вообще все русское изобразил в гораздо более благоприятном свете, чем Запад, чем Вазнера, Маркса, Третью республику. Упрекам в «русофобии» подвергались Бунин и, кажется, Ключевский, чтобы не восходить к Гоголю. Мне очень далеко и до Бунина, и до Ключевского, и тем более до Гоголя. Тем не менее упрек этот мною заслужен не больше или скорее еще меньше, чем ими: в «Истоках» вообще нет ни одного русского «отрицательного образа». Александра II я изобразил и с уважением, и с большой симпатией, и вовсе не как «доброе и пустое малое»!

<...> Конечно, его (Георгия Иванова.— А. Ч.) рецензия была исключительно продиктована желанием сделать мне неприятность (он ее, не скрываю, и сделал). Чем это желание объясняется — не знаю: он от меня ничего, кроме доброго, никогда не видел. Но он такой человек.

Однако с годами в отношениях двух писателей наметился сдвиг к лучшему. В 1953 г., когда вышла книга философских диалогов Алданова «Ульмская ночь», Иванов направил ему прямо-таки восторженное письмо.

#### Иванов — Алданову, б/д.

Об одном Вам можно сказать с полной уверенностью — что, если русская литература будет жить, то учиться будет больше всего у Вас. Разному учиться — от размаха повествования до совершенства построения и языка, до умения поднаться — и удержаться — на той высоте человечности, которая так блистательно дана в «Ульмской ночи».

Несмотря на натянутые отношения с Ивановым, Алданов хранил в своем архиве автограф его стихотворения «Друг друга отражают зеркала...» с такой характерной припиской поэта: «Только что написано и — увы — шедевр русской поэзии. А толку что?»

Порою переписка становилась для Алданова своеобразным полигоном: в ней уточнялись концепции, оттачивались аргументы, а на последнем этапе они становились частью художественной прозы. Показательно письмо Алданова В. А. Маклакову от 27 марта 1950 г. Маклаков, знаменитый предоктябрьский адвокат, в 1917 г. посол России во Франции, а позднее эмигрант, публицист и мемуарист, в трудный свой час на старости лет написал Алданову, что прожил жизнь впустую, его дела и книги скоро позабудут. В ответе Алданов не только отыскивает единственные убедительные слова утешения — он рассуждает о бессмертии как философской проблеме, высказывает мысли, которые впоследствии положит в основу своей «Повести о смерти».

#### Алданов — Маклакову, 27 марта 1950 г.

*Ваша жизнь, Вы пишете, прожита даром! Я готов убрать этот восклицательный знак, если считать, что всякая человеческая жизнь живет даром и что никто после себя ничего не оставляет. В таком взгляде, конечно, была бы немалая доля правды. Книги, или картины, или ученые труды человека живут много пятьдесят лет, музыка немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему — как что-то, а не как звук — и тех и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в громадном большинстве случаев «бессмертны» мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает ни Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться (Екклесиаст и «Война и мир» не в счет). Помнят имя. И если чего-нибудь стоит такая формальная память, то Вам этот вид памяти обеспечен как знаменитейшему русскому оратору периода, который, верно, будут помнить долго. Историки, даже самые враждебные, должны будут в своих трудах к Вам возвращаться постоянно.*

*<...> Лучшее из всего, что о смерти написано, да и самое утешительное, написано, по-моему, Шопенгауэром<sup>1</sup>. Если что может утешить, то именно это. Давно ли Вы читали? Та «радость», которую будто бы почувствовал в последнюю минуту Иван Ильич<sup>2</sup>, не очень успокаивает после предшествующих страниц этой повести, может быть, самой страшной в мировой литературе. А вот помните ли Вы страницу, в которой Жуковский описывает лицо мертвого Пушкина<sup>3</sup>? (Если только Жуковский по своей обычной слащавости не приврал.)*

<sup>1</sup> Алданов имеет в виду главу «О смерти» из книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Он приводит из нее пространную цитату в части пятой, главе II «Повести о смерти».

<sup>2</sup> Речь идет о повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

<sup>3</sup> В альбом, который ему подарил Пушкин, Жуковский после его смерти вписал свое стихотворение «Он лежал без движения...», описывающее лицо мертвого поэта.

Перед тем, как начать «Повесть о смерти», Алданов обратился к двум своим друзьям-эмигрантам, замечательным русским актерам Михаилу Чехову и Акиму Тамирову с предложением, что напишет для них сценарий по «Отцу Горио» Бальзака. Оба ответили, что знают бальзаковский «этюд о нравах» лишь по названию, а содержания его не помнят. И тогда в «Повести о смерти» Алданов, избравшись позднего Бальзака на излете творческих возможностей, написал Маклакову, что судьба книг одинакова: даже лучшие живут «много пятьдесят лет».

Набоков закончил «Лолиту» словами о бессмертии в искусстве, единственном бессмертии, на которое остается надеяться. Алданов рассуждал иначе: в искусстве ждет только «мертвое бессмертие». Он предпочитал живое, хотя и «временное бессмертие» (выражение из «Повести о смерти»): бессмертие в памяти друзей, близких, детей, учеников. Будучи трезвым реалистом, не надеялся, что доживет до возвращения своих книг на родину. Твердо верил, что возвращение непременно произойдет, но опасался, что произойдет оно слишком поздно, когда книги уже устареют. В годы холодной войны на Западе интерес к русскому искусству упал, переписка Алданова была исполнена горьких сетований: то идут упорные слухи о закрытии «Нового журнала», то вот-вот закроется Издательство имени Чехова. Уменьшилось количество переводов русских авторов на иностранные языки. В библиографическом справочнике «Алданов» сообщается, будто «Повесть о смерти» вышла в переводе на английский. На деле издание в последнюю минуту сорвалось, хотя в газетах уже появился анонс. 29 мая 1948 г. Алданов сообщал художнику С. А. Мако о том, как идут дела у торговца русской живописью в Нью-Йорке Л. Камышникова: «Он пред-

лагает по 200 долларов картины Добужинского, Сомова, Левитана, Коровина, Судейкина (которые, значит, он купил еще много дешевле) — и очень редко находит покупателя... Рисунки Репина не идут». 10 сентября 1950 г. он жалуется в письме Н. А. Тэффи, что не пользуются спросом и английские переводы его книг: «Мне пишут, что это объясняется крайней нелюбовью нынешних американцев ко всему русскому. Алданов? Антибольшевик? Все-таки черт с ним, пусть покупает кто-либо другой. Я на днях прочел, что в каком-то американском городке публика не позволила исполнять старые русские песни...» Оставалось только вспоминать крылатую фразу фельетониста начала XX века А. А. Яблоновского: возможно, придется «бросить литературу и заняться честным трудом».

Подумывал даже вернуться к исследовательской работе в области химии (он начинал в предреволюционные годы как химик), но ему уже было за шестьдесят, не самый подходящий возраст для переквалификации. «Проклятая наша «профессия»! У наших классиков хоть были имена, да и то я не понимаю, что они делали, когда не писали?» (из письма Б. К. Зайцеву от 9 сентября 1952 г.).

#### Алданов — Н. А. Тэффи, 24 августа 1949 г.

*Мы здесь уже много лет занимаемся тем, что Герцен назвал «самочитательным печатаньем». Я всегда думал, что люди сделали профессию из того, что никогда профессией быть не должно: из искусства. Однако не мы ведь это выдумали. Разве только Гомер не получал ни построчной платы, ни авторских процентов, а с тех пор, верно, все так или иначе получали. В сущности, в русской классической литературе не были профессионалами только Лермонтов и Толстой. Это к тому, что можно и не писать, если не пишется, но лишь не очень долго.*

Тем временем и вести с родины шли удручающие: то Жданов «разоблачал» Ахматову и Зощенко, то начиналась кампания преследований литераторов — «безродных космополитов», то провозглашались шедеврами, получали высшие государственные награды беспомощные творения Вирты, Бабаевского. Писатели алдановского круга в частной переписке отзывались уничижительно о подобных шедеврах, хотя за такими писателями, как Каверин, Паустовский, Панова, признавали художественные достоинства.

#### Алданов — Адамовичу, 2 июня 1956 г.

*Вы недовольны стихами «Русской мысли»<sup>1</sup>. Поэтому привожу стихи Юрия Каменецкого, напечатанные на самом видном месте совсем недавно в «Советской культуре» (привожу только начало):*

*Ленин — это весны цветенье,  
Ленин — это победы клещ,  
Славься в веках, Ленин,  
Наш дорогой Ильич!*

*и т. д. Стихи имеют огромный успех и уже положены на музыку каким-то советским композитором. Ловкие люди, что и говорить.*

<sup>1</sup> Парижский русскоязычный еженедельник.

Когда в начале 1955 года в Москве открылся Второй съезд советских писателей, Б. К. Зайцев напечатал в «Русской мысли» свое приветствие съезду. Сразу же в «Правде» появилась резкая заметка А. А. Суркова: как смеют белоэмигрантские бандиты вмешиваться в советские литературные дела? В письме Алданову Зайцев в несколько комической форме рассказывает об этом эпизоде.

#### Зайцев — Алданову, 22 января 1955 г.

*Сурков ответил в «Правде», что вот я был вытасчен из «ящика с литературным мусором» и «прошамкал слова ядовитой беспомощной злобы». А я пожелал тамошним писателям большей свободы, и только, в самом мирном тоне. Я ответил ему (по просьбе «Освобождения»<sup>1</sup>): «Благодарю вас, Сурков, за ваш ответ. Я прочел его с большим удовольствием. Он доказывает, что мои слова о писательской свободе задела вас» и т. д.— тоже в спокойном тоне, но не думаю, чтобы для него приятном.*

<sup>1</sup> Так на своем раннем этапе называлась радиостанция «Свобода».

В оценках текущей литературной жизни эмиграции Алданов и его корреспонденты порой расходились. Особенно горячо спорили о Бунине. Многие, в том числе

недавние его близкие друзья, называли последние годы Бунина сумерками таланта. Зайцев отказывал ему в праве именоваться русским классиком, Адамович писал о нем с иронией. Алданов был чуть ли не единственным, кто оставался Бунину верен до самого конца.

### Зайцев — Алданову, 28 августа 1954 г.

*Кстати: с формальной стороны Бунин можно отнести к меньшим классикам. Но с внутренней, по душевному содержанию, он вовсе вне нашей классической литературы (kalòs kai ratòs' как раз нет — хотя у меня слово черт знает как написано, забыл гимназическую премудрость). Вот Вам неожиданность: степной воровский Бунин ближе к французскому натурализму прошлого века, чем к главному руслу русской литературы. Его называют иногда классиком, и это неверно. Ошибка же в русском языке у него меньше, чем у кого-либо.*

<sup>1</sup> Выражение Kaloskagathos, впервые встречающееся у Платона, означающее Красота-Добро, использовал Алданов в философской книге «Ульмская ночь» (1953). Он утверждал, что идея Красоты-Добра — определяющая идея русской классической литературы XIX века.

### Адамович — Алданову, 22 декабря 1952 г.

*Вчера был у Буниных. Иван Алексеевич — лучше, чем был осенью, и при мне сделал надпись на портрете Горького в какой-то книге: «Полотер, вор, убийца». Так что все в порядке. Сейчас его главный враг — Зин. Гиппиус, не знаю почему. Вы знаете, что я его очень люблю и чувствителен к его «шарму» и многому другому в нем. Но жаль все-таки, что к старости у него ничего лафайетско-дюмлеровского<sup>1</sup> не осталось или, вернее, не появилось.*

<sup>1</sup> Маркиз Лафайет — герой войны за независимость США и вымышленный персонаж Николай Дюмлер действуют в романе Алданова «Живи как хочешь» (1952). С точки зрения Адамовича, этих двух пожилых людей объединяет «какой-то «дон-кихотизм» высокого порядка».

### Алданов — Адамовичу, 4 января 1953 г.

*Искренно Вас благодарю за письмо. Помимо всего прочего, Вы несколько успокоили меня насчет Ивана Алексеевича. У меня в последнее время нервная тревожность увеличилась. Всякий раз, когда от него долго писем нет, я начинаю беспокоиться.<...> Вы совершенно правы: ему дюмлеровское начало чуждо, но это тоже особенность его очарования.*

*Лафайета считал недалеким человеком Наполеон. Не думаю, чтобы он был прав, да он и всех «идеалистов» презирал, как всех «идеологов», Мы с Вами, кроме того, сходимся в признании полной неопределенности понятия «ум».<...>*

*У меня такое впечатление, что Бунины почти «заброшены», что к ним почти никто не ходит. Быть может, я тут ошибаюсь? Было ли у них хоть какое-нибудь подобие Нового Года? У нас ничего не было, но нам это не тяжело.<...> Я уверен, что Вы до отъезда еще побываете у Ивана Алексеевича.*

В изгнании возрастала тяга к выдержавшим испытание временем национальным ценностям. Русских писателей XIX века постоянно перечитывали, обсуждали их произведения в письмах. Эмигрантов объединяло трепетное отношение к Пушкину. Собираение материалов о Жуковском оказалось для Б. К. Зайцева моральной опорой в годы войны. Алданов постоянно перечитывает Гоголя и возвращается к гоголевской теме в переписке.

### Зайцев — Алданову, 11 мая 1945 г.

*Мне все это очень нравится — мир Жуковского, его окружение, все Протасовы, Киреевские и т. д. — высокая и тонкая культура и так далеко от хамства, нас со всех сторон окружающего! Нет, это мои друзья. От них не пахнет ни махоркой, ни самогоном.*

В письме Г. В. Адамовичу от 15 июля 1947 г. Алданов рассуждает об одном из персонажей позднего Гоголя, откупщике Муразове из второго тома «Мертвых душ», который честным, праведным путем нажил огромное богатство. Алданов считал этот образ схематичным, а неудачу писателя закономерной. Здесь он сходил с советским литературоведением. Но рядом с Муразовым он ставил Рахметова из «Что делать?» Чернышевского. Оба они, по его мнению, исключения в русской

классической литературе: ни литературные герои, ни их создатели, как правило, не были людьми крайних взглядов:

*«Пушкин, Гоголь, Тургенев, Тютчев, Гончаров, Герцен (даже он!), Писемский, Салтыков, Островский, Чехов были либо либералы разных оттенков, либо консерваторы.<...> «Крайние» персонажи в русской литературе — это Рахметов и, пожалуй, боголюбивый откупщик Муразов, но им во всех отношениях гроши цена. Таково же, по-моему, общее правило и в других областях русской культуры от Ломоносова и обычно забываемого Сперанского до Михайловского, Вл. Соловьева и Милюкова. Бури же и бездонности больше всего любил горьковский буревестник (да еще Иванов-Разумник)».*

**Алданов — Н. А. Тэффи, 28 января 1952 г.**

*Помнится, я Вам приводил слова Л. Толстого о Гоголе: «Громадный талант, прекрасное сердце, слабый, незначительный ум».<...> Теперь принято чрезвычайно восхищаться «Перепиской». По-моему, книга очень скверная, именно такая, какой ее считали в прошлом столетии. И уж тут трудно понять, почему Толстой, вопреки общему или почти общему мнению своих современников, эту книгу высоко ставил.*

**Алданов — Тэффи, 21 марта 1952 г.**

*По-моему, лучшие всего «Мертвые души» и «Старосветские помещики», а хуже всего «Тарас Бульба», где почти все фальшиво и даже не очень талантливо. У меня в «Истоках» Мамонтов говорит, что хохол Гоголь неизмеримо лучше писал великороссов, чем хохлов: Ноздрев — верш художественного совершенства, Коробочка тоже (и оба, назло Белому, Мережковскому и другим, без метафизики и даже без малейшего шаржа). А Тарасы, Остапы, Андрии не слишком ценны ни в «реальном» смысле, ни в «метафизическом» а ля Мережковский. Вы скажете, что старосветские помещики тоже хохлы. Только по месту жительства; а то в них ничего хохлацкого нет, они могли быть и костромскими помещиками. И еще скажу, что в «Мертвых душах» все «положительные герои» противны, но все «отрицательные», по-моему, на редкость милы и уютны, хоть и взяточники. Да я с наслаждением пожил бы в их обществе! И сам Гоголь их любил, хоть и «обличал». Писатель же он был, конечно, несравненный.*

Каждый находил у классиков созвучное собственным мыслям, собственному творчеству. Алданов и Зайцев не сходились во взглядах на Тургенева и Толстого. Алданов еще в 30-е годы иронично называл прозу Тургенева литературным шоколадом, а Толстого считал полубогом. Для Зайцева Толстой менее значителен, он отлученный от церкви вольнодумец, Тургенев же ценен как непревзойденный знаток языка. Не сходясь в оценках, два писателя-эмигранта умели понимать и уважать логику своего оппонента.

Очень интересна переписка Зайцева с Алдановым по поводу полузабытых выражений у Тургенева (август — сентябрь 1952 г.): многолетнее изгнание не сказало у них на изумительном владении русским языком.

**Зайцев — Алданову, 5 августа 1952 г.**

*(Сообщает о своей работе над статьей к столетнему юбилею тургеневских «Записок охотника».) Есть забавные мелочи. «Сюртук цвета аделаида». «Тесный галстук из конского волоса» (?). «Боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя». А знаете ли Вы, что такое «замашная рубашка»? (Я знаю, потому что вырос в деревне, родился в Орле и ребенком жил в Жиздринском уезде, где Тургенев стрелял тетеревов\* и где жили Хорь и Калиныч.)*

*Тургенев писал еще: «полтораста пуд» и т. п. — а в общем знаток языка был замечательный, и самый «поток» его языка был вполне вольный, чего нельзя сказать о его друге Флобере.*

**Алданов — Зайцеву, 8 августа 1952 г.**

*Постараюсь достать «Русскую мысль» с Вашей статьей о «Записках охотника». Я у Тургенева чрезвычайно люблю только один роман «Отцы и дети» (вещь во всех отношениях замечательную — все люди живые, что у него редко). Даже «Дворянское гнездо» много хуже, а о «Дыме», «Накануне», «Нови» и говорить нечего. Из маленьких же его вещей, по-моему, настоящие шедевры «Старые*

\* а не тетеревей, как у него сказано. Думаю, тогда так говорили. (Прим. Б. К. Зайцева.)

● «Приблизиться к русскому идеалу искусства...»

портреты» и «Поездка в Полесье». «Цвет аделаиды» (сине-голубой) мне попался и у других писателей того времени, как и «пуд» вместо «пудов». Слово «замашный» (посконный) я тоже знал. Галстухов из конского волоса не представляю себе и я, но, вероятно, такие были. «Тетеревей», по-моему, ужасно. Что же касается его манеры писать, то, во всяком случае, были в ней «провалы» и безвкусица удивительные. Уж на что, повторю, превосходный роман «Отцы и дети», но и в них есть такие строки: «Кровь ее (Одинцовой) по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно-стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле. Душа ее наполняется внезапной смелости, закипит благородным стремлением» (не поленился отыскать и выписать). У меня есть полное его собрание, и за 5 лет в Ницце я снова все или почти все прочел. Разумеется, писатель был замечательный, что и говорить. Но как же его сравнивать с Толстым или даже с Флобером? Мы наверное в этом согласны.

Алданов — Зайцеву, 9 сентября 1952 г.

Кстати, по поводу «тетеревей» Тургенева. Я случайно нашел в переписке Рулянцева-Задунайского постоянно употреблявшееся им слово «поварей»!

В переписке с редакторами Алданов тоже затрагивает вопросы русского языка. Он столь же уважителен, как и с собратьями-писателями, но с редакторской правкой почти никогда не соглашается. Каждое слово, каждый оборот речи в его рукописи взяты им не случайно, он несет за них полную ответственность, доказывает право автора на личные особенности орфографии. Представляют интерес и его соображения, касающиеся иноязычных вкраплений в русский текст.

Алданов — Т. Г. Терентьевой<sup>1</sup>, 11 августа 1952 г.\*

(По поводу романа «Живи как хочешь».) По просьбе издательства я давно послал ему русский перевод всех цитат (кроме одной, непереводаемой), перевести которые оно меня просило. Мой перевод и набран. Между тем в полученных мною гранках набраны звездочки еще в большом числе мест, рядом либо со всем известными иностранными словами, либо со словами непереводаемыми. Согласитесь, что нельзя под названием отеля «Noailles» (гранка 9) приводить в сноске «перевод», то есть «Ноай», или там же под «Menu à 175 francs» писать «Меню 175 франков»! Невозможно и переводить слово «Résistance». Я «против совести» тут теперь сделал сноску: «Так называлась борьба с немцами в пору оккупации» (гранка 12), но она совершенно бесполезна и даже неприятна. Или слово «distingüe». Это французское слово непереводаемо, и если б я знал, как его перевести, то не вставил бы его в русскую речь. В любом нашем дореволюционном издании (у меня есть дореволюционные издания Тургенева, Достоевского и др.) не только не переводятся такие слова, но не переводятся даже и небольшие французские фразы. Допустим (хотя для этого нет оснований), что теперь читатель по уровню «ниже» дореволюционного. Но я все-таки не могу переводить для него слова вроде «distingüe» или, скажем, спортивные и технические термины вроде «Flush», «Royal Flush» в по-кере. <...>

Не скрою, у меня есть и личные особенности орфографии, обычно взятые из старых книг. Я, например, всегда пишу «еслиб» в одном слове. Пишу «отвращение от» (чего-либо), а не «отвращение к» (чему-либо). По-моему, «отвращение к» бессмысленно, хотя все теперь так пишут. До середины прошлого века всегда писали «отвращение от». Так беспорно и правильно.

<sup>1</sup> Татьяна Георгиевна Терентьева — редактор нью-йоркского Издательства имени Чехова.

Алданов — Терентьевой, 24 августа 1952 г.\*

В. Д. Самарин превосходный корректор, и я ему по-настоящему признателен за его труд. Кое-что мне совершенно непонятно, правда. Почему, например, «Waldorf Astoria» надо писать «Уолдорф Астория», а West — «Вест», а не «Уэст». Либо то, либо другое?

<...> Есть, однако, вещи, которые относятся исключительно к компетенции автора. Я иногда (в редких случаях) диалог даю без красных строк — все в одну строку. Делаю это там, где это нужно по художественным соображениям, для ускорения темпа или же когда дело идет о диалоге в воспоминаниях. В. Д. Самарин там карандашом все разбил на абзацы (как в обычном диалоге)! Я ни в каком случае на это не согласен и настойчиво прошу оставить, как было у меня.

В одном или в двух местах у меня престарелый Дюммлер говорит «по-малчи-

вал». Мне так же хорошо, как В. Д. Самарину, известно, что теперь говорят «по-малкивал». Но Дюммлер родился в шестидесятых годах, когда и говорили, и писали «по-малчивал» (с.л., напр., в тургеневской «Нови» главу 11-ю и во многих других старых книгах). Так **должен** говорить и Дюммлер, это у меня не описка.

Но вернемся к выбранным местам из переписки Алданова с Зайцевым.

**Зайцев — Алданову, 9 мая 1953 г.**

(Пишет «Чехова».) *Что за мрачная история эта поездка на Сахалин! Я бы ни за что не поехал. Но он ездил не зря, потому что в поездке этой изживал печаль и беспросветность «Скучной истории».*

**Зайцев — Алданову, 29 апреля 1954 г.**

(По поводу «Степного короля Лира» Тургенева.) *Никаких «идей», и слава Богу. Но по всей вещи разлито нечто тургеневское (хотя нет «девушек») — органическое и такое, чего нет у Толстого. То, что Тургенев «чрезвычайно» старомоден, как раз хорошо. Так же, как благоухание старинных ларцов, писем, засушенных цветов. На всем дымка, как есть голубоватая дымка над Францией. А у Толстого всегда средний и здравомысленный дневной свет. (Раньше я как-то не обращал внимания на «тень смерти», лежащую на «Степ. Лире» — а теперь очень даже заметил, и это «очень Тургенев». Удивительным показалось одно деепричастие, откуда он его взял? Х. сидит с удочкой — сказано: «сидючи» и «удучи» (?).*

**Алданов — Зайцеву, 25 августа 1954 г.**

(Он прочел книгу Зайцева о Чехове.) *Вы ставите Чехова очень высоко, но, по-моему, еще недостаточно высоко. Думаю, что ему принадлежит как прозаику одно из первых пяти или шести мест в русской литературе. (Предлагает такую «табель о рангах»: Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, а ниже ставит Тургенева и Гончарова.)*

*Недавно я перечитывал Островского. И меня поразило необыкновенное сходство между добродетельным передовым студентом «Вишневого сада» и добродетельным передовым студентом «Талантов и поклонников»: просто одно и то же лицо! Разумеется, в отношении Чехова даже мысль о плагиате не возникает и возникнуть не может. Но это, по-моему, поразительный пример шуток, которые бессознательная память может сыграть с писателем. Я, кстати, «Вишневым сад» всегда любил гораздо меньше, чем «Дядю Ваню».*

**Зайцев — Алданову, 28 августа 1954 г.**

*Табель о рангах для классиков у меня приблизительно такая же, как и у Вас, хотя выше Тургенева я Чехова не ставлю и Тургенева с Гончаровым равнять не могу. <...>*

*Сейчас перечитываю «Детство» и «Отрочество». Вот это классик, хотя в «Анне Карениной» у него Венера на вечерней заре подымается, что есть ересь. Приятно было также прочесть у Т[олстого] фразу: «Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас», — у Тургенева это вызвало бы Ваши насмешки, а Т[олстой]у Вы все прощаете. Но это был действительно необыкновенный и трогательный тип! Я сейчас все больше и больше в него погружаюсь. Насчет Остр[овского] и Ч[ехова] весьма возможно. Надо, однако, сказать, что и «Егерь» Ч[ехова] во многом взят у Тургенева («Свидание» — только в этом «Свидании» первые две страницы — шедевр живописи. И вообще все гораздо тоньше, выше).*

Алданов подобно Бунину, Набокову был агностик, безрелигиозный человек, хотя отнюдь не «воинствующий безбожник». В ранних книгах он, как и любимые его герои, скептик и вольнодумец, с годами у него усиливалась жажда найти опору в непреходящих ценностях, и Зайцев внимательно следил за этой его эволюцией.

**Алданов — Зайцеву, 25 октября 1945 г.**

(После посещения журналиста С. Л. Полякова, больного раком.) *Никогда мы с ним не были близки ни лично, ни политически. Но этот визит так меня расстроил, что я второй день хожу сам не свой. «Сегодня ты, а завтра я», и к чему все было? Трудно жить на свете неверующему человеку. Как Вы счастливы, что Вы человек верующий и не растеряли веры даже при виде того, что происходило в мире в последние десятилетия!*

Зайцев — Алданову, 4 апреля 1950 г.

(Прочитал полное издание «Истоков».) «Старосветские помещики», семейственность, жена-опора — чуть ли не единственный фундамент, на котором можно существовать... Все это весьма «Приемлю и ничтоже вопреки глаголю». И вообще прославление простого и человеческого против сальто-жортале. (Как мне тоже далеки всякие спасители человечества!)

Зайцев — Алданову, 1 апреля 1954 г.

«Ульмская ночь» очень понравилась. <...> Книга увлекательная и написана блестяще. Очень важно: человек сказал то, что в нем жило и накаплилось годами, вероятно. Некое исповедание веры. <...> В Декарте я, конечно, ничего не понимаю (просто понаслышке только знаю), но самая сердцевина Вашей книги оказалась гораздо ближе мне, чем я думал. Веры в Промысел и в неслучайность случая я не ждал, но не ждал и Платона и «красоты-добра» — хотя давно уже чувствую, что ходячий взгляд на Вас как на скептика в духе Анатоля Франса неправилен (с «Истоков» это как будто и началось — в моем понимании по крайней мере).

Во всяком случае, сердечно поздравляю. Большая удача, и очень хорошо сделали, что взяли форму диалога.

Подтверждением правильности взгляда Зайцева можно считать свидетельство Алданова в письме Маклакову от 5 ноября 1954 г.:

«Меня всегда (или, вернее, не всегда, а с тех пор, как я стал сам стар) очень интересовало, что дает силу, бодрость, энергию людям старым, которые больше ничего в жизни для себя ждать не могут (а некоторые ничего не ждут и для мира). Вас я об этом никогда не решился спросить ни устно, ни в письме. А с Керенским я раза два наедине об этом говорил. И вынес впечатление (только впечатление), что он видит один ответ: религия. И это, по-моему, для него счастье».

В обширной переписке Алданова и Маклакова примечательна полемика в связи с журнальной публикацией романа Алданова «Истоки». Маклаков, автор ряда исторических трудов, считал, что в художественной прозе изображения исторических деятелей следует избегать, любой писатель субъективен в их оценке. Взгляд Алданова был иной: он избегал изображения знаменитых людей в современных романах. Его вымышленные персонажи часто, как в реальной жизни, приходят к знаменитостям, и только. Но что касается романа исторического, из прошлых времен, в нем цари, полководцы, ученые, поэты автору жизненно необходимы — они объясняют эпоху, и эпоха объясняет их. Алданову исторические персонажи более удавались, чем вымышленные, и это ставит его особняком в русской литературе: скажем, у Толстого Наполеон, Кутузов уступают в яркости красок Ростовым и Болконским. Писатель-эрудит, прекрасно знавший историю, Алданов сопровождал каждый свой исторический роман шлейфом очерков, небольших научных исследований и психологических портретов.

В. А. Маклаков — Алданову, 30 января 1946 г.

Я думаю, что у Вас редкий дар к тому историческому роману, который может быть материалом для **пони ания** эпохи и ее атмосферы. Это своеобразная историческая работа, и я ее так и расцениваю. Словом, это то, что делал Толстой, Пушкин, Загоскин и др. Думаю, что Ваш «Ключ» и его типы не живые лица, а живые «люди», в которых мы узнаем своих знакомых, можем многое понимать лучшие ученых исследований. А так как кроме этой общей атмосферы интересна и фабула, то это и сделает Вас одним из любимых писателей.

Но тут есть и опасность, и я мельком на нее укажу.

Во-первых, романисту приходится вводить в рассказ **исторических** лиц, у которых уже есть какой-то канонический образ. Этот канонический образ может действительности и не соответствовать, отражать понимание современников. Задача историка — его поправить и показать, в чем была ошибка. Но когда это делает **романист** по своему произволу, не доказав, а показав, он может вводить в заблуждение; так Толстой искажил и Наполеона, и особенно Кутузова. Во мне есть протест «историка» против этой свободы, и я нахожу, что романисту лучше этих людей не трогать; я не хочу сказать, что Вы их искажали; не знаю. Но Вы затронули столь многих — Александра II, Бисмарка, Маркса, Бакунина, Энгельса и т. д., что я инстинктивно боюсь произвола романиста. Конечно, в общем и главным эти лица соответствуют каноническим образам; но важны и детали. Вы можете соблазнить одного от малых сих. В частности, имею в виду Александра II.

Аналогично с этим опасение — в изображении целой **среды**: имею в виду народных волеводцев. Здесь трудно искать правду; революция создает **легенду** о своих. В ней

*мало исторически верно, как во всякой легенде. Подпольная Россия Степняка — один из образчиков этого. Есть ли у Вас достаточный материал, чтобы изобразить их живыми, как они были? Вы идете по жердочке над пропастью, от Вашего произвола зависит увековечить образы исторических личностей. Я Вас не осуждаю и не знаю, в какой мере Вы близки к правде. И опять-таки именно потому, что Вы не критикуете, не лотивируете, как историческая наука сделала с Годуновым, с Лжедмитрием. Вы можете по своим личным симпатиям и антипатиям не послужить истории, а ее обмануть.*

*Это чисто методологическое замечание; практически оно сводится к тому, чтобы исторических лиц изображать поменьше и более поверхностно. Как у Толстого живые люди не Наполеон, не Кутузов, не Ермолов, а коллективные — Ростов, Денисов, Болконский, Каратаев. И ценность «Войны и мира» в них. Конечно, для большой публики занятно увидеть у Вас и Суворова, и Желябова; но это нездоровое желание.*

**Алданов — Маклакову, 12 февраля 1946 г.**

*Так ли верно, что у каждого исторического лица есть «канонический образ»? Я писал когда-то, что «суда истории» вообще нет — это миф: есть суд историков, который меняется каждые 25—50 лет, да и в течение одного периода они во всем между собой расходятся: ведь «беспристрастные историки» есть во всех партиях. Без всякого сомнения, мое изображение того или иного исторического лица может быть оспорено, но то же самое верно в отношении профессиональных историков, даже больших. Разве не оспаривался Цезарь Моммзена? Разве не оспаривались знаменитые характеристики (царей) Ключевского (которого, впрочем, при мне покойный Павел Николаевич<sup>1</sup> называл историком невежественным, — отдавая должное его большому изобразительному таланту)? Извините, что называю знаменитые имена как бы по поводу своего романа. Поверьте, что я себя с ними никак ни в малейшей мере не сравниваю, это было бы глупо. Могу только сказать, что литературу о выведенных мною исторических лицах изучал добросовестно и потратил на это годы — иногда и без всякой пользы (так, я месяца три потратил на перечитыванье Ницше и на изучение литературы о нем, а затем отказался от мысли вывести его в «Истоках», так как пришел к выводу, что он «истоком» не был: общее место, будто он был предшественником национал-социализма, показалось мне вздорным и нелепым).*

<sup>1</sup> Милуков.

**Маклаков — Алданову, 21 февраля 1946 г.**

*Вы правы, что историки меняли оценку; но, меняя оценку, ее надо мотивировать и показывать, и объяснять. Иначе останется впечатление произвола. Я не могу Вас упрекать в искажении; следы изучения эпохи видны даже в мелочах. Ваш Бакунин, Достоевский таковы, как их изображает историография; но я испытываю какую-то неловкость и сомнение: по какому праву Вы данными лицами распоряжаетесь так же свободно, как **Ваши**ми созданиями? И это сомнение мешает удовольствию чтения. Другие, впрочем, именно это и любят. Поэтому признаю, что это может быть глупая претензия с моей стороны.*

Другим постоянным, как и Маклаков, корреспондентом Алданова была известная в предреволюционные годы социал-демократка Е. Д. Кускова. Их переписка касалась почти исключительно политических тем, но в 1954 г. одно из своих писем 85-летняя Кускова посвятила делам литературным. Поводом стал слух, будто Алданову присуждена Нобелевская премия по литературе! За строками писем встают два очень разных характера: импульсивная, непримиримая в суждениях Кускова и уравновешенный, лишенный иллюзий, но всегда благожелательный к людям Алданов.

**Е. Д. Кускова — Алданову, 14 октября 1954 г.**

(Один ее знакомый) <...> сообщил, что кто-то где-то слышал, что Нобелевская премия будет присуждена Вам. Нью-йоркцы (левые) этому будут рады. Мы, разумеется, тоже. Хорошо бы! Да и заслуженно. Как ни свергают черносотенцы покойного И. А. Бунина, а все же два писателя, он и Вы, в зарубежье беспорны по силе таланта. Б. К. Зайцев своеобразен и спорен. Никто не отрицает его лирического таланта, но употребляет он его далеко не беспорно: на чей вкус! Вот, например, что мне кажется не соответствующим истине. На той стороне шутят у Чехова революцию. Подумайте! А Борис Константинович пытается доказать своей интерпретацией «Архерея», что он ясно показал свою... религиозность. А

когда Вы изучили и блестяще изобразили (незабываемо!) Желябова и Перовскую и убийство Александра II, значит ли это, что Вы сочувствовали боевой организации Народной Воли? Вовсе не значит — художник ведь тем и крупнее, чем ярче воспроизводит он событие или тип, не ищет в нем того, что он *хочет* найти. Изобразительность вовсе не означает сочувствия или несочувствия тому, что изображает автор-художник.

#### Алданов — Кусковой, 16 октября 1954 г.

Сердечно благодарю Вас за все то незаслуженное, что Вы говорите в связи с Нобелевской премией,— тронут Вашими словами. Ни малейшей надежды на получение этой премии я не имею. Моя кандидатура выставляется уже немало лет, покойный Иван Алексеевич стал ежегодно выставлять ее по *своей* инициативе. Имеют право выставлять кандидатуры нобелевские лауреаты и профессора русской литературы или истории в любом университете. Думаю, что никаких шансов у меня нет: едва ли еще когда-либо дадут премию русскому эмигранту; если же дадут, то уж скорее, думаю, Ремизову<sup>1</sup>. <...>

Вы правы, Борис Константинович немного (вслед за покойным о. Булгаковым) стилизовал Чехова. Как раз обратное доказывал Евгений Замятин, т. е. то, что Чехов был совершенно лишен религиозного чувства. Он вообще почти об этих вопросах не писал, а когда писал, то уж скорее ближе к замятинскому, чем к зайцевскому толкованию. Вы правы, по-моему, и в том, что говорите об «Архипере». Это подлинный высокий шедевр. Верно и то, что других людей духovenства Чехов тоже изображал в привлекательных тонах, но какой же из этого можно сделать вывод? Чехов очень благожелательно изображал и военных (например, офицеров в «Трех сестрах») — однако не делать же из этого вывод, что Чехов был «милитарист»! Со всем тем я с большим удовольствием и интересом прочел книгу Бориса Константиновича. Он мне ее прислал в подарок, как и я посылал ему мои книги, к неудовольствию Бунина, который его не выносил (в чем, по-моему, был неправ). <...>

С ближайшей книги там<sup>2</sup> будут печататься отрывки из моей повести «Бред». Не судите слишком строго; да она и будет непонятна до появления в полном виде.

<sup>1</sup> Нобелевская премия по литературе за 1954 г. была присуждена Хемингуэю.

<sup>2</sup> В «Новом журнале».

Последнее замечание Алданова кажется загадочным: в сокращенном варианте повести «Бред», который печатался в журнале, все сюжетные узлы развязаны, все конфликты получили разрешение. Что же скрывалось за словами о повести: «Она и будет непонятна до появления в полном виде»? Думается, и получательница письма не знала на этот вопрос ответа. Изучение рукописного текста повести, хранящегося в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры, свидетельствует, что помимо глав, воплощающих детективный развлекательный сюжет, Алданов написал еще две главы, отсутствующие в журнальной публикации, но очень для него в то время важные. Эти главы — отклик на недавнее крупное историческое событие, смерть Сталина. Автор заставил героя, международного авантюриста, вспоминать свои встречи со Сталиным. Эти главы он включил в английский перевод своей повести. Мечта Алданова об отдельном издании повести на русском языке не осуществилась. Издательство имени Чехова в 1956 г. перестало существовать, русскоязычное книгоиздательское дело на Западе почти полностью в то время прекратилось.

Еще одну загадку представляет повторяющийся в последних его письмах рефрен «не забывайте». Когда Адамович в письме от 6 февраля 1957 г. сообщил ему, что читает роман «Самоубийство» «с великим удовольствием», Алданов отвечает: «Прежде для меня имело самое большое значение мнение Ивана Алексеевича, а потом Ваше. Теперь Ваше для меня *важнее всех других*», а чуть ниже жалуется на здоровье: «Иногда становится совсем худо». От руки приписывает к машинописному тексту: «Не забывайте, очень прошу». Ему оставалось жить две недели. Похоже, что в приписке был такой скрытый смысл: «Не забывайте меня, когда меня не будет».

Подготовка текста, публикация и комментарии А. А. ЧЕРНЫШЕВА

«Это светлое имя — Пушкин»

## По страницам Онегинской энциклопедии

*Журнал «Октябрь» продолжает публикацию Онегинской энциклопедии. Это обширный коллективный труд, в котором принимают участие филологи, искусствоведы, историки, экономисты, юристы, музейные работники. Предлагаемые вашему вниманию статьи, как и энциклопедия в целом, дополняют известные комментарии к «Евгению Онегину», расширяют и углубляют наши представления об истории, литературе, культуре и быте первой трети XIX века, приближают нас к миру пушкинского романа.*

Н. И. МИХАЙЛОВА

**МИЦКЕВИЧ АДАМ** (24.12.1798—26.12.1855) — великий польский поэт, автор романтической лирики, поэм «Гражина», «Дзяды», «Конрад Валленрод». За участие в тайной патриотической организации польской молодежи — обществе «филоматов» («друзей науки») — в 1823 г. был арестован и в 1824 г. из Вильно выслан в Россию. Посетив Петербург и Одессу, в ноябре 1825 г. Мицкевич приехал в Москву. Он познакомился со многими русскими литераторами: К. Ф. Рылевым, А. А. Бестужевым, П. А. Вяземским, А. А. Дельвигом, Е. А. Баратынским, братьями Н. А. и К. А. Полевыми, В. Л. Пушкиным и другими. Осенью 1826 г. в Москве состоялось знакомство Мицкевича с Пушкиным. В марте 1827 г. польский поэт писал из Москвы своему другу А. Одынцу о Пушкине: «...я знаком с ним, и мы часто встречаемся. Пушкин почти одного со мной возраста (на два месяца моложе), в разговоре очень остроумен и увлекателен; он много и хорошо читал, знает новейшую литературу; его понятия о поэзии чисты и возвышенны. Написал теперь трагедию «Борис Годунов»; я знаю из нее несколько сцен в историческом жанре, они хорошо задуманы, полны прекрасных деталей» (Мицкевич А. Собрание сочинений в 5 тт., 1954. Т. 5, с. 380). Пушкин, по свидетельству К. А. Полевого, оказывал Мицкевичу «величайшее уважение». В мае 1829 г. А. Одынец сообщал в письме о том, как Пушкин пришел в восторг от импровизации Мицкевича: «Во время одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, восклицал: «*Quel génie! quel feu sacré! que suis-je auprès de lui?*» (Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним? — *франц.*) — и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними» (цит. по: Мицкевич А. Собрание сочинений, т. 5, с. 631).

Позднее, в 1825 г., в процессе работы над неоконченной повестью «Египетские ночи», Пушкин, описывая итальянца-импровизатора и его импровизации, вспоминал Мицкевича, вдохновенные импровизации польского поэта.

Пушкин и Мицкевич часто встречались в Москве и в Петербурге. Мицкевич подарил Пушкину книгу «*The works of lord Byron*», вышедшую в 1826 г., с надписью на польском языке: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих А. Мицкевич». Пушкин преподнес в дар польскому поэту свою поэму «Полтава». В 1828 г. Пушкин перевел на русский язык отрывок из «Конрада Валленрода».

В марте 1829 г. в Москве состоялась последняя встреча Мицкевича с Пушкиным. В мае Мицкевич покинул Россию. Осенью 1829 г. Пушкин, восхищавшийся творчеством польского поэта и в частности его «Крымскими сонетами», работая над главой «Странствие» романа «Евгений Онегин», написал следующие стихи о Тавриде, напечатанные в 1833 г. в «Отрывках из путешествия Онегина».

Воображенью край священный:  
С Атридом спорил там Пилад,  
Там закололся Митридат,  
Там пел Мицкевич вдохновенный  
И, посреди прибрежных скал,  
Свою Литву воспоминал.

Мицкевич вспоминает Литву «посреди прибрежных скал». Н. Л. Бродский отметил, что Пушкин имеет в виду открывающий «Крымские сонеты» сонет «Аккерманские степи», где, как пишет комментатор, польский поэт «между прочим, вспоминает Литву на просторе сухого океана «степей, а не среди прибрежных скал». Заметим, что строка о прибрежных скалах у Пушкина появилась не сразу. В черновой рукописи — варианты: «в тени оливо», «на берегу пустынным», «...среди прибрежных скал», «при шуме волн», «там посреди прибрежных скал». Таким образом, строка «и, посреди прибрежных скал» — результат творческого выбора.

Пушкин создает романтический портрет романтического поэта. Под его пером Мицкевич предстает вдохновенным певцом в священном краю воображения, в мире легенд и древней истории, погруженным в воспоминания об оставленной им Родине, то есть польский поэт соединен Пушкиным как бы с самой сущностью поэзии, ее воображением, вдохновением, историческими и личными воспоминаниями. И, видимо, не случайно фоном для этого портрета Пушкин делает прибрежные скалы. Думается, можно предположить, что это своего рода аналог живописному портрету Мицкевича, написанному В. Ваньковичем в 1827 г.: польский поэт изображен в рост, в позе Байрона на фоне скалы. Дневниковая запись Е. Шимановской от 19 марта 1828 г. свидетельствует о том, что Пушкин видел портрет в тот день в мастерской художника, как видели его и пришедшие с ним к Ваньковичу Е. Шимановская, М. Шимановская, П. А. Вяземский, Ф. Малевский (см.: Белза Н. Ф. История польской музыкальной культуры. М., 1957. Т. 2, с. 220). Если же учесть, что в 1828 г. была напечатана автолитография с этого портрета, то с ним были знакомы и другие современники Пушкина и Мицкевича. Описание Мицкевича «посреди прибрежных скал» могло быть зрительно узнаваемым для первых читателей «Евгения Онегина».

С портретом Мицкевича работы Ваньковича связана еще одна небезыгодная подробность. Ванькович написал портрет не только Мицкевича, он создал к нему парный портрет Пушкина. (Об эскизе этого утраченного портрета Пушкина в собрании Всероссийского музея А. С. Пушкина см.: Февчук Л. И. О некоторых прижизненных портретах Пушкина. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986, сс. 126—128.) Оба портрета описаны в воспоминаниях побывавшего в мастерской Ваньковича С. Моравского: Мицкевич был изображен «в черкесской бурке, с обнаженной головой и развевающимися волосами, опирающимся на скалу... В подобном романтическом вкусе... был скомпонован и портрет Пушкина. Вместо бурки... широкий плащ с клетчатой подкладкой, вместо скалы — тенистое дерево, под которым поэт стоит в раздумье» (Эттингер П. Станислав Моравский о Пушкине. В кн.: Московский пушкинист. 2. М., 1930, сс. 248—249).

Включив текст с созданным им романтическим портретом Мицкевича в свой роман, Пушкин также в конечном счете как бы представил читателю парные портреты, один из которых — поэтический портрет самого автора «Евгения Онегина». Мотивы воображения, воспоминаний, вдохновения окружают и образ автора стихотворного романа. В «Отрывках из путешествия Онегина» декларация об «иных картинах» с песчаным косогором, избушкой, рябинами вместо романтических груд скал и «волн краев жемчужных» не отрицает романтического видения мира. Описание прекрасных берегов Тавриды, которое следует за строфой о Мицкевиче, может быть расценено как романтическая вариация Пушкина на тему «Крымских сонетов» Мицкевича. Если же учесть, что в примечании к сонету «Гробница Потоцкой» Мицкевич ссылался на «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, то в пушкинской строфе о Тавриде перед нами — продолжение диалога двух поэтов.

Пушкин и Мицкевич в «Евгении Онегине» — поэты-изгнанники. Вариант строки «Там пел Мицкевич вдохновенный» — «там пел изгнанник вдохновенный»; намеки на изгнание Пушкина, начиная с первой главы и кончая «Отрывками из путешествия Онегина», рассыпаны по всему роману. Строка о том, что Мицкевич «свою Литву воспоминал», соотносится со строками седьмой главы:

Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва. Я думал о тебе!

(Варианты — «В изгнании, в горести, в разлуке», «Москва, в изгнании, в разлуке», «В изгнании, с мильми в разлуке».) Воспоминания о Родине, высокое чувство любви к Отчизне объединяют русского и польского поэтов.

Тема изгнанничества в «Евгении Онегине» связана и с римским поэтом Овидием, и с русским поэтом Баратынским. При этом портрет Баратынского, как и портрет Мицкевича, написан на фоне скал:

Но посреди печальных скал,  
Отвыкнув сердцем от похвал,  
Один, под финским небосклоном  
Он бродит...

О значении эпитета «вдохновенный» применительно к Мицкевичу писали М. А. Цявловский и Н. В. Измайлов. Этот эпитет, по справедливому замечанию Цявловского, «был неотделим от Мицкевича в устах русских, когда они говорили о нем» (Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 191).

Баратынский писал Мицкевичу в 1828 г.:

Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,  
Я застаю у Байроновых ног,  
Я думаю: поклонник униженный,  
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

(Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Изд. 3-е. Л., 1989, с. 146.)

Его непрестанное внутреннее горение, возвышенность и глубину мысли, изумительный дар импровизации, превосходящий, казалось, все человеческие возможности и вложенный в него «свыше», — вот что, по мнению Н. В. Измайлова, выражал эпитет «вдохновенный», которым Пушкин наградил Мицкевича (Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976, с. 141). Но в «Евгении Онегине» есть еще два поэта, названных так же. Это герой романа, которому автор отдал часть своей души, Владимир Ленский с «вдохновенным взором» и Языков «вдохновенный».

В послании к Языкову Пушкин писал:

Издревле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует:  
Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует;  
Друг другу чужды по судьбе,  
Они родня по вдохновенью.

Упоминание Мицкевича в «Евгении Онегине» носит отнюдь не случайный, не эпизодический характер; оно весьма значимо в художественной системе романа. Великий польский поэт включен Пушкиным в единый союз поэтов всех времен и народов; его поэзия и судьба представлены неотъемлемой частью мировой поэзии. Его творения признаны бессмертными (недаром вариант стиха «Свою Литву вспоминал» — «Стихи бессмертны слагал»). Слово поэта преодолевает пространство и время, включаясь в диалог русской и мировой культур, воплощенный в романе Пушкина «Евгений Онегин». Диалогические культурные связи, пронизывающие роман, находят свое выражение в созданном Пушкиным портрете Мицкевича, соотносящемся с его живописным портретом работы польского художника Ваньковича.

Уже после того, как строфа о Мицкевиче в «Евгении Онегине» была написана, Пушкин в 1830 г. сочинил сонет о сонете, где та же мысль о диалоге русской и мировой культур выражена в размышлении о жизни в веках одного лирического жанра. В один ряд здесь поставлены творцы сонета — великие итальянские поэты Данте и Петрарка, англичане Шекспир и Вордсворт, испанец Камюэнс, русский поэт Дельвиг и польский поэт Мицкевич, причем портрет Мицкевича в пушкинском сонете — вариация его портрета из пушкинского романа в стихах:

Под сенью гор Тавриды отдаленной  
Певец Литвы в размер его стесненный  
Свои мечты неволью заключал.

Трагические события 1830—1831 гг., жестокое подавление польского восстания разделили Мицкевича и Пушкина. В 1832 г. Мицкевич прочел стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» вместе со стихотворением В. А. Жуковского «Старая песня на новый лад». Они составили напечатанную в 1831 г. и вскоре переведенную на немецкий язык брошюру «На взятие Варшавы». Мицкевич ответил на них «Посланием к москалям», которым заключил «Отрывок» 3-й части «Дядюв».

В 1833 г. С. А. Соболевский, вернувшись в Россию из-за границы, подарил Пушкину IV том парижского издания собрания сочинений Мицкевича. Пушкин по-польски переписал из этого тома «Послание к москалям», стихотворения «Памятник Петру Великому», «Олешкевич». Он предполагал сделать их русский перевод. В 1833 г. Пушкин перевел баллады Мицкевича «Воевода», «Будрыс и его сыновья». В 1832 г. Пушкин написал стихотворение, адресованное Мицкевичу:

Он между нами жил  
 Среди племени чужого; злобы  
 В душе своей к нам не питал, и мы  
 Его любили. Мирный, благосклонный,  
 Он посещал беседы наши. С ним  
 Делились мы и чистыми мечтами  
 И песнями (он вдохновен был свыше  
 И свысока взирал на жизнь). Нередко  
 Он говорил о временах грядущих,  
 Когда народы, распри позабыв,  
 В великую семью соединятся.  
 Мы жадно слушали поэта. Он  
 Ушел на запад — и благословеньем  
 Его мы проводили. Но теперь  
 Наш мирный гость стал нам врагом — и ядом  
 Стихи свои, в угоду черни буйной,  
 Он напояет. Издали до нас  
 Доходит голос злобного поэта,  
 Знакомый голос!..  
 Боже! Освятит  
 В нем сердце правдою твоей и миром,  
 И возврати ему

Пушкин соединил в своем стихотворении прошлое и настоящее. Он воссоздал образ Мицкевича, мирного и благосклонного участника бесед русских поэтов, вдохновенного свыше польского певца, мечтающего о будущем братстве не только всех поэтов, но и всех народов. Слова Пушкина о знакомом голосе ныне злобного поэта наполнены глубокой болью. В страстном призыве к Господу освятить «в нем сердце правдою... и миром» — любовь Пушкина к Мицкевичу, верность их дружбе. Стихотворение «Он между нами жил» осталось незаконченным, при жизни Пушкина напечатано не было. Мицкевич прочитал это стихотворение только в 1842 г. Листок с его текстом А. И. Тургенев положил на кафедру Мицкевичу, читавшему в Париже в Коллеж де Франс курс славянских литератур. На листке А. И. Тургенев сделал надпись: «Голос с того света».

Когда в 1837 г. Пушкина не стало, то Мицкевич откликнулся на смерть русского поэта проникновенным некрологом. Он первым сказал о национальной трагедии, постигшей Россию. «Пуля, поразившая Пушкина,— писал он,— нанесла интеллектуальной России ужасный удар... Никто... не заменит Пушкина. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности» (Мицкевич А. Собрание сочинений, т. 4, с. 96). Мицкевич оставил нам посмертный портрет Пушкина — поэта и человека, созданный на основе личных впечатлений, согретый его любовью и уважением: «Пушкин, вызывавший восторг читателей своим поэтическим талантом, изумлял своих слушателей живостью, тонкостью и проницательностью своего ума. Он обладал удивительной памятью, определенностью суждений и утонченным вкусом. Слушая его рассуждения об иностранной или о внутренней политике его страны, можно было принять его за человека, посевшего в трудах на общественном поприще и ежедневно читающего отчеты всех парламентов. Своими эпиграмами и сарказмами он создал себе много врагов. Они мстили ему клеветой. Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем характер слишком впечатлительный, а порою легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рожденными обстоятельством и средой, в которой он жил, но все, что было в нем хорошего, шло из его собственного сердца» (Мицкевич А. Собрание сочинений, т. 4, сс. 96—97). Статья Мицкевича была напечатана во французском журнале «Глоб» 25 мая 1837 г. Польский поэт подписал ее так: «Друг Пушкина».

## КУКЛА

Но куклы даже в эти годы  
Татьяна в руки не брала,  
Про вести города, про моды  
Беседы с нею не вела.

Кукла, являясь своеобразным изображением человека, с предельной точностью отражает черты стиля своего времени. Внешний вид кукол, их костюмы, прически, украшения — все это в известной степени характеризует отдельные моменты быта и мировоззрения эпохи. Это с одной стороны. С другой — кукла была и остается любимой игрушкой девочки; с обстановкой, посудой и нарядами она позволяет детям в игре копировать жизнь взрослых:

Охоты властвовать примета,  
С послушной куклою дитя  
Приготовляется, шутя,  
К приличию — закону света,  
И важно повторяет ей  
Уроки маменьки своей.

Шедевры кукольного дела были созданы в эпоху Возрождения, ознаменовавшуюся большими достижениями в области науки, техники, искусства. Роскошно одетые куклы почти в течение трех с половиной столетий представляли собой взрослых дам. Куклы-дети отсутствовали вплоть до второй половины XIX века.

В XVIII веке пышность и роскошь в костюмах кукол достигают наивысшего предела. В 1815 г. Пушкин-лицеист в «Послании к Юдину», изображая уединенную хижину поэта, пишет:

И думаю: «К чему певцам  
Алмазы, яхонты, топазы,  
Порфирные пустые вазы,  
Драгие куклы по углам?..»

На Россию первой трети XIX века сильное влияние оказывала Франция. Париж считался законодателем мод, а французские куклы были причесаны и одеты с головы до ног по последней моде. Матери изучали по куклам моду, а дочери забавлялись ими.

Туловища таких кукол делали из папье-маше, лайки и материи, набитых опилками, или из дерева, головки — из терракоты, мастики, фарфора или воска. Примечательно в связи с этим, как в «Каменном госте» А. С. Пушкина Дон-Гуан отзывается о городских красавицах:

В них жизни нет,  
все куклы восковые.

Наиболее дорогие французские куклы долгое время имели фарфоровые головки, выписываемые из Саксонии, Кобурга, Тюрингии. Кроме того, встречались деревянные резные «скелетцы» с подвижными руками и ногами, одетые в пышные туалеты того времени.

В XIX веке впервые стали применяться шарниры, был найден способ делать кукол с закрывающимися глазами. В 1823 г. на выставке во Франции представляли говорящих кукол, которые при прикосновении к рукам говорили «мама», «папа». Делались куклы с механизмом, вставленным в туловище, который приводил куклу в движение, — она поворачивала голову, двигала руками и ногами. Продолжали создавать кукол с механизмами, движение которых сопровождалось музыкой.

Для того чтобы дети в игре могли максимально приблизиться к реальной жизни, изготовлялись мебель, посуда и даже целые дома в миниатюрном исполнении.

Чудесные французские игрушки ювелирного характера, однажды приобретенные, долго сохранялись в богатых дворянских семьях (вплоть до XX века).

Ларины не могли покупать столь дорогие игрушки своим детям, поскольку принадлежали к дворянам со средним достатком. Так, в черновиках «Евгения Онегина» Пушкин пишет об Ольге как о дочери бедных соседей. Поэтому скорее всего сестры Ларины играли самодельными тряпичными куклами, которые были обычными из начала XIX века. Такую куклу им могла сделать няня, так как вообще любой крестьянской девочке уже к пяти-шести годам эту работу выполнить было нетрудно.

У крестьян кукла рассматривалась как эталон рукоделия. По куклам судили о вкусе и мастерстве их владелицы. Изготавливая кукол, играя с ними, девочка училась шить, вышивать, прясль, постигала традиционное искусство одевания. Кукла в народе символизировала прекрасный образ девичества, была также мерилем и женской красоты.

О том, как выглядела такая кукла, мы узнаем от Е. Н. Водовозовой (1844—1923), воспитанницы Смольного института, которая в своих воспоминаниях приводит следующее образное сравнение: «Вторая сестра — Дия (Конкордия) — имела более женский облик, но своею внешностью напоминала куклу домашнего производства, сделанную из ваты и тряпок, — такая она была вся пухлая и рыхлая, с расплывчатыми чертами лица. Особенно странное впечатление производили ее глаза и брови, которые, точно у куклы, как будто проведены были углем, а губы краской» (Водовозова Е. Н. На заре жизни. М., 1981, с. 29).

Вернемся к Татьяне Лариной, которая, по словам Пушкина, даже в детские годы не играла в куклы. Ю. М. Лотман отмечает, что «серьезное поведение в детстве, отказ от игр — характерные черты романтического героя» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1980, с. 198).

Л. А. ВОЛОСАТОВА

**МЕЛЬМОТ** — герой романа «Мельмот Скиталец» («Melmoth The Wanderer», 1820) английского писателя Чарльза Роберта Мэтьюрина (1780—1824), произведения которого относятся к жанру авантюрного и «готического» романа (романа «тайны и ужасов», «черного» романа), широко распространенного в английской литературе рубежа XVIII—XIX веков. «Мельмот Скиталец» стал «последним и одним из лучших образцов в ряду... готических романов» (Алексеев М. П. «Ч.-Р. Мэтьюрин и его «Мельмот Скиталец». В кн.: Ч.-Р. Мэтьюрин. «Мельмот Скиталец». Л., 1977, с. 563).

В основе сюжета романа — история английского аристократа Джона Мельмота, продавшего душу дьяволу и взамен обретшего бессмертие. Мельмот — мрачный человек с завораживающим, горящим адским огнем взором — появляется в минуту людской слабости и отчаяния с целью выманить у несчастных обещание пожертвовать душой во имя облегчения своей участи, тем самым поменявшись с ним местами. Необычность романа заключалась не только в том, что перед глазами читателя развертывалась зловещая панорама человеческих страданий в разных странах и в разные времена, но и в утверждении Мэтьюрином гуманистической идеи величия человеческого духа: ни один из героев романа не соглашается разделить судьбу Мельмота и стать жертвой дьявола. <...>

А. С. Пушкину принадлежало первое оригинальное издание романа «Мельмот Скиталец» — «Melmoth The Wanderer», a tale. By the author of «Bertram» etc. In four volumes. Edinburgh, 1820 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910, с. 284, № 1146). <...>

Полностью в русском переводе «Мельмот Скиталец» увидел свет в Санкт-Петербурге в 1833 г.: «Мельмот Скиталец. Сочинение Матюрина, автора «Бертрама», «Альбигойцев» и проч. Пер. с фр. Н. М. Ч. 1—6. В 12-ю долю листа». На это издание была опубликована краткая хвалебная рецензия в петербургской газете «Северная пчела»: «Автор романа... известен русским читателям, не знающим иностранных языков... Необычайная сила его мрачного воображения, верность очерчиваемых им характеров, занимательность, необыкновенность происшествий во всех его творениях, содействуют чтению оных весьма заманчивым» (1833, № 132, 15 июня, с. 525). Подробный разбор литературных достоинств русского перевода «Мельмота Скитальца» и художественных особенностей произведения Мэтьюрина содержит напечатанная в 1833 г. в «Московском Телеграфе» статья, отмечавшая, в частности, следующее: «...романов Матюрина нельзя уравнивать и уподоблять сочинениям Сталь, Жанлис, А. Лафонтена или даже Ричардсона и В. Скотта. Его романы составляют свой, особый род... Главное, что старается он развить и внушить своему читателю, есть ужас... Матюрин представляет нам мир действительный... но представляет с таких ужасных сторон, в такие страшные мгновения, что невольная дрожь проникает весь состав его читателя... «Мельмот» есть самое славное из произведений Матюрина, и в нем автор всего более выразил свое дарование... все всевозможные ужасы и страдания собраны в нем... Это не сам Искуситель, но жертва его, обреченная против воли творить зло: это одна из частей природы человеческой, представленная в резком очертании одного человека» (№ 14, июль, сс. 253—261).

Лестные отзывы о литературном таланте Ч.-Р. Мэтьюрина принадлежат П. А. Вяземскому и В. Г. Белинскому. «Матюрин... удивительный поэт, — писал Вяземский, — он не отдает... читателю отчета в своих созданиях... но зато выходки, целые явления его поразительно хороши... Автор... весь фантастический, и не знаешь, что после чтения его остается в душе: впечатление, подобные впечатлениям вечерней зари, грозы великолепной, музыки таинственной» (Вяземский П. А. Записные

книжки (1813—1848). М., 1963, с. 83). В кратком очерке «Библиотека романов и исторических записок, издаваемая книгопродавцем Ф. Ротганом на 1835 год» Белинский так отозвался о творчестве английского автора: «Матюрен — странный писатель! Это смесь Вальтера Скотта с Левисом (М. Льюис. — М. С.) и отчасти с Радклиф. Его фантастическое воображение самую действительную жизнь превращает в род какой-то мистерии, разыгрываемой совокупно людьми и чертями и дирижируемой судьбою... И не знаю, с чем можно сравнить впечатление от его романов? Это какой-то сон, тяжкий, мучительный, но вместе с тем сладкий... Кому не известен его «Мельмот Скиталец», это мрачное, фантастическое и могущественное произведение, в котором так прекрасно выражена мысль об эгоизме, этом чудовище, жадно пожирающем наслаждения и, в свою очередь, пожираемом наслаждениями?» (Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13-ти тт. М., 1953—1959 гг., т. I, сс. 317—318).

Имя Мельмота дважды встречается на страницах романа «Евгений Онегин». В строфе XII седьмой главы, в которой Пушкин помещает ироническую характеристику традиции романтической литературы, «Мельмот Скиталец» упомянут в ряду модных романов, которые читают современницы поэта:

А нынче все умы в тумане,  
Мораль на нас наводит сон,  
Порок любезен — и в романе,  
И там уж торжествует он.  
Британской музы небылицы  
Тревожат сон отроковицы,  
И стал теперь ее кумир  
Или задумчивый Вампир,  
Или Мельмот, бродяга мрачный,  
Иль Вечный жид, или Корсар,  
Или таинственный Сбогар.

В примечании под № 19 к этой строфе Пушкин дает высокую оценку роману Мэтьюрина: «Мельмот, гениальное произведение Мэтьюрина».

Образ Мельмота Скитальца оказал несомненное художественное влияние на пушкинскую концепцию образа Евгения Онегина. Так, в черновом письме к А. Н. Раевскому в октябре 1823 г. поэт пишет о «мельмотическом» характере своего героя. Разочарованность и скептицизм Онегина, его «резкий, охлажденный ум» близки демонической природе героя Мэтьюрина. И хотя для Онегина представляется Мельмотом — литературная поза, однако образ мэтьюриновского героя перестает быть лишь одной из светских масок Онегина, перечисленных в строфе VIII восьмой главы романа:

Чем ныне явится? Мельмотом,  
Космополитом, патриотом,  
Гарольдом, квакером, ханжой,  
Иль маской щегольнет иной...

а становится одной из граней личности пушкинского героя, несущего несомненную демоническую нагрузку согласно традиции романтической литературы первой трети XIX века.

Татьяна, как когда-то ее матушка, увлечена романами XVIII столетия — Ричардсона, Руссо, мадам де Сталь — и пытается вообразить Онегина героем «романа на старый лад», об особенностях которого Пушкин пишет в XI строфе третьей главы:

Свой слог на важный лад настроя,  
Бывало, пламенный творец  
Являл нам своего героя  
Как совершенства образец.

Но знакомая героине романная схема ломается: поведение Онегина в нее не укладывается. «Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель?» — вопрошает Татьяна, воображение которой приписывает герою черты таинственности и демонизма. Такое впечатление об Онегине сохраняется у героини вплоть до седьмой главы романа, в которой перед Татьяной, прочитавшей в «модной келье» романы о «современном человеке» «с его безнравственной душой» и «озлобленным умом» (в черновых рукописях названы эти книги: «Мельмот, Рене, Адольф Констана»), «открылся мир иной». Татьяна сумела освободиться от демонических «чар» Онегина, осознав их литературное происхождение.

Созданье ада иль небес,  
 Сей ангел, сей надменный бес,  
 Что ж он? Ужели подражанье,  
 .....  
 Чужих причуд истолкованье,  
 .....  
 Уж не пародия ли он?

— в изумлении размышляет пушкинская героиня.

Жизнь всегда сложнее литературной маски, литературной модели поведения. В связи с этим примечательны слова С. Г. Волконского из письма к А. С. Пушкину от 18 октября 1824 г. об А. Н. Раевском, слывшем в свете Мельмотом: «Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он в природе ничего не благословлял, прежде я был с вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства дружбы — благородной и неизменной обстоятельствами».

М. Л. СУПОНИЦКАЯ

**МАСЛЕНИЦА** — «масленая неделя, сырная, неделя до Великого поста; ее чествуют: веселою, широкою, разгульною, честною; пекут блины; катанье с гор и на лошадях и потехи разного рода» (В. И. Даль). «Устанавливая сырную неделю с ее полускромной пищей, православная церковь имела в виду облегчить крестьянам переход от мясоеда к Великому посту и исподволь вызвать в душе верующих то молитвенное настроение, которое заключается в самой идее поста как телесного воздержания и тяжелой духовной работы. Но эта попечительная забота церкви повсеместно на Руси осталась гласом вопиющего в пустыне, и на деле наша масленица не только попала в число «праздников», но стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула. В эту неделю наш скромный и набожный народ как бы разгибает свою исполинскую спину и старается в вине и весельи потопить все заботы и тяготы трудовой будничной жизни. Насколько при этом бывает неудержим народный разгул, можно судить уж по одним эпитетам, которыми наделил народ масленицу. Она называется «веселой», «широкой», «обжорной», «разорительницей» (Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994, с. 295).

Еще в XVII столетии посещавших Русь иностранцев удивляла особенная пиршественность празднования масленицы: «Всю масленицу день и ночь продолжается обжорство и пьянство... В это время пекут пирожки, калачи и тому подобное в масле и яйцах, заывают к себе гостей и упиваются медом, пивом и водкою до упаду и бесчувственности» (Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию... в 1698 году. СПб., 1906, с. 62). Подобного размашистого, широкого и продолжительного гулянья не было ни в одной стране, кроме России. Принадлежностью масленицы были катания на санках с гор, катания на лошадях, карусели, качели, кулачные бои, штурмы «снежных» крепостей и тому подобные развлечения.

Каждый день масленицы имел свое название; за каждым были закреплены определенные действия, правила поведения: понедельник — «встреча»; вторник — «заигрыш»; среда — «лакомка», «разгул», «перелом»; четверг — «разгулай-четверток», «широкий»; пятница — «тещины вечера»; суббота — «золовкины посиделки», «проводы»; воскресенье — «прощеный день» (см.: Круглый год. Русский земледельческий календарь. М., 1991, сс. 435—452).

Связанная с Великим постом (на период которого прекращались всякие общественные увеселения), масленица проникала и в быт верхних слоев общества, становилась временем особенно богатых и роскошных балов и раутов. «...такой *распутной* масленицы я не видывал», — заметил Пушкин в дневнике 28 февраля 1834 г. Об этой же масленице (в 1834 г. она длилась с 25 февраля до 4 марта) Пушкин писал П. В. Нащокину: «Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленицу танцовали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава Богу! балы с плеч долой. Жена во дворце. Вдруг, смотри — с нею делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает».

Упоминание масленицы в «Евгении Онегине» призвано прежде всего подчеркнуть «старинные» устои дома Лариных:

Они хранили в жизни мирной  
 Привычки милой старины;  
 У них на масленице жирной  
 Водились русские блины;  
 Два раза в год они говели;  
 Любили круглые качели...

В отличие от представителей столичного общества Ларины, очевидно, соблюдали посты («говели») и особенности питания «на масленице жирной», непременной принадлежностью которой были блины (от общеславянского *mlinъ*, буквально: «приготовленный из молотого»; «лепешки из греческой молотой муки, пекущиеся на сковородке, подмазанной маслом». И. М. Снегирев). Русская масленица славилась качеством, а особенно количеством блинов: недаром в пословицах говорится: «Блин добро не один», «Блины брюха не портят», «Блин не клин, брюха не расколет» и т. д. В соответствии с этой установкой поедалось огромное количество блинов — и масленица действительно оказывалась «жирной». Ср. в стихотворении П. А. Вяземского «Масленица на чужой стороне» (1853):

Скоро масленицы бойкой  
Закипит широкий пир,  
И блинами и настойкой  
Закутит крещеный мир.

Е. А. АГЕЕВА

**КУМ** — «крестный отец по отношению к родителям крестника и крестной матери» (Словарь русского языка). Помимо основного значения церковно-родственных связей, это слово употребляется в русском языке с дополнительными лексическими оттенками. Кум — это и человек, «состоящий в духовном родстве вообще», и «обращение к знакомому пожилому мужчине», и просто «приятель». В переносном значении «кумом зовут друг друга, шутя, уволенный от места, звания, должности и преемник его» (В. И. Даль).

В пушкинскую эпоху слово «кум» часто употреблялось в значении просто приятельского обращения. Таковы, например, кумовья в баснях Крылова; в басне «Волк на псарне» пойманный волк говорит ловчему: «Я ваш старинный сват и кум...» В прозе Пушкина это значение встречается чаще всего: в «Арапе Петра Великого», в «Дубровском», в «Капитанской дочке».

В письме к П. А. Плетневу от 7 января 1832 г. Пушкин иронически обыграл неправомерное употребление этого понятия в его основном значении. В «Северных цветах на 1831 год» было напечатано стихотворение Ф. Н. Глинки «Бедность и утешение», в котором были строки:

Не плачь, жена! мы здесь земные постояльцы...  
.....  
Ты все о будущем полна заботных дум;  
Бог даст детей?.. Ну что ж? Пусть Он наш будет Кум!

Пушкин решил, что Глинка «с горя рехнулся»: «Кого вздумал просить к себе в кумовья! вообрази, в какое положение приведет он и священника, и дьячка, и куму, и бабу, да и самого кума — которого заставят же отречься от дьявола, плевать, дуть, сочататься и прочие творить проделки. Нащокин уверяет, что всех избаловал покойник царь, который у всех крестил ребят».

Но не менее странно понятие «кум» представлено в «Евгении Онегине». Оно появляется в «Сне Татьяны» в составе единственной реплики, произнесенной «большим взъерошенным медведем»:

Медведь промолвил: *здесь мой кум:*  
*Погрейся у него немножко!*

Как установили исследователи, «сон Татьяны помещен почти в «геометрический центр» «Онегина» и составляет своеобразную «ось симметрии» в построении романа» (Маркович В. М. Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина». В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1980, с. 25); реплика же медведя «разрезает сон пополам» (Чумаков Ю. Н. «Сон Татьяны» как стихотворная новелла. В кн.: Русская новелла. Проблемы теории и истории. Сб. статей. СПб., 1993, с. 91) и обозначает тот «непременный «поворот» в повествовании, благодаря которому все события предстают в новом свете» (Бент М. И. Поздняя новеллистика Людвига Тика. Проблемы метода и жанра. В кн.: Известия. АН СССР. Серия литературы и языка. 1990, т. 49, вып. 4, с. 379). Самое же ударное слово этой «медвежьей» реплики — слово «кум», которое, таким образом, оказывается в абсолютном центре поэтической структуры «Евгения Онегина».

В восприятии «чудного» и «вещего» сна Татьяны ее возлюбленный и желанный жених, Онегин, предстает полуразбойником-полудемоном, связанным с фантастическим миром сказочных созданий, — и одновременно «кумом» признанного в русском

фольклоре хозяина «лесного дома» — Медведя. В русском фольклоре сохранилось «представление о наполвину человекаской природе медведя», о том, что это «человек, превращенный колдуном в зверя» (Новичкова Т. А. Русский демонологический словарь. СПб., 1995, с. 363), поэтому сам факт «кумовства» медведя и человека не противоречит фольклорным установкам.

Более того, образ медведя связан «с символикой сватовства, брака» (Ю. Лотман). «Медведя видеть во сне предвещает женитьбу или замужество» (Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях. Из этнографических материалов, собранных в Ярославской губернии. В кн.: Живая старина. 1891, вып. IV, с. 210). Именно медведь оказывается во сне Татьяны связанным с устойчивым символом женитьбы в свадебной поэзии — переправой через реку (Потебня А. Переправа через реку как представление брака. В кн.: Московский археологический вестник. 1867—1868. Т. 1, с. 12). А само кровавое застолье, происходящее в «шалаше убогом», куда медведь приносит Татьяну, напоминает некую чудесную, дьявольскую свадьбу.

По законам «перевернутого» фольклорно-религиозного представления «дьявольская» свадьба оборачивается «большими похоронами». По этим же законам медведь, подлинный хозяин «лесного дома», становится одновременно и чудесным «отцом», приводящим невесту к свадебному столу, и «кумом» желанного жениха. Именно это обозначение является сигналом общей фантазмагории, невозможности происходящего.

Онегин в этом случае оказывается в «двойной» ситуации, подобной той, в которой оказался герой «Капитанской дочки»: «Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйскою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, бесов кум!» — сказал мне усатый вахмистр».

А. В. КОШЕЛЕВ

**МОСЬКА** — «мопс, собака мосячей, мосечной, моськовой породы: тупорылая, курносая, песочной шерсти, с черными подпалинами» (В. И. Даль). Моськами в начале XIX века называли маленьких собак разных пород: мопсов, болонок, левреток, шпицев и др. Мода на комнатных (или постельных) собак пришла в Россию из Европы в XVIII веке. Царская фамилия не раз получала в подарок мопсов, любимцев немецких герцогов; левреток, обитателей дворцовых апартаментов европейских королей и князей. Французский посол поднес Екатерине II несколько маленьких пушистых собачек, а так как они были привезены из г. Болонья, их стали называть французскими «оболонскими» (болонками. — Е. П.).

В пушкинское время комнатная собачка — моська — стала привычной в барском доме. Герой комедии А. С. Грибоедова Чацкий расспрашивал Софью о ее старой тетке, у которой «воспитанниц и мосек полон дом».

Неизвестный автор писал о маленькой собаке, что в отличие от больших сторожевых, «травильных» или охотничьих псов она «употребляется только для забавы. Она служит как бы некоторым изображением праздного человека, показывающего вид, что он обременен делами» (Не большой подарок для наставления и забавы моим детям. СПб., 1822, с. 171). В басне И. А. Крылова «Две собаки» говорилось о райской жизни «кудрявой болонки Жужу»:

На счастье грех роптать, Жужутка отвечает:  
Живу в довольстве и добре,  
И ем и пью на серебре;  
Резвлюся с барином, а ежели устану,  
Валяюсь по коврам и мягкому дивану.

В XXV строфе пятой главы романа «Евгений Онегин» речь идет о приезде гостей на именины Татьяны:

В передней толкотня, тревога;  
В гостиной встреча новых лиц,  
Лай мосек, чмокание девиц...

Соседи-помещики привезли к Лариным не только своих детей, няnek и гувернеров, но и любимых комнатных собачек. И место им было отведено не на псарне или в сенях, а именно в гостиной — вместе с их хозяевами. Моськи находились при них неотлучно — и днем, и ночью. Любопытно, что автор цитируемой выше детской книги заметил: «Привязанность некоторых особ к сим животным доходит иногда до глупости». Не случайно в пушкинское время были распространены анекдоты о моськах и их владельцах. Один из них, рассказанный А. О. Смирновой-Россет, впол-

не мог знать и Пушкин: «У Ланжерона (Александр Федорович Ланжерон, генерал-губернатор Одессы, знакомый Пушкина.— Е. П.) была моська, его сердечная привязанность, занимавшая его больше, чем Одесса. Г-жа Траполи (херсонская помещица.— Е. П.) пришла к нему по делу, он был так рассеян, что взял ее за подбородок и сказал ей: «Моська, о моська» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989, с. 477).

Поклонники владелиц маленьких собак нередко переносили свою любовь и обожание на их четвероногих любимцев, подчас завидовали моськам, потому что хозяйки ласкали, лелеяли их. О привязанности С. Д. Пономаревой к ее комнатным собачкам Гектору и Мальвине писали многие мемуаристы.

А. А. Дельвиг посвятил в 1821 г. Мальвине стихотворение, где были такие строки:

Ах! она была краше, игривее  
Резвых псов звероловицы Делии.  
С ее шерстью пуховой и вьющейся  
Лучший шелк Индостана и Персии  
Не равнялся ни лоском, ни мягкостью.  
(Дельвиг А. А. На смерть собачки Амики.)

Пушкин в четверостишии «Нимфодоре Семеновой» (1820) шутиливо заявлял о своих стремлениях:

Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,  
Или собачкою постельною твоей...

В послании «К сестре» (1814) Пушкин так описал комнатную собачку, с которой он, вероятно, и сам играл ребенком:

Иль моську престарелу,  
В подушках поседелу,  
Окутав в длинну шаль  
И с нежностью лелея,  
Ты к ней зовешь Морфея?

Моськами очень дорожили, а если они терялись, то хозяева готовы были отдать немалые деньги, чтобы отблагодарить нашедшего любимое существо. В газетах тех лет нередко печатались объявления о пропаже собак. Так, московский купец Аверриан Петров Ключарев обещал: «Кто оную (пропавшую собаку.— Е. П.) доставит к означенному купцу, тот получит 50 руб. награждения» (Приложение к газете «Московские ведомости» от мая 6 дня 1811 г., № 36, с. 1036). В другом объявлении говорилось о продававшемся щенке: «...оболонская собачка, маленькая, собой прекрасная и вся белая, в приходе Покрова в Лёвшине, в доме Яхонтова: цена 150 руб.» (Там же, с. 1050). В «Толковом словаре живого великорусского языка» приведена такая поговорка: «Барыня девку на моську променяла» (В. И. Даль).

Мальчик Ванька, герой повести Пушкина «Станционный смотритель» (1830), вспоминая, как «прекрасная барыня» Дуня приезжала на могилу отца, рассказывал: «...ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською...»

Нередко моськи отличались злым нравом: они заливались лаем, рычали и могли даже укусить того, кто к ним приближался. <...> Так что в оживленную встречу гостей у Лариных в гостиной «лай мосек» вносил свою ноту: эта подробность была и в черновой рукописи:

С утра уж толкотня тревога  
Писк, хохот, встреча новых лиц  
Лай мосек, чмокание девиц...

Е. А. ПОНОМАРЕВА



## Поставщик ее величества русской литературы

..но ведь двусмысленность — это богатство.

*Хорхе Луис Борхес*

Во всех турецких дворцах гаремы  
устроены одинаково, мне уже  
доводилось бывать во многих из них.

*Жерар де Нерваль*

**А**лександр Фомич Вельтман, известный некогда сочинитель, увы, не сподобился даже места между Веллингтоном и Вергилием в именных указателях к книгам своих более удачливых современников. В одном случае из пяти здесь располагается юный Веновитинов, меланхолично нюхающий дареную розу. Иногда английский адмирал уступает место французскому художнику Верне, к которому возводил свою родословную Шерлок Холмс. А что же Вельтман? Не скрылся ли он, словно его инициальный тезка Керенский, в женском платье, а то и в офицерском мундире или халате арестанта? Отчасти. Только Вельтман не прятался, а растворился. И, кажется, без остатка. Весь вопрос: в чем растворился?

В отечественной словесности. В истории ее (то есть в «Биографическом словаре русских писателей») Вельтман присутствует персонально, а вот в самой словесности он растворен вплоть до мельчайших анонимных корпускул, так что она, словесность, и не сознает, что тексты Александра Фомича входят в ее состав на молекулярном уровне. Сочинения Вельтмана находятся в бессознательном русской литературы.

Два великих искушения писателя: «сказать все» и «не сказать ничего». «Книга обо всем» и «Книга ни о чем». Толстой и Флобер. «Война и мир» и «Мадам Бовари». Впрочем, книги «ни о чем» бывают двух видов. «Ни о чем» можно писать с изумительным лаконизмом «Повестей Белкина». До этого эталона идеальной, полой внутри формы тщетно пытался дотянуться Чехов. От созерцания божественного сочетания простоты с пустотой перехватывает дыхание, как от горного воздуха. Перехватывает дыхание и потому тянет назад, вниз — к избыточной людской болтовне ни о чем, то напыщенной, то дурашливой. Спускаясь из царства абсолютных форм, мы начинаем распознавать и многословие Лескова (чьих «Соборян» нахальный Годунов-Чердынцев намеревался «без урона» сократить до двух газетных подвалов), и «глубокомысленно пустые страницы» Кузмина (который, по мнению Ремизова, «добирался до искуснейшего литературства: говорить ни о чем»), и лексическое изуверство самого Ремизова. Откуда что взялось? Из малороссийских побасенок носатой нежинской кумушки? Из монструозных описательных пассажей Марлинского?

Восьмого мая 1831 года Пушкин начинает письмо Елизавете Михайловне Хитрово такими словами: «Посылаю вам, сударыня, «Странника», которого вы у меня просили. В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант. Самое замечательное то, что автору уже 35 лет, а это его первое произведение». Пушкин ошибался: роман «Странник» не был ни первым написанным сочинением Вельтмана, ни первым напечатанным. Самым знаменитым — несомненно. Автору, кстати говоря, было не 35, а всего 31 год. На фоне этих неточностей самым интригующим выглядит пушкинское признание «настоящего таланта» в «вычурной болтовне», из которой «Странник» и состоит. Современный читатель вельтманова романа без особой необходимости не осилит. «К чему?» — возопит он уже на десятой странице, устав от пустой трескотни автора обо всем на свете: от Александра Македонского до разновидностей молдавских экипажей. На одиннадцатой читатель найдет достой-



Этот одаренный всеми на свете талантами служака в литературе являл полную противоположность тому, чем он некогда был в мундире. Строй, фрунт, короткие, отрывистые команды, строгое щегольство тогдашней военной формы сменились на легкомысленное порхание с предмета на предмет, на пустую болтовню, на ахи-охи и безответственные вздохи. Вельтман словно отыгрывался на гипотетическом читателе за почти двадцатилетнюю службу, не принеся ни богатства, ни положения в обществе. В отместку за тошную гарнизонную жизнь в придурковатой Бессарабии он, посиживая дома, покуривая чубук, тащит читателя по оврагам и ухабам своего придурковатого стиля, в коем, впрочем, как я уже говорил, попадались некоторые забавные тропинки: «Друзья мои! Потомство, будущие герои!.. когда-нибудь и вы насмотритесь на храбрость, на мужество, на великие дела и на слабость человеческую!.. и вы с почтением взглянете на пятипудовую мортиру, которая, как старая барыня, сидит важно в широких креслах, кашляет и на всех плюет... и вы увидите, как носится под небом бомба, днем, как черный ворон, ночью, как метеор. Она упала в город, пробила насквозь крышу; она внутри дома; но там ей душно... вот вырвалась она на чистый воздух... и весь дом на воздухе... Но вот летит другая вслед за ней... и т. д.». Надо обладать феноменальным отсутствием филологического чутья, чтобы уверять простодушную советскую публику образца 1977 года, что «все позволяет считать «Странника» литературным предшественником «Казачков» и «Севастопольских рассказов»\*. До Толстого ли тут, до солдатиков и поселян ли с их несчастными домишками, когда мортира такая важная, и метафоры одна за другой лезут на приступ, и бомба летает, как черный ворон? Перед нами стихи в прозе, настоящий ранний Заболоцкий: «сидит важно в широких креслах, кашляет и на всех плюет» или, если чуть переделать, — натуральные «столбцы»:

Она внутрь дома —  
Там ей душно.  
Она на воздух —  
Там ей скушно.  
С собою дом зовет потом,  
Вертя бенгальским животом.

Но обратите внимание на конец пассажа о «барыне-мортире»: «...и т. д.» Автор-болтун ничего не договаривает до конца: заикнулся, ляпнул, бросил, упорхнул. Натуральный дилетант.

СOLIDНЫЙ историк литературы скажет по поводу легкомысленного «Странника», книги без жанра и руля: «Ксавье де Местр». И добавит: «Стерн». Я бы вспомнил еще Кафку, точнее, один из его ранних текстов о поездке к невесте в деревню. А еще можно вспомнить эссе Борхеса «Кафка и его предшественники», где пересказано содержание рассказа Леона Блуа «Страхи и сомнения»: «...его персонажи всю жизнь запасались глобусами, атласами, железнодорожными справочниками и чемоданами, но так никогда и не выбрались за пределы родного города». Не будем, однако, мыслить подобно шотландским вождям из Вальтер Скотта — генеалогически. Не будем мыслить и филологически — аналогиями. Сделаем военно-исторический хронологический срез. Русско-турецкая война 1828—1829 годов.

Один из бесчисленных эпизодов сериала «Восточный вопрос». Россия (как потом выяснилось — себе на голову) «дожимает» Османскую империю, выщипывая, откусывая и выгрызая маленькие и большие куски из разных ее географических мест. Война 1828—1829 годов началась почти за семь месяцев до своего начала, в Наваринской бухте, где объединенный флот трех великих морских держав осуществил нечто вроде позднейшей «Бури в пустыне» против тогдашнего Саддама, которого звали Махмуд; да и правил он не в Багдаде, а в Стамбуле. Бить слабых — невелика честь, но именно этому военно-морскому происшествию мы обязаны уморительной подписью под модной картинкой в журнале «Московский телеграф» за 1828 год: «Мущина. Фрак суконный, цвета наваринского дыма, с стальными пуговицами», а также несгораемой фразой из второго тома «Мертвых душ». «Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму с пламенем». Наваринская прелюдия задала «литературный тон» кампаниям 1928—1829 годов. Пушкин отметил: «Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве... Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений». Сам Пушкин, не спросив у начальства, перебрался через Кавказские горы и поприступовал при маршах и контрмаршах, засадах и осадах армии Паскевича. Описание своего перво-

\* Юрий Акутин. Александр Вельтман и его роман «Странник». См.: Вельтман А. Ф. Странник. М., 1977, с. 293.

го и последнего выезда за границу («прозрачный ритм "Арзрума", по словам Сирина) он напечатал в январе 1836 года в «Современнике». Наконец, наш герой, штабс-капитан Александр Фомич Вельтман, провел обе кампании войны, неудачную и удачную, в Главной армии, на Дунае, осаждал Браилов, Шумлу, Силистрию, сражался при Кадикой, Кулевче, писал репортажи для императора, был награжден Владимиром IV степени и повышен в чине. Если есть в бесформенном «Страннике» какой-то каркас, то это пунктирные эпизоды штурмов, переходов и бомбежек. Роман был издан в 1831—1832 годах, что не помешало Вельтману в то же время публиковать кусочки своего сочинения в «Московском телеграфе» и альманахах с красноречивыми названиями «Денница» и «Сиротка».

Итак, перед нами два очерка одной кампании на двух театрах военных действий одной войны. Два автора, два военкора — штафирка Пушкин, поэт, эдакий Пьер Ришар верхом, в бурке и при пике; и кудрявый красавец штабс-капитан, умница, рубака и картограф. Можно было предполагать, что поведают они публике об этой войне: поэт должен воспеть славу русского оружия вдохновенными виршами и кудрявой прозой, офицер должен дать подробный и точный отчет о перемещениях полков, батальонов и эскадронов, сдобренный рассуждениями в духе Клаузевица и Жомини. С тем ожиданием, видимо, и приступали современники к чтению. Попытаемся и мы.

Три вещи занимали (и занимают) офицера действующей армии: ужин, переходящий в ночлег, военные действия, взезд в захваченные города и селения. Воспоминания участника любой кампании состоят из перечисления и описания бивуаков, квартир, хозяек и хозяйских дочек; холодных, горячих и отсутствующих ужинов, полных той или иной разновидности спиртного; боев, рукопашных стычек, маневров кавалерии, образчиков трусости или храбрости, розданных орденов, медалей и чинов; разрушенных деревень, крепостей, сдавшихся на милость победителей, городов, взятых с ходу и после осады, политических, гастрономических и эротических привычек местного населения, новых квартир, хозяек и хозяйских дочек, холодных, горячих и отсутствующих ужинов, полных... Наши военкоры вполне вписываются в эту традицию. Поэт, которому по должности положено живописать любую местную экзотику, по-якобински краток, описывая свой ночлег в недавно захваченном неприступном Карсе: «Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранный низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяйина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и жила в нем по нескольку месяцев... Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показала мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегал против угасающего камина...» Штабс-капитан, напротив, впадает в какое-то лингвистическое безумие, приличное разве что сугубо штатскому автору «Миргорода», а то и автору «Улисса»: «Таким образом, все вышеозначенные лица, купцы и разносчики, привязчивые жида и безотвязные армяне, навьюченные тирольцы, разнородные ресторационные служиторы и Лотхен, заставившая меня сказать по-немецки: ну, sehr gut! — каждый, в свою очередь, своею единицею измеряли мое терпение и голод. Но, наконец, первые изгнаны турецкими проклятиями, а последние подали мне чашку бульону, пару бекасов с салатом и бисквит, изготовленный еще в 1820 году, к ожидаемому дню вступления на диван Валахии князя Каллимахи. Потом выпил я, как водится, рымникского вина и стакан «фе», ибо поданный «кофе» не стоил и названия «офе». Как человек совершенно опытный по части утоления голода и жажды, я в пять минут обработал статью: побранил прислугу за излишнюю скорость и нетерпимую медленность, сказал еще несколько слов по-немецки и отправился в свою комнату». Обратите внимание, как сух, отрывист, протоколен Пушкин; он будто изучил и решил скопировать прозаический стиль зрелого Факки в переводе Риты Райт-Ковалевой: «Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. К. охотно согласился» («Замок», гл. 1). Или поэт решил поддержать знаменитую некогда иллюзию Ролана Барта о существовании некоей «нулевой степени письма»? Насколько сдержан военкор Пушкин, настолько же «живописен» военкор Вельтман; только «живописность» эта родом то ли из грошовых путеводителей, то ли из голливудских костюмированных постановок. Отметим, однако, что военная косточка плавает-таки в вельтмановом лексическом борще — она дала навар в виде авторского пристрастия к парным словесным построениям: «привязчивые жида и безотвязные армяне», «выпил... рымникского вина и стакан "фе"», «по части утоления голода и жажды», «излишнюю скорость и нетерпимую медленность»;

вдоль всего этого выстроенного парами воинства прогуливается «пара бекасов», предводительствуемая «салатом». Как скудны эти бекасы, кожа да кости, несмотря на пестрый гарнир...

А теперь позволим себе поманерничать на манер слишком известного борхесова героя. Возьмем некий образец военной прозы: «Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в стороны и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф повел против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля». Кто автор этого отрывка: военный, на досуге балующийся литературой, или поэт, поскокавший на поле брани вослед музе? На первый взгляд — Вельтман; в пользу его авторства говорят и мемуарно-реляционная интонация, и точное название вооружения (картечь), подразделений (Нижегородский полк), литературные штампы все того же мемуарно-реляционного происхождения («картечь хватила», «неприятель рассыпался по горе и по лощине», «жаркое дело» и проч.). Но подкрутим оптику. Перед нами — отчет об увиденном; увиденном, но не совсем понятом. Военный человек не напишет «густая толпа их пехоты», он выразится «густая колонна», «густое каре», «густая цепь». Пушки палят, конница скачет, а на жаркое дело генерал Бурцов приглашает автора, словно на жирного каплуна. Только поэт мог сочинить такую волшебную фразу: «Вскоре показались делибаши и закружились в долине», только настоящий поэт мог быть так жесток: по офицеру дали залп, а автору (и не только ему) — смешно; татары раздевают раненых (и, хотя Пушкин трусливо об этом умалчивает, добивают их), а он любит сноровкой мародеров. Искусство, увы, находится по ту сторону Гаагской конвенции о военнопленных.

Поэт снижает бой до жестокого, но анекдота. Человеколюбивый дилетант-литератор цепляет к нему султан восклицательного знака и преизобильно обсыпает конфетти многоточий: «Смотрите, как наша батарея о 24-х орудиях осыпает ядрами турецкий берег и неприятельские укрепления! Флотилия Дунайская пронеслась под огнем магометанским под самую крепость Исакчу; лодки запорожцев и баркасы, как стадо лебедей\*, приплыли к берегу; егерские полки нагрозились\*\* и переносятся на противоположную сторону... Но вот огонь усилился, туча дыма налегла на широкий Дунай, все скрылось от взоров, только гром пушек перекатывался по неозримому отдалению, в извилинах Дуная, между скалами, по озерам, по камышам... Но вдруг утихли раскаты грома... его заменил треск беглого ружейного огня... все прояснилось... На Дунае лежит уже понтонный мост, войска и орудия спешат по нем... Солнце пламенеет, ряды штыков блестят, Дунай спокоен, русские в Булгарии, толпы турок, разбросанные страхом, бегут в крепость...» Взвейтесь, соколы, орлами! Чувствуете суворовский говорок? Продолжим хрестоматийным: «Ломите через засеки, бросай плетни через волчьи ямы, прыгай через палисады, стреляй по головам, спускайся в город, режь неприятеля, конница — руби, бей на площадях, ставь гаубвахт, руби, коли, гони, отрезывай!.. слава, слава, слава!»

Но город уже взят, конница отрубила свое на площадях, загадочный гаубвахт поставлен. Военкор Вельтман въезжает в покоренный Базарджик: «Идите по улице — вам никто не встретится. Взойдите на двор — собака не хамкнет. Взойдите в дом — вас не спросят: кто вы? зачем вы? кого вам? Взойдите в гарем... о, как неприятна эта пустота!» Я был не прав. Автор «Странника» не до конца растворился в отечественной словесности. Одна пронзительная нотка осталась невостребованной. Вот она: «Взойдите в гарем... о, как неприятна эта пустота!»

\* Где баркасы, там у Вельтмана и бекасы с салатом. А где бекасы, там лебеди, только почему-то не «стая», а «стадо». Но до того ли было Александру Фомичу, вечно занятому изготовлением очередного шедевра? Ведь даже Блок не уберется от «одинокого спутника», добредшего чуть позже до берлинских литературных чтений в присутствии Кончеева и Годунова-Чердынцева.

\*\* Чем? «Егерской»?

# В у ч е т и ч

Ирушка была больна. Что-то с носом и горлом. Я сидел дома, а она пошла в поликлинику. До поликлиники (у метро «Аэропорт») от нашего дома (перекресток улиц 8 Марта и 1-й улицы 8 Марта) идти минут пятнадцать. Я посоветовал Ирушке зайти на обратном пути в Музей авиации и космонавтики, который расположен на улице Красноармейской в соответствующем авиакосмическом ДК. В музее этом мы еще не были, но я полагал, что там хорошо: безлюдно, прохладно, моторы, скафандры, кадры из фильма «Чкалов». Мы с Ирушкой уважаем советскую эстетику, и я полагал, что пространства музея подействуют на Ирушкину психику успокоительно. Известно же, что все болезни от нервов.

В музей Ирушка зайти не удосужилась. Ближе к вечеру я предложил пойти прогулять в лес. Надо сказать, наш дом (кооператив Большого театра «Арфа-2») стоит на границе цивилизации. За домом протекает железнодорожная ветка со станцией «Гражданской», а если перейти ветку вброд или по пешеходному навесному мосту, попадешь в лес.

Наш сосед по дому писатель Юзefович и живущий на «Аэропорте» филолог-бородач Бак утверждают, что в этом лесу в прошлом веке убили студента Иванова. Группа пакостливых молодых людей с революционно-демократическими, что ли, замашками вышла в погожий день на озеро, выбрала грот поживописнее и свершила акт гражданского мужества. Теперь члены группы были связаны кровью, и никому из них несподручно было бежать в полицейский участок, выдавать вольнодумцев. Вольнодумец только тогда чувствует себя спокойно, когда пустил чью-либо безвинную кровь. Иванова, кстати, звали Иваном Ивановичем, хотя это и звучит излишне символично. Достоевский положил позже этот случай в основу своего известного романа «Бесы».

Решили мы, в общем, сходить в лес. Подышать воздухом, встретить призрак студента Иванова, увидеть интересный природный объект.

Лес, в который пришлось проникать через неаккуратное отверстие в бетонном заборе, и сам был неаккуратен. Вокруг многочисленных скособоченных скамеек валялись отходы жизнедеятельности москвичей. Встречались и сами москвичи в позах типа «Мать и дитя» и «Лежу, загораю». Но как-то немного и вяло.

По лесу мы шли минут пятнадцать. Уперлись в противоположный бетонный забор, за которым виднелась какая-то складская-промышленная зона. В сторону уходил другой лесопарк, но и он быстро кончился: через щель в заборе (уже в приличном заборе: черная решетка, а не серый бетон) можно было выйти на обычную московскую улицу.

Поскольку мы перед выходом из дому ознакомились с картой любимой столицы, постольку у нас были разные варианты продолжения прогулки. Можно было отступить назад и пойти в сторону далеких озер, на одном из которых и не стало счастливого Иванова. Можно было пройти через улицу и попытаться набрести на новый парк, ибо карта учила, что, переходя из зарослей в заросли, можно достичь со временем лесного массива ВДНХ, с которым у нас с Ирушкой были связаны интимные воспоминания.

Мы вышли из леса, перешли дорогу, прошли мимо коричневых скучных гаражей и обнаружили широкий двор, в котором сидели на скамейке бабки и стоял симпатичный холм. Мы поднялись на холм. За ним обнаружилось солидное здание советско-коммерческого типа. Я предположил, что у этого здания мог стоять когда-то Ленин. Я люблю, гуляя по Москве, напороться на того или иного незнакомого Лукича.

Мы спустились с холма, вышли из двора и попали на улицу с сомнительным именем Астрадамская. Пока я вспоминал, что видел это название, когда ехал по большому кругу от метро «Войковская» до своей 8 Марта на 27-м трамвае, Ирушка посмотрела налево и ойкнула.

Мне трудно описать первое впечатление. Я не понял, что именно я увидел. Из-за кустов метрах в пятидесяти от нас виднелась огромная голова. Ирушка сразу опознала ее как голову Ленина. Но у меня не очень хорошее зрение, и я, сразу поняв, что такой большой башки Ленина в городе быть не может, щурил глаза, полагая, что объект может оказаться скалой необычной формы или куполом культового сооружения.

Однако через несколько метров я понял, что передо мной именно голова. Она была воистину циклопических размеров. Диаметр метра четыре. Пропорциональное к такой репе тело составило бы, соответственно, десятиэтажный дом. Единственное слово, которое мне пришло в голову по этому поводу: канал. Сооружения такого масштаба, по моим представлениям, при глухой советской власти ставили на берегах каналов типа Москва—Волга. Бродят в памяти монструозины Ленин и Сталин, которые стояли на какой-то излучине подобно Харибде со Сциллой, наклонялись к проплывающим судам, тащили с палуб зазевавшихся пассажиров и кушали их в каменный рот.

Я синхронно поймал себя на возможной псевдоассоциации: именно этот канал протекает в лучасе—часе ходьбы от того места, куда мы забрели, потому он и всплыл у меня в сознании,— нашел куда эту голову можно при случае недалеко приспособить. Уже позже я понял, что надо было делать в этой ассоциации упор не на близость конкретного канала, а на слово «Волга».

Пока же мы подошли к голове. Она стояла за забором, в углу большого пространства, остальная часть которого была из-за забора не видна. Стояла голова на большом постаменте, в боку которого были маленькие воротца. То есть это оказалось, как решила Ирушка, не постамент, а просто какая-то хозяйственная постройка. Голова вблизи оказалась совершенно коричневой от хода десятилетий и с несколько татарскими чертами лица. Прямо за затылком располагался большой жестяной щит, не позволявший увидеть этот затылок с улицы. Потом мы поняли, что нам очень повезло с первым ракурсом: ни из какой другой внешней объекту точки он не мог явиться с такой фантазмагорической красотой.

— Большая голова,— сказала Ирушка.

Мы пошли вдоль забора и через пять шагов увидели среди зелени еще одну скульптуру: что-то героическое из советской эпохи.

«Ага,— догадались мы.— Это, наверное, комбинат художественного творчества, где всякой параша было надделано на полвека вперед, а теперь она тут спокойно загнивает».

Не успели мы успокоиться на этой вполне естественной версии, как среди кустов мелькнул фасад огромного дома с колоннами. Его мощный вид указывал, что это более серьезное учреждение, чем банальная мастерская по штамповке глиняных и гипсовых монстров. С этого момента, впрочем, мы проблемой версии уже не задавались, только смотрели. Было что посмотреть.

За углом забора оказались глухие зеленые ворота, которые мы даже не удосужились разглядеть, ибо прямо перед нами вознеслась на гигантских лесах еще одна ошizenная голова. Голова смотрела в глубь огороженной территории, мы видели профиль, ухо и часть лица. Но если с Лениным все было понятно, то мысли о существовании, носившем хотя бы в воспаленном воображении автора голову номер два, уходили в абстрактную мифологию. Какие-то хвостики-листочки, едва не змеи вместо волос, выпученные глаза, зачем-то разинутый рот. Медуза-Гангрена?

— Бог ты мой! — воскликнула Ирушка и кинулась бежать.

Выяснилось, что испугалась она не столько самой головы, сколько подвешенной на лесах под ней таблички «Опасная зона». Миновав ее тремя настороженными скачками, мы оказались у третьей стороны загадочного пространства.

Третья сторона была огорожена лишь проволочным забором. Разглядеть, что происходит в глубине территории, все равно оказалось затруднительно: вокруг забора торчали леса, подобные тем, на которых высилась вторая голова, и стояли какие-то сараи. Мелькнуло в траве одухотворенное лицо Гагарина. У забора активно росла крапива. Пробившись в самый угол заросшего бурьяном участка, мы обнаружили, что в одном из фрагментов забора проволока прорвана. Со значением посмотрев друг друга в глаза и на всякий случай поцеловавшись, мы подобрали палочку для битья крапивы и двинулись в путь. Он оказался вполне несложным: через несколько минут мы были уже на территории... чего? Просто, наверное, на террито-

рии. Как в фильме «Сталкер» была просто зона. Выстрелов пока не последовало. Посреди территории стоял роскошный дом. В боковых окнах горел мертвенный слабый свет. Вокруг дома тянулись асфальтированные дорожки. Дорожки эти были чисты: ни одной жестянки от очаковского «джин-тоника» мы не нашли. Пространство между дорожками и забором было заставлено произведениями монументального искусства.

Был совершенно неясен статус пространства. Территория заброшенная, но чистая. В доме горят огни, но вид у него не очень жилой. У ворот стоит иномарка, но ее покрывает изрядный слой пыли.

Вмазаться с мирной прогулки по лесопарку в такие ощущения — песня. Набрался смелости, заглянул в окна: там поразвешана по стенам однотипная одежда, какие-то пиджаки или рабочие куртки, едва не противогазы — странно и страшно. Мы ступали очень аккуратно и говорили очень тихо. Четкое ощущение, что сейчас из-за угла начнется крутой голливудский саспенс. Ужас таится в складках воздуха. Я зримо представил себя и Ирушку, мечущихся среди монументальной пропаганды, заламывая руки. Убегающих (от кого, чего?), спотыкающихся и падающих, закрывающих глаза при виде накатывающего (кого, чего?). Я бы громко кричал, на разрыв связок, но вряд ли бы удивился.

Из-за забора почему-то не доносилось звуков субботнего вечера: лая собак, шуршания шин, писка детей, иванушек интернешнл.

Отдельные объекты наводили на мысль скорее о саде, нежели о комбинате. Комсомолец, как на новые ворота, смотрит на свое ружье. Рядом — пенек, на котором можно выкурить сигаретку. Скорбящая тетя с плавными формами, что-то типа католического надгробия. Скамеечка: сиди, воркуй о любви, гордись ромбиками на погонах, если ты гуляешь в этом саду в адекватную эпоху. И если, конечно, ты имеешь право здесь вообще быть. Но это — со стороны фасада.

Сзади (как называется зад, корма дома?) — больше индастриэла. Пока я ковырял носком мокасина осколки чьего-то гигантского сапога, Ирушка заглянула в один из сараев и уже отчаянно махала руками.

Я подошел, заглянул в приоткрытую дверь. В приоткрытую дверь вывалилось не что-нибудь, а метровая голова Сталина. Кадр, уместающийся в этот момент в моем зрении, был настолько же продуман и архетипичен, как словосочетание «Иван Иванович Иванов». В кино вывалившийся кочан кремлевского горца выглядел бы огоньковским перехлестом.

— Там их целый сарай, выбирай любую, — сказала Ирушка.

Я заглянул в сарай, гипсовые головы лежали в нем стройными рядами. Калинин, Ленин, какой-то незнакомый хрен в очках.

— Можно было выбрать любую, — сказала Ирушка.

Да, но вывалился-то Сталин.

Позже я слышал, как Ира говорила кому-то по телефону об этой прогулке. Она говорила о дежа вю. Я подумал, что дежа вю могло быть спровоцировано именно столь дисциплинированно символическим поведением места. Место вело себя как по писаному.

По воздуху прокатился, спотыкаясь о ветер, едва слышный дребезжащий звук.

— Так ржут лошади, — подсказала мне Ира.

В этот момент, конечно, я увидел лошадь. Когда-то она была гипсовой. Голова у нее и теперь еще была гипсовой. Остальную часть лошади составлял ржавый рыжий скелет. Будто бы мастер сваял не только лошадь снаружи, но и кости ее изнутри.

Я задел Сталина ногой: у него немедленно отвалилась губа. Я забыл сказать, что прямо под головой Ленина, за забором, на воле стояли какие-то красные пластмассовые столики, где люди пили пиво и воду. Я забыл об этом сказать, поскольку был поглощен надвигающимся навстречу зрелищем Лукича.

Я задел Сталина ногой: у него немедленно отвалилась губа. Эта морда кавказской национальности валялась здесь пятьдесят лет, чтобы обратиться в прах от моего прикосновения.

Мне стало жутко. Ирушка тоже не чувствовала себя излишне уверенно.

— Надо вернуться тем же путем, каким мы пришли, — сказала Ирушка. — А то они поймут, что здесь кто-то был.

— А как мы еще можем выйти? — удивился я.

— Ну, можем попробовать открыть ворота...

У меня ни в мыслях, ни близко к мыслям не было открывать ворота. Мы даже не стали внимательно изучать мифологическую голову намбе ту. Думаю, что, покинув зону, я вздохнул с облегчением.

Мы пошли в глубь поселка, на углу которого расположился объект. В конце узкой улицы перед нами появилась собака солидных форм.

— Волк,— сказал я Ирушке. Мы с Ирушкой, мягко говоря, недолго любимаем собаку, особо гуляющих вне поводка и намордника.

Впереди взорвался хороший кусок лая с перцем и порохом: мы даже не заметили, сколько собак сцепилось в яростной драке.

Мы резко ушли в сторону и скоро оказались на машиноходной улице. По правой стороне тянулся забор леса, в который нам нужно было вернуться. Автобусная остановка учила: ул. Вучетича. Ира вспомнила, что была на улице Вучетича в какой-то цэкашной гостинице, где проходила всесоюзная тусовка евреев, что ли, лингвистов, среди которых оказалась Ирушкина подруга (вовсе якутка, зато дочь крупного гостиничника).

Места оказались и впрямь сладкие. Скоро за забором по левую руку замелькали потрясающие парковые пространства с беседками, ажурными лавочками, вылизанными тропинками, клумбами, напоминающими о кино из великосветских интриг.

«Управление делами президента РФ,— подсказала табличка.— Санаторий-профилакторий...»

Ну-ну.

Дизайнер Аня Юдина, которой я рассказал на следующий день о нашем отважном походе, сказала, что как-то была в этом районе и ей грозились показать дачу Вучетича, но не нашли. Ну, конечно, Вучетич. Я сразу вспомнил, что в зоне стояли маленькие копии Родины-матери с Мамаева кургана и Мечей-с-оралами, которые установлены в Нью-Йорке у здания ООН. Надо было быть особо тупым сталкером, чтобы не вычислить такой очевидности.

Я продолжал расспросы. Дважды услышал о сыне, работающем в издательстве «Олимп».

Вучетич, по мнению словаря, помер в 1973 году.

Но в некоторых частях сада жизнь замерла явно на два десятилетия раньше.

Я нашел человека, который был тут при Вучетиче. Художник Константин Худяков был призван в бригаду, которая моделировала, что ли, туннель трамвайчика неподалеку от Мамаева кургана. Всю территорию вокруг кургана, ясный пень, Вучетич контролировал лично. Посмотрел на проект туннеля, заявил, что молодежь, дура, не умеет делать небо. Повел в дом. В центральной, что ли, комнате на потолке было нарисовано небо, по которому плыли птицы и облака. Вучетич раскрыл рот, чтобы прочесть лекцию про облака, но тут заглянула жена, спросила что-то про облигации. Вучетич закричал на нее матом и бросил в нее гипсовой кистью чьей-то руки.

Мы с Ирушкой договорились никому не рассказывать о странном месте, а собрать и привести туда экскурсию друзей. Но я тут же нарушил договоренность, рассказав, кроме Ани Юдиной и Худякова, еще и журналисту Илье Алексееву. Потом ночью к нам приехал питерский поэт Драгомощенко с женой Зиной и кинорежиссером Зельдовичем, Ира рассказала про Вучетича им. Зельдович собрался ехать смотреть место, ибо не хватало ему какой-то географии для фильма «Москва», который он снимает по Сорокину. Утром я проболтался кому-то еще. Языки не держались за зубами, а потому мы поспешили со сбором экскурсии. Как раз вернулся от бабушки Федя.

Экскурсию назначили на субботу. В пятницу решили все же посетить Музей авиации и космонавтики на Красноармейской улице. В одном из залов нам понравились образцы космонавтской пищи: не просто маленькие и оттого красивенькие, но еще и в упаковке семидесятых годов, вдвойне прелестные. Нескольким образцов лежало почему-то не под стеклом, а сверху, на витрине. Бабушка-смотрительница рассказывала, что одну буханочку сегодня украли. «Как именно?» — спросили мы. Оказалось, в зал зашли внучок с дедушкой и со свертком. Попросили у нее разрешения присесть тут на стульчики и перекусить. Смотрительница разрешила и даже вышла из деликатности из зала. Почем ей было знать, что внучок с дедушкой, по принципу анекдота «Дрова нужны?» — «Не нужны» — утром дров нет, имели в виду перекусить экспонатом...

Когда шли домой, встретился человек, спросивший дорогу на улицу Вучетича. Возможно, он был подослан, только не очень понятно кем.

В субботу днем снарядили экспедицию. Собрали большую компанию — писателей Шарова и Давыдова, киноведа Анашкина, критика Богомолова, художника Шалабина и лингвиста Пагаву. Федя еще с плейером, в котором пел Чиж. Никому, в том числе и Феде, о цели экспедиции не сообщали: пообещали лишь, что будет интересно.

Перейдя железнодорожное полотно, растянулись в длинную цепочку вдоль бетонного забора, огораживающего лес. Люди с платформы провожали нас изумленными взглядами. Участники экспедиции, беспокоясь, что вляпались в какой-нибудь розыгрыш, настороженно вертели по сторонам головами и чувствовали себя отчасти идиотами. Нашли в лесу сгнивший прибор, то ли внутренности кассового аппарата, то ли что-то от самолетного двигателя. Долго его изучали. Участники экспедиции выражали опасение, что это и есть цель путешествия.

Мы пообещали экспедиционерам минут двадцать пути, но на деле идти пришлось все сорок. Особо хорошо смотрелись мы, когда поднялись цепочкой на холм во дворе, предшествующем точке первого восхищения. Мы-то с Ирой, поскольку шли вторично, уже знали, что на холм можно не лезть, но тем не менее полностью повторили первоначальный маршрут — к вящему удивлению расположившихся на скамейках бабушек.

Реакция экспедиции на вид головы в ветвях, а также все последующие реакции вполне удовлетворили наше экскурсоводческое тщеславие. Самым сообразительным оказался киновед Анашкин. Еще когда мы только подходили к Ленину, он пробормотал: «Какой-нибудь Вучетич...» Мы с Ирушкой сделали вид, что не слышим, а остальные на его словах не зафиксировались. Когда мы прошли вдоль забора и увидели Медузу-Гангрена, Анашкин воскликнул: «Родина-мать!» Забавно, что я, даже уже зная имя хозяина объекта, не соотнес мифологическую голову с волгоградским истуканом.

С этого момента сценарий прогулки стремительно отклонился от предыдущего. Во-первых, из-под таблички «Опасная зона» неспешно вышла тетенька с собачкой и, увидев толпу задирающих голову людей, с удовольствием пустилась в объяснения генеалогии объекта. В частности, из ее рассказа следовало, что голова Владимира Ильича предполагалась быть установленной «у исполкома». Хотелось возразить — куда же к исполкому эдакую дурынду, но это, в общем, был вопрос не к тетеньке, а к покойному мастеру.

Во-вторых, когда мы уже подходили к тому месту в заборе, через которое первая экспедиция (которую, наверное, уместнее называть разведгруппой) попала во двор, кто-то вдруг заметил, что во дворе есть люди. И впрямь: какие-то люди внесли в двери какие-то ящики или, может быть, выносили ящики из дверей. Лезть во двор, стало быть, было нельзя.

Костя Богомолов настаивал, что надо позвонить в ворота и попроситься, но сам делать это не решался. Саша Давыдов сокрушался, что ни у кого нет журналистского удостоверения, с которым, по Сашину мнению, нас бы непременно пустили осмотреть территорию, а Федя с малосвойственной семилетнему существу смекалкой предположил, что с журналистскими удостоверениями нас бы точно не пустили, потому что журналистов все боятся или как минимум никто не любит. Мы с Ирушкой не очень-то переживали: мы-то уже были внутри.

На обратном пути спели хором какую-то песню.



Павел БАСИНСКИЙ

## Транс, мета, или Как бишь вас?

В № 4 журнала «Знамя» за этот год критик Наталья Иванова напечатала манифест. Трансметареализма. В том, что ее статья под названием «Преодолевшие постмодернизм» является именно манифестом, а не обычным критическим прогнозом, убеждает как пафос, так и структура. Классический манифест, как известно, содержит три необходимых компонента: 1) от какого наследства мы отказываемся?; 2) что мы провозглашаем? и 3) как связано наше понимание искусства (литературы) со временем? Все три компонента в статье на месте.

Вот только с «наследством» промашка вышла! «Преодолевшие постмодернизм», очевидно, от него, постылого, должны и отказываться, с ним, поднадоевшим, какие-то счеты сводить... Так акмеисты и футуристы — хотя и по-разному — сводили счеты с символизмом в момент его действительного кризиса... Так «метаметафористы» в начале 80-х сводили счеты с действительно утратившим свою поэтическую энергетику «классическим» советским стихом... Так Виктор Ерофеев в начале 90-х сводил счеты с действительно «обанкрутившейся» всей советской литературой...

Собственно, в этом и есть рациональное зерно любого манифеста. Добить слабеющего... Это, конечно, жестоко и неприятно, но в природно-культурном смысле — иногда полезно. Здоровое, энергичное выстоит под любыми ударами да еще и сдачи даст в ответ. Слабое, больное отпадет, отвалится, и — туда и дорога! — не о живых же людях в конце концов речь идет, а только о направлении в искусстве.

О том, что само однажды ослабнет и неизбежно уступит место другим.

Я не большой поклонник этой направленной чехарды и думаю, что истинно талантливые люди могут быть к ней причастны лишь случайно либо вынужденно лукавствуя (в отличие от бездарей, которые в этом по-настоящему жизненно нуждаются) и оттого в этом плане вполне серьезные); но не могу не признать за «направлениями» законного исторического права на существование и... отмирание. В конечном счете это создает гумус литературной жизни, на котором может вырасти крапива, может — редиска, может — дивная роза. Крапивы, впрочем, будет больше...

Но всякая культурная игра должна идти по правилам. И драться надо по правилам. Как максимум, предупредить врага о том, как и за что, как минимум, сделать ему хотя бы условный вызов: «Ты чё, в натуре?»

В противном случае будет не игра и не драка, а — пихание локтями.

Что же такое «преодолели» «трансметареалисты», в число которых Н. Иванова зачисляет (не знаю: с ведома этих людей или нет?) прозаиков Олега Ермакова, Дмитрия Бакина, Алексея Слаповского, Марину Вишневецкую, Владимира Березина, Андрея Дмитриева? Они преодолели миф. Они создали разветвленную метафору небытия. Маскарад окончен. Здесь гасят не свет, а взгляд...

Все это весьма мило и, при выдержанной форме, достаточно бессмысленно, чтобы вполне сойти за манифест. В Литературном институте, говорят, сейчас мода на манифесты. Их пишут десятками, начиная с первого же курса, и заодно выдают как контрольные работы по текущей литературе... И очень правильно! Не пропадать же добру!

Понятно, что чем туманней и бессмысленней позитивная программа любого манифеста, тем лучше. Когда Маркс и Энгельс пишут о призраке коммунизма, бродящего по Европе, хочется этих поэтов расцеловать за дивную разветвленную метафору небытия. Но когда они договариваются до общности жен в недалеком будущем, хочется взять розги и высечь расшалившихся после кружки немецкого пива мыслителей.

Понятно, что вся *позитивная* программа «трансметареализма» счастливо высосана автором из пальца за время одного из дальних и тяжелых перелетов по пути на крайне ответственный славистический симпозиум в каком-нибудь Лас-Вегасе, где таковым симпозиумам самое-то место и есть. Понятно, что *позитивная* программа Н. Ивановой нисколько не лучше, но и не хуже позитивной программы любого манифеста (хотя бы и «серебряновечного»), то есть равна нулю. Понятно, что набор имен случаен; что скорее всего сами эти люди об этом ни слухом, ни духом, но при случае, возможно, не откажутся от пестрых нарядов и масок в конце *маскарада*, что им предлагает ловкий костюмер Н. Иванова.

Всё это мелочи жизни, господа литераторы. И все мы это хорошо знаем!

Я не о сути дела (которой и которого просто нет), но об элементарных правилах спора. Противника можно бить, если он реален и если руки чешутся. Противника можно придумать и помахать фиктивно кулаками — для разминки и тренировки, так сказать. Но нельзя придумывать противника, называть его реальным именем, фиктивно махать кулаками и заявлять потом, что противник сей повержен. «Эх, и отмолотил же я N!» А N в это время, может быть, давно подался в пацифисты и проповедует непротivление злу силой. Словом, N занят своим делом, своими проблемами, а его, оказывается, в это время отмолотили. «Да что вы говорите?»

Итак, *негативная* программа Н. Ивановой. На пути блистательных (хотя и с *погасшими взглядами*) «трансметареалистов» стоят не только заигравшиеся в свои *мифы* постмодернисты, но и махровые реалисты. Их целый круг: «Варламов — Отрошенко — Павлов — Басинский». Последний, то есть я, — их главный идеолог. Отличительные признаки этого круга: *воинственность* и *сугубая серьезность*. Полагая, видимо, что это необыкновенно смешно, критик предлагает милейшую аббревиатуру: СС. Зондеркоманда, одним словом.

Чтобы не повторяться, отсылаю Н. Иванову к моей заметке в № 3 «Октября» за этот год под названием «Неманифест», в которой я постарался максимально внятно заявить об *отсутствии* в современной литературе какой бы то ни было *группы* «новых реалистов», а также о том, что никакой *идеологии* «нового реализма» я лично не провозглашал (если Н. Иванова знает о каких-то моих статьях, о которых я сам запомнил, пусть укажет. Буду ей благодарен).

Возможно, если бы Н. Иванова прочитала этот текст прежде написания своего, ее угол зрения изменился бы. Но в чем он точно никогда не изменится, так это в воинственной и сугубо серьезной убежденности в том, что существо русского реализма сегодня сводится к «простым прописям», которые есть «результат ущемленного и гибнущего на глазах имперского сознания, последняя судорога имперского высокомерия, иерархической ментальности...»

Это абэвээгдэ российского прогрессизма, в каких бы формах он ни представал (радикально-приговской или умеренно-ивановской). Это — *их* символ веры, который я действительно никогда не приму. Это — *их* поле, на котором я даже спорить с Н. Ивановой не буду, потому что то, что она считает *мифом, игрой, маской*, для меня реальная жизнь, культура и трагедия.

Здесь важен не смысл цитаты, а ее тональность. То есть подбор и наращивание смыслов: *ущемленный, гибнущий, судорога, высокомерие...* Охотно признаю за Н. Ивановой дар схватывать самое существо проблемы, крючковатой иглой выдергивая самый болящий ее нерв. Но я никогда не прощу ей переводение этого существа в плоскость литературной игры, в маскарад.

Может быть, Н. Иванова забыла, что когда закончился маскарад Серебряного века, то именно переживание *гибнущей в судорогах* империи и породило одновременно *ущемленную* и *высокомерную* литературу русской эмиграции (от Бунина и Набокова до Ходасевича и Георгия Иванова), над которой, между прочим, особенно сладко измывалась именно новоявленная советская литературная сволочь. Именно с позиции силы победившего класса и измывалась. То есть вы — падаль, вы — гибнете, вы — никому ни в России, ни в Европе не нужны, а вот мы — сила, мы — молодость, мы — перспектива. Ну, и где они сегодня, эти вешневы с родовыми? И кому, кроме Евгения Добренко (в научных целях), они надобны? А строчки Георгия Иванова об *отступающих в вечность солдатах* останутся навсегда. Ибо всегда останутся вечность и солдаты, готовые честно *отступать*, не семенить ножками позади прогресса. И если отступление идет с боем — не обессудьте!

В сущности, дело вовсе не в реалистах («упертых в «стену плача», служение традиции, по сути — эпигонов великой русской прозы») и не в трансмета... Или как, бишь, там? («свободно разворачивающихся на протяжении текста разветвленную метафору небытия»). Все это слова, слова, годные для забористого манифеста, для «служебных», так сказать, целей, но не имеющие никакого жизненного, а значит, и

культурного смысла. Дело в самоощущении и самореализации. И здесь я позволю себе быть жестоким в отношении Н. Ивановой, если хотите, в качестве мести за слова об *имперском сознании*...

Н. Иванова сама обломок империи и прекрасно это знает. Но ей страшно не хочется быть тонущим обломком. Хочется выплыть. Хочется поспеть за Приговым и Сорокиным, которые рванули вверх гораздо раньше, не путаясь в *наследстве*, то есть миллионах других обломков. Эти-то ребята давно *преодолели* и реализм, и модернизм, и постреализм, и постмодернизм (над которым сами же при случае посмеются, как над ненужной ветошью). Они всегда скажут первое слово, потому что знают за собой право *быть первыми*. В России, в Европе, в Америке, хоть на Марсе — везде, где пахнет перспективой и беспечной жизнью. А я знаю за собой право *быть последним*. Называйте это махровостью и ограниченностью, судорогой и высокомерием, но это право я знаю и от него не откажусь... Мне его, может, дедушка завещал.

Дело не во мне, разумеется. Дело в том коллективном «я», которое об этом праве догадывается и реализует его, в том числе и в литературе. И вот для нас все эти «транс» и «мета» просто и откровенно смешны. «Да кто вы, в самом деле?

Как бишь вас?»



## Время поэзии

Последние лет десять разговор о поэзии неизбежно начинался словами, проникнутыми легкой грустью,— поэзия сегодня никому не нужна. Дальше речь шла об очередном великолепном издании или скромной трогательной книжечке, где теплился слабый уголок подлинного, что было так удивительно обнаружить в поглощающей холодной прозе жизни: «А этот еще теплый». В заключение авторы статей вяло заверяли читателей, что те, кому поэзия нужна, найдут книжку сами и очень обрадуются. Настораживало упорное «не нужна», будто без этого, как без пароля, статья сама становилась ненужной.

В эпохи, давшие великих поэтов, когда поэзия была делом частным, но выделяющим автора из толпы, навлекая на него подозрения, не лишённые оснований, никому в голову не приходило так ставить вопрос о поэзии.

Платону были не нужны поэты в его идеальном государстве, они его лично достали. Обвинителем Сократа выступил поэт, прежде чернивший Сократа грязной сатирой на потеху толпы. Теперь это классические образцы, недостижимые высоты. Платон винил поэтов в невежестве, искажении и без того смутной картины мира ради поверхностных смысловых красот. Он защищал поэзию от поэтов, Слово от слов, множащих тропы, к Слово не приводящие.

Поэзию часто называли вредной и опасной, но никогда, как в эти годы,— «ненужной», в смысле лишённой интереса, неинтересной. Станет ли уважающий себя, честолюбивый юноша ронять взгляд в сторону того, что «не нужно», служит утешением неуверенных в себе людей с тихими голосами, которые в жизни ничего для себя не добились? Что вычитали в статьях, сострадающих жалкому положению поэзии? Право не обращать внимания. Обращать — поворачивать с неизбежным для каждого труда усилием. Ну а, может быть, вдруг, случайно что-нибудь да зацепит, заинтересует? Где угодно... В поэзии — никогда.

Природа интереса к поэзии отлична от бесчисленных интересов, отягощающих человека. Наверное, потому интерес к поэзии, если он возник, заслоняет или сильно преобразует другие интересы — многое просто становится неинтересным. Человек перестает быть идеальным потребителем, читай: покупателем, а значит, зарабатывателем. Происходит утечка всего полезного, что можно взять — снять с человека и кроме презренных денег. Сегодня для сохранения лица миру необходим весь — полностью — человек, свое лицо теряющий, готовый к постоянному радостному обновлению. Поэзия подводит человека к возможности обновиться однажды и единственным образом. И только подводит к необходимости этого, дает силы ждать и желать обновления. Поэтому сто или тысяча лет для поэзии — несущественный срок. Страдает только язык, сдвигаясь во времени, как русло реки, когда остовы кораблей остаются в глубине суши. Они плывут без нас.

Устаревший художественный метод, изображавший безобразное безобразным, справедливо посрамлен нашим временем. Механизмы мщения, безотказно и выразительно срабатывающие в теле всякого грешного (а кто без греха?) человека, побеждены. Здоровье можно теперь купить. Вернуть цвет коже, дыханию свежесть, волосам блеск. То, в чем прежде видели милость богов и потому восхищались красотой, волнует и сейчас с не меньшей силой, но подлинной причины преклонения не помнит никто. Красота сама была милостью и по щедрости любила поэзию. Была ее главной защитницей во все века. В память об этом и до наших дней уважающие себя женщины не подпускали к себе поклонников, не отдавших дани стихам. Производя ритуальное атавистическое действие, серьезные люди пыхтели и выглядели полными идиотами, но, пройдя несколько трудных шагов, навсегда сохраняли уважение к пути.

Теперь «красота» бежит поэзии и тем выдает свою природу. Можно смотреть месяц телевизор, если угодил в аппарат Илизарова, прочитать десятки газет за день, подслушивать, хоть это нехорошо, разговоры людей в метро. И ни разу не услышать поэтической строки — самой затасканной, — служащей подмогой мысли в ее благородной бедности. Стихи больше ничего не сообщают людям? Неправда. Люди, способные любить стихи, будут всегда, но сковывающая совесть, внимательное отношение к миру и себе будут расталкивать их по углам жизни дальше от мест, где делают погоду. Навязчивое «не нужна», слышное всякий раз, когда разговор в прессе заходит о поэзии, смущает, унижает их привязанность, они стыдятся выдавать ее. Делющие же погоду безболезненно вывели из своего арсенала мерцающий строй слов, будто поэзия ломает стилистическое целое атмосферы, где утверждают себя либеральные ценности.

Фасадная телепередача «Мой Пушкин» только иллюстрирует это, хотя там звучат именно стихи. Лучение стихотворений, как рентген, просвечивает имидж деятелей, не оставляя ничего наносного. Каждый перед Пушкиным наг — виден только человек. Читать стихи Пушкина вслух — испытание, можно только восхититься уверенностью в себе большинства чтецов, актеры не в счет.

«И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит...» Пушкин не оговорился — не читатель, поэт. Книга Цветаевой с известным названием — органичная дань любви к поэту и его стихам. Любовь заразительна, она вызывает зависть, как следствие — желание полюбить самому. Одного источника любви, как огня, достаточно, чтобы все вокруг, способное отражать свет, светилось.

Но вот в Москве выходит новый журнал — «пушкин», задуманный как попытка регулярного обозрения «мира думающих по-русски». Он выходит в атмосфере, когда связь между книжной полкой и стратегией выживания нации становится очевидной для всех. Закон самоуничтожения зла. Старая добрая история — о драконе, тоскующем по рыцарю-избавителю. Ложь агрессивна, она устаёт от себя. Однажды ложь обнаруживает себя в полном одиночестве. Ей больше нечем дышать. Но призывающий Пушкина не может знать: в оправдание или в осуждение себе он причащается его имени.

В самом названии журнала русский язык получил расширение — теперь, без риска быть заподозренным в неладах с языком, можно сказать своим знакомым: «читаю пушкин», «опубликовано в пушкине».

Строчной пушкин — симптом принудительной интернетизации. Культура сворачивается в пиктограмму, отступает в последнее слово, зависит именем сайта в бесчисленном ряду других. Но в слово возможно «провалиться», развернуть из атома вселенную, лишь бы остались те, кому это жизненно необходимо. И что, собственно, представляет собой Интернет? «Бумажный двигатель внутреннего сгорания»; «Виртуальная реальность Бога, в коей бытию отведено место частичной распечатки» (Андрей Новиков, пушкин)?

Мне думается, неовещественный, безмониторнонеклавиатурный интернет существовал всегда, только доступ был открыт немногим. Мы получали и продолжаем получать оттуда «частичную распечатку» сюжетов, мыслей, предчувствий. Электронный пародийный двойник желает получить не им дареное обратно. Что ж, нагими пришли, нагими уйдем.

Джордж Оруэлл в «Подавлении литературы» так описывал взаимоотношения живой культуры и тоталитаризма: «Поэзия может уцелеть в тоталитарные времена, некоторым искусствам тирания могла бы даже пойти на пользу, но прозаику остается единственный выбор — между молчанием и смертью... Умерщвление свободы мысли парализует журналиста, социолога, историка, критика и поэта — именно в такой последовательности».

Сегодня о «постмодернизме» говорят как о тотальной ситуации, а не методе, распространившемся на все стороны жизни как эпидемия. Но гражданская война или голод, охватывающий целые страны, — это тоже тотальная ситуация. Каждый в ней ведет себя по-своему. Самый страшный голод не оправдывает людоедов, даже если среди выживших их оказывается большинство. Советских полулюдей собираются водить в пустоте, пока не умрут последние бывшие в рабстве? Назначение армии постмодернистов — плодить пустоту, единственно необходимую для достижения земли обетованной? Что это за новое обетование? Это свободная страна? Покажите мне ее поэтов.

У поэзии независимый источник жизни. Поэзия констатирует присутствие Красоты или ее отсутствие — ничего больше. У красоты нет цели, она существует по закону внутренней целесообразности. В присутствии поэзии сегодня чувствуют себя неловко, неуютно, неестественно. Такое чувство охватывает мелких шкодников в присутствии воспитанного человека. Если предметы и явления начнут называться собственными именами, прежде всего это, согласно формуле Д. Оруэлла, произойдет в современной поэзии. Если жанровая лестница будет перевернута, неизвестно, стоит ли доверять словам вообще.

Разговоры о стихах, не начинавшиеся со слов «не нужна», рождались, как память о путешествии в неизвестную землю. Там было гибельно, там было северно, но не слова, а нездешний отсвет на лице рассказчика запоминался слушавшему, толкал искать тех же впечатлений. Находил каждый свое. Многие оставались ни с чем, но обманут не был никто.

О поэзии должно говорить «как нужна». Так начинался о ней серьезный разговор, в котором воспитывались читатель и поэт несколько столетий.

Поэзия не может нравиться — можно нравиться ей. Она меряет человека сама, читает его как книгу, стихотворение, скроенное на свой лад. Бесконечно снисходительная, она дает время каждому и ждет. Время у нее есть.

Виталий ПУХАНОВ



**Анатолий КИМ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ** в 6 тт. Том 1. Белка. Роман, повести. [Б. М.] «Корё Сарам», 1997. Тир. 20 000 экз.

Имя Анатолия Кима обычно связывают с «новым мифологизмом», причем окрашенным в восточные тона. Верно ли это? «Петер Мунк покачал головой: он понял, что дело ему почти удалось, вспомнить бы только еще одну-единственную строчку заклинания, и Стекланный Человечек предстанет перед ним, но, сколько он ни думал, сколько ни старался, все было тщетно. На нижних ветвях ели снова появилась белочка, казалось, она подзадоривает его или смеется над ним. Она умывалась, помахивала своим роскошным хвостом и глядела на него умными глазками; но под конец ему даже стало страшно наедине с этим зверьком, ибо у белки то вдруг оказывалась человеческая голова в треугольной шляпе, то она была совсем как обыкновенная белка, только на задних лапках у нее виднелись красные чулки и черные башмаки. Короче говоря, забавный это был зверек, однако у Петера-угольщика душа теперь совсем ушла в пятки,— он понял, что дело тут нечисто». Небольшая цитата из сказки В. Гауфа дает для понимания романа «Белка» куда больше, чем трактаты по буддизму или даосизму. Кто не согласен с таким утверждением или хочет его проверить, пусть перечитает том за томом собрание сочинений писателя, тем более и сделать это нетрудно: подписка на него свободная.

**Черубина де ГАБРИАК. ИСПОВЕДЬ. М., «Аграф», 1998. Тир. 3500 экз.**

Наиболее любопытный раздел тома — хроника жизни и творчества Е. И. Дмитриевой (Васильевой), она же и создатель Черубины де Габриак. Запутанность и трагичность ее существования, парадоксальность и — даже на нынешний взгляд — разнуданность личной жизни, а также поразительная живучесть в тяжелейших обстоятельствах дают обильный материал для осмысления. Переводы, пьесы, стихотворения и автобиография — лишь комментарии к этой хронике. По созданиям художества только догадываешься о затаенном под спудом. Можно хотя бы сопоставить сюжет и атмосферу шестистрочной миниатюры и близко расположенные слова в окончаниях последней и предпоследней строк, чтобы попробовать реконструировать выталкиваемое поэтессой за грань сознания (причем уже не Черубиной, ибо стихи написаны от собственного лица):

Сегодня в эту ночь никто не будет рядом,—  
А как мне хочется прикосновенья рук,  
Заботливого взгляда,  
Чтоб мой утих испуг.  
Сегодня, в эту ночь одна я понесу  
Воспоминаний бремя.

**Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ. НИЗКИЕ ИСТИНЫ. М., Коллекция «Совершенно секретно», 1998. Тир. 25 000 экз.**

Сравнивая то, как сказался человек в разных областях бытия, убеждаешься, сколь специфичны законы каждого жанра. Судя по фильмам, режиссер Кончаловский мастеровит и независим. Но, прочитав мемуары, понимаешь: ты обманулся. Вот на съемках «Танго и Кэша» его презрительно отодвигает в сторону продюсер и снимает фильм по собственному разумению, тут появляется С. Сталлоне, переписывает многие сцены и переснимает все по-своему. Получается умелый фильм, лидер американского кинопроката. А вот иной эпизод — русский режиссер Кончаловский, сильно подвыпив в ресторане, прилюдно пытается напомнить М. Брандо, что они знакомы. Американец глядит в упор и не видит. Да, специфичны законы жанров. Если судить по интервью, Кончаловский очень умен. Если же судить по мемуарам, переполненным подробностями, которые даже и не похабны (в похабщине звучит первобытная радость), а просто их не принято обсуждать (мало ли кто с кем спал и пил), Кончаловский — человек донельзя бесхитростный. Впрочем, может, и тут кое-что следует списать на жанровую специфику — ведь это не книга, написанная самим режиссером, а литературная запись, сделанная А. Липковым.

**Джеймс ХОЛЛ. СЛОВАРЬ СЮЖЕТОВ И СИМВОЛОВ В ИСКУССТВЕ. М., «КРОН-ПРЕСС», 1997. Тир. 10 100 экз.**

Первый тираж словаря расходился вяло, и до сих пор еще его экземпляры встречаются на полках магазинов. Но причины тому особенные. Стоило резко уве-

личить поля, сделать белой бумагу, окружить текст на каждой странице рамкой и обернуть теперь почти квадратную книгу толстой гладкой суперобложкой, на ней появился спрос. Причина, должно быть, в том, что форма и содержание и не противоречили и не соответствовали друг другу, даже не соприкасались. Это книга, по которой можно бродить, путешествовать от понятия к понятию, для чего и создана система перекрестных ссылок (помогает и особенный указатель). В чем-то книга эта похожа на лабиринт, в ней есть и тупики и неожиданные выходы, а в русском издании они еще и усложнены. Неожиданный поворот страницы — и взгляду открываются цветные вклейки. Картины старых живописцев сладко разглядывать и без каких-либо истолкований. Но, узнав, что значит та или иная деталь, читатель и зритель получают возможность перейти к следующей подробности, шаг за шагом преодолевая пространство книги, откуда вероятно вернуться, но которую никогда не пройти до конца.

**Юрий КОВАЛЬ. СУЕР-ВЫЕР. ПЕРГАМЕНТ. М., «Вагриус», 1998. Тир. 7000 экз.**

Самое знаменитое его сочинение — о недопеске Наполеоне III — имеет посвящение Белле Ахмадулиной. Последняя книга посвящена ей же. О странствиях, об открытии островов, где живут то щенки, то голые женщины, то валерьян борисычи, книга эта о прощании с миром. Читать ее надо с любой главы и закрывать на любой главе, пересказ же она не поддается, ведь нельзя же пересказать, что такое жизнь: забавные и загадочные пустяки, перемежаемые бедой и грустью.

**Владимир КАНТОР. ЧУР. Сказка для дочки Маши. М., МФФ, 1998. Тир. 1500 экз.**

Писатели сочиняли истории для детей, ибо вынуждены были молчать в сочинениях для взрослых. Огромная и самая значительная часть советской детской литературы определена этим непреложным обстоятельством. Теперь о гражданских симпатиях и антипатиях куда проще заявить вслух, чем создавать на тему политики художественную аллегорию. А сказочник почему-то придумывает социальную сказку. Что же, времена не изменились? Или сказочник не хочет расстаться с традицией?

**Е. ЭТКИНД. ТАМ, ВНУТРИ. О русской поэзии XX века. Очерки. Спб., «Максима», 1997. Доп. тираж 1000 экз.**

Литературоведческие опыты почтенного ученого, созданные и в России, и в эмиграции, необыкновенно скучны. Такую скуку часто принимают за академизм, при том, что академизм — вторая отличительная черта работ Е. Эткинда. Когда-то читали не саму известную монографию «Материя стиха», ходившую по рукам, а стихотворные цитаты из нее, старательно пытаясь не задеть текст, обрамляющий строки полузапретного Мандельштама и запретного Бродского. Сейчас нет нужды собирать по крупице чужие стихи, они изданы. Впрочем, надо отдать должное, книги Е. Эткинда, как прежде, обстоятельны и добротны.

**К. К. РОМАНОВ. ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СТИХИ. ПИСЬМА. М., «Искусство», 1998. Тир. 2000 экз.**

Хорошо о нем написал А. Ф. Кони: «...он стремился подвизывать крылья разным самоучкам...» И за строчками, поэтическими ли, прозаическими, видится человек, в котором главное — не разнородные таланты, а человеческое достоинство.

**Мирча ЭЛИАДЕ, Ион КУЛИАНО. СЛОВАРЬ РЕЛИГИЙ, ОБРЯДОВ И ВЕРОВАНИЙ. М., «Рудомино», Спб., «Университетская книга», 1997. Тир. 100 000 экз.**

Словарь представляет нечто вроде пространного конспекта работы М. Элиаде «История религиозных идей и верований», созданного его учеником с согласия самого философа-традиционалиста. Мнение ученого о книге неизвестно, он не дожид до выхода ее в свет, а потому правильнее рассматривать словарь как интерпретацию идей М. Элиаде. И в подобном отраженном свете очевиднее делаются и слабости, и сильные места его концепции.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



Одно из старейших изданий в России.  
Основано в феврале 1921 года.  
Распространяется во всех регионах России и странах СНГ.

Ежедневная

# ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

# ТРУД

По данным социологов, каждый номер прочитывают в среднем 4 человека.

ИМЕЕТ САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ КОРПУС СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

Трибуна  
политической элиты,  
ведущих экономистов,  
бизнесменов,  
деятелей культуры,  
ученых

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ,  
СВОБОДНАЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЙ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ГАЗЕТЫ: для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области:  
32428 (ежедневный выпуск, включая пятничный),  
32465 (только пятничный выпуск);  
для подписчиков остальных регионов:  
50130 (ежедневный выпуск, включая пятничный),  
32068 (только пятничный выпуск).

Наш адрес:  
РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА, К-6,  
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.  
Телефоны:  
для справок - 299-3906,  
отдел рекламы - 200-0338,  
факс:  
200-0124,  
299-4740.

---

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**  
*До конца года «Октябрь»  
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ. **Повесть.**

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Заключительные главы.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза. Стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**

**Дневники А. Ф. ЛОСЕВА и С. А. ТОЛСТОЙ.**

**Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА.** 60—70-е гг.

А также новые произведения Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.

---